

А.С. Долинин

ПОСЛЕДНИЕ РОМАНЫ
ДОСТОЕВСКОГО
Как создавались
«Подросток» и «Братья
Карамазовы»

Москва – Ленинград, Советский писатель, 1963

А. С. Долинин — один из известных советских литературоведов — исследователей жизни и творчества Ф. М. Достоевского. В настоящую книгу вошли его работы о творческой истории двух крупнейших романов Ф. М. Достоевского — «Подростка» и «Братьев Карамазовых», а также дополняющие их исследования об истоках некоторых творческих идей, получивших развитие в этих романах. На основе тщательного анализа рукописных материалов (большой частью и до сих пор еще не изданных полностью), черновых записей, планов, первоначальных редакций, а также журнально-газетного материала А. С. Долинин воссоздает весь ход работы Ф. М. Достоевского над его произведениями, раскрывает творческую лабораторию великого мастера-реалиста.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора ... 3

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РОМАНА "ПОДРОСТОК"

Глава I. Истоки ... 5

Глава II. Этапы работы ... 15

Глава III. В поисках сюжета и героев ... 28

Глава IV. Генезис образа Подростка ... 62

Глава V. Версиков и Макар Долгорукий ... 95

Глава VI. Симптомы разложения ... 133

Глава VII. Биографические материалы в "Подростке" ... 162

Глава VIII. Литературные позиции ... 176

Глава IX. Критика о "Подростке" ... 196

ДОСТОЕВСКИЙ И ГЕРЦЕН ... 215

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРШИНА (К истории создания "Братьев Карамазовых")

Глава I. Истоки ... 231

Глава II. Старые тени ... 243

Глава III. Классовая ненависть ... 247

Глава IV. Социальная катастрофа ... 261

Глава V. Раздвоение Достоевского ... 272

Глава VI. По двум полюсам ... 278

ДОСТОЕВСКИЙ И СТРАХОВ ... 307

ОТ АВТОРА

В эту книгу включены мои работы в основном о творческой истории двух последних романов Достоевского. Написанные в разное время, как главы давно задуманной мною монографии, они раскрывают исключительное идейно-философское и художественное своеобразие творчества великого писателя.

Ряд исследований, посвященных Достоевскому, — моих и моих коллег — побудили меня внести в работы некоторые изменения и дополнения. Учтены также и критические отзывы, появившиеся после первых их публикаций.

В работе над книгой мне активно и существенно помогала моя ученица Наталья Николаевна Соломина.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РОМАНА «ПОДРОСТОК»

Глава 1. Истоки

1

Семидесятые годы XIX века. В общественном сознании людей все ясней и тревожней воспринимается происходящая в стране ломка: по словам Л. Н. Толстого, гениально истолкованным В. И. Лениным, «все в России перевернулось» — вместе с крепостным правом рухнули устои старого порядка, а новый, буржуазный порядок, еще не устоявшийся, давил особенно жестоко, принес с собой неисчислимые бедствия простому народу.¹

Роман «Бесы», закончившийся печатанием в реакционном «Русском вестнике» в 1872 году, близость к кружку Мещерского и Победоносцева, редакторство в журнале «Гражданин», который был, в сущности, органом этого кружка, и первый «Дневник писателя» 1873 года, в «Гражданине» же помещавшийся, — определяют в это время место Достоевского среди тех, кто

¹ См.: В. И. Ленин. Л. Н. Толстой и его эпоха. Сочинения, изд. 4, т. 17, стр. 29—33.

выступал против передовой молодежи, против революционной демократии.

«Вы меня огрели дубиной по лбу Вашей заметкой об «усилиях воображения», подмеченных Вами в «Вечном муже», — писал Достоевский Ап. Майкову из Дрездена в начале 1870 года, когда тот советовал ему скорее вернуться домой, поскольку он все больше и больше отстает от русской жизни. «Действительно я отстану — не от века, не от знания, что у нас делается (я наверно гораздо лучше Вашего это знаю, ибо *ежедневно*, прочитываю *три русские газеты до последней строчки* и получаю два журнала), — но от *живой струи жизни* отстану; не от идеи, а от плоти ее, — а это ух как влияет на работу художественную!»¹

«Усилия воображения» продолжались у Достоевского и здесь, в России, в первые два года после его возвращения. Это была та же «эмиграция», только *внутренняя*, враждебная «живой струе жизни», «плоти ее». Третий Филиппов, Победоносцев, князь Мещерский, тень будущего императора Александра III, витавшая над ними, в литературе Аполлон Майков и Страхов, — в оценке этих лиц предстала ему русская действительность, ее будущее, молодое поколение, в образе все тех же «Бесов».

В обособленном углу тщится жить Достоевский в эти два года. Но голоса жизни становятся все ближе и все внятнее. Студенческие волнения — не на далеком расстоянии, как было в период заграничный, а здесь, рядом, в Петербурге, в большинстве высших учебных заведений; начавшееся движение в народ, близкое знакомство с «молодежью, готовой на величайшие жертвы для народного блага» (так скажет о ней Достоевский в одном из номеров «Дневника писателя» за 1877 год); политические процессы; отклики на эти явления в журнале «Отечественные записки» с его народнической идеологией и встречи с ближайшими участниками журнала — все это вносило нечто иное в настроение писателя по сравнению с периодом «Бесов».²

¹ Ф. М. Достоевский. Письма, т. VI, стр. 261. (Здесь и далее письма цитируются по изданию: Ф. М. Достоевский. Письма. Под ред. А. С. Долинина, тт. 1—1У, 1928—1959.)

² И может быть, еще: такая, на первый взгляд, казалось бы, незначительная деталь: частые встречи, долгие беседы и работа

Именно молодое поколение: «с ним» или «против него» — на этом началось расхождение с кружком Мещерского. Идет спор о «нигилизме» с драматургом, печатавшимся в «Гражданине», — Д. Кишенским. Достоевский видит в нигилистах «носителей новых идей». Кишенский отвечает ему с раздражением: «Вы признаете в них жажду обновления. Я признаю в них невежество и жажду болтания».¹

И еще показательнее: когда Мещерский, в начале ноября 1873 года, хочет выступить в «Гражданине» с проектом устройства общежития для студентов в целях правительственного над ними надзора, Достоевский, волею редактора, «выкидывает радикально» из его статьи семь строк: «У меня есть репутация литератора, и сверх того — дети. Губить себя я не намерен».²

В письмах конца 1873 года к жене мы находим немало следов растущего раздражения против Мещерского и раскаяния и том, что взял на себя редактирование «Гражданина». Об этом же и в воспоминаниях А. Г. Достоевской, основанных на таких точных и бесспорных материалах, как «Дневники 60—70 гг.» и стенографические записи: «Федор Михайлович за время своего редакторства вынес много нравственных страданий, так как лица, не сочувствовавшие направлению «Гражданина» или не любившие самого князя Мещерского, переносили свое недружелюбие, а иногда и ненависть на Достоевского. У него появилось в литературе масса врагов именно как против редактора такого консервативного органа, как «Гражданин»».³

Именно в начале 1874 года и было Достоевским принято окончательное решение оставить работу в «Гражданине».⁴ Починковская вряд ли преувеличивает, рас-

бок о бок с близкой знакомой Демерта, Глеба Успенского и других лиц, связанных с «Отечественными записками», — с корректоршей Починковской, умной, литературно одаренной молодой девушкой, радикально мыслящей, как и вся передовая молодежь того времени. См.: В. В. Т—ва (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем. — «Исторический вестник», 1904, № 2, стр. 534

¹ Письма, т. III, стр. 312.

² Там же, стр. 88. Далее зачеркнуто: «Кроме того, ваша мысль глубоко противна моим убеждениям и волнует сердце».

³ А. Г. Достоевская. Воспоминания. М.—Л., ГИЗ, 1925, стр. 180.

⁴ Там же. стр. 185.

сказывая о той радости, с которой Достоевский объявил ей, что он наконец развязался с «Гражданином» и стал снова *свободным человеком*.

И в это самое время — после девятилетнего разрыва между ним и Некрасовым из-за разницы в убеждениях, когда казалось, что они уж окончательно разошлись и навсегда, — вновь, как некий символ, воплощающий в себе сочетание идей далекого прошлого, идей сороковых годов, с идеями современности, появляется на горизонте Некрасов, он зовет в «Отечественные записки». И возобновляются между ними старые связи, когда, по словам Достоевского, Некрасов «много <...> занимал места в моей жизни»,¹ и вскоре обнаружится с его стороны «готовность» начать совсем дружеские отношения.² В этом замечательном для Достоевского факте *действительности*, должно быть, яснее всего открылось ему, что *там*, в том лагере, где Некрасов и Щедрин, его вовсе не считают таким уж чуждым эпохе, по его выражению, *идее эпохи*. Да, были расхождения с лагерем «Отечественных записок», казалось настолько глубокие, что нет ничего общего с ним, да и не может быть, особенно после «Бесов», по поводу которых уж сам Достоевский сказал, что его должны признать за это «ретроградом», и редакторства в «Гражданине».

Но пришли новые мысли и новые настроения. Некрасов опять становится близок. С ним связано все лучшее и светлое, что было в молодости и «остается навсегда в сердце участвовавших» (XII, 29). Прошлое, когда им обоим одинаково ярко светил образ одного из прекраснейших людей, образ Белинского, — это прошлое связывается непрерывною цепью событий с настоящим, с тем, что происходит сейчас, — опять же с появлением вновь в жизни Достоевского этого «страстного к страданиям» поэта и гражданина (XII, 33). Так и должно было Достоевскому казаться, что он видит, употребляя прекрасное выражение А. П. Чехова, оба конца этой цепи:

¹ Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева, т. XII. Л.—М., ГИЗ, 1930, стр. 347. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте сокращенно в скобках: том — римскими цифрами, страницы — арабскими.

² Письма, т. III, стр. 152.

«дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».¹ И дальше возобновившиеся связи становятся все крепче. Анна Григорьевна рассказывает в своих «Воспоминаниях», как Достоевский, «вернувшись в Руссу, передавал многое из разговоров с Некрасовым», и она убедилась, «как дорого для его сердца было возобновление душевных сношений с другом юности».²

2

«Подросток» в своих истоках, без сомнения, также должен быть поставлен в связь с попыткой подойти к Достоевскому «без страстей и пристрастий» со стороны самого авторитетного критика и публициста той эпохи, одного из властителей умов революционно настроенной молодежи, Н. К. Михайловского. Я разумею его статьи по поводу «Бесов» в первых книжках «Отечественных записок» за 1873 год,³ когда Достоевский был уже второй месяц редактором «Гражданина» и уже успел резко выступить и против «старых людей» — Белинского и Герцена, и против Некрасова.⁴

Михайловский говорит о Достоевском, с самого же начала второй статьи, как об одном из «талантливейших современных писателей». По громадному запасу идей он сравнивает его с Бальзаком. Несколько «прекрасных фигур» находит и в «Бесах»; таковы фигуры «идеалиста сороковых годов Степана Трофимовича Верховенского и знаменитого русского писателя Кармазинова, читающего свой прощальный рассказ «Мерси». Но если эти образы «впадают местами в шаржу», то фигуры супругов Лембке «положительно безупречны».

Михайловский мог еще, пожалуй, не знать и не до-

¹ А. П. Чехов. Полное собрание сочинений, т. VIII. М., Гослитиздат, 1947, стр. 348.

² А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 202.

³ Н. М. Литературные и журнальные заметки. Январь 1873 г. — «Отечественные записки», 1873, № 1; Н. М. Литературные и журнальные заметки. Февраль 1873 г. — «Отечественные записки», 1873, № 2. — Вторая статья перепечатана в Собрании сочинений, т. I. СПб., изд. журнала «Русское богатство», 1896, стр. 840—872.

⁴ «Влас». — «Гражданин», 1873, № 4.

гадиваться, что Степан Верховенский — пародия на Грановского, но что в лице знаменитого русского писателя Кармазинова зло и едко осмеян Тургенев — это он должен был, конечно, знать. И все же в идеологическом смысле Кармазинов—либерал, заигрывающий с передовой молодежью до тех пор, пока это выгодно и не грозит ему опасностью, — «фигура прекрасная».

И дальше. Когда речь идет о тех героях, в которых непосредственно выражается резко отрицательное отношение Достоевского к «новым идеям эпохи», идеям революции, — о Шатове, Кириллове, Ставрогине, Петре Верховенском, Михайловский хочет быть тем же спокойным исследователем: эти образы кажутся ему бледными оттого, что они не своими идеями придавлены, а «идеями, обязательно изобретенными для них автором». И тут же прибавляется: «бледнее по крайней мере, чем они могли бы быть нарисованы рукою *такого мастера*».¹

Но, кроме этих общих слов о таланте Достоевского, характерен *самый метод* полемики Михайловского *по существу* идеи «Бесов»: «Мне, — пишет он, — очень хочется добратся вместе с читателем до идеи «Бесов». Г. Достоевский *имеет полное право требовать, чтобы к его мыслям и произведениям относились со всевозможным вниманием и осторожностью*». И Михайловский действительно крайне внимателен и крайне осторожен. Он показывает Достоевскому его внутренние противоречия, упрекает в тенденциозности, в незнании или в намеренном игнорировании фактов жизни. Иногда ясно чувствуется, с каким трудом Михайловский сдерживает свое негодование, в особенности там, где он говорит об отношении Достоевского к Герцену и Белинскому в статье «Старые люди» (XI, 6—11), справедливо рассматриваемой им как некий комментарий к «Бесам». Но Михайловский все же тона не меняет: прием спокойного анализа, не возбуждающего никаких посторонних эмоций, сохраняется до конца.

На Достоевского эти статьи произвели очень силь-

¹ Здесь и далее курсив мой, за исключением особо оговоренных случаев. В цитатах из рукописей курсивом выделено подчеркнутое Достоевским.

ное впечатление, и сказалось оно, как увидим дальше, именно на «Подростке». В №8 «Гражданина» от 19 февраля 1873 года Достоевский так на них откликнулся:

«Прочел я <...> статьи гг. Скабичевского и Н. М. в «Отечественных записках». Обе эти статьи в некотором смысле были для меня как бы новым откровением; когда-нибудь непременно *надо поговорить о них*». И еще раз, в № 27 «Гражданина» от 2 июля: «Я *не могу забыть г. Н. М.* из «Отечественных записок» и о «долгах» моих ему. Я не имею чести знать его лично и ровно ничего не имел удовольствия слышать о нем, как о частном человеке. Но я всей душою убежден, что это *один из самых искренних публицистов*, какие только могут быть в Петербурге <...> Г-н Н. М. в первый раз *поразил* мое внимание своим отзывом о моих отзывах о Белинском, *социализме* и *атеизме*, а потом о моем романе «Бесы». Отвечать ему по поводу моего романа я немного упустил время, хотя и хотел было, но о *социализме* непременно отвечу» (XIII, 449).

Достоевский не ответил Н. М. (Михайловскому) на его отзыв о романе, но о социализме кое-что по существу сказано здесь же, в этой второй заметке от 2 июля, — очевидно, о том, *что* особенно его задело:

«Главное, никак не могу понять, что хотел мне сказать г. Н. М., уверяя меня, что *социализм в России был бы непременно консервативен?* Не думает ли он меня этим как-нибудь утешить, предположив, что я *консерватор* во что бы то ни стало. Смею уверить г. Н. М., что «лик мира сего» *мне самому даже очень не нравится*. Но писать и доказывать, что *социализм неатеистичен, что социализм вовсе не формула атеизма, а атеизм, вовсе не главная, не основная сущность его*, — это чрезвычайно *поразило* меня в писателе, который, по-видимому, так много занимается этими темами» (XIII, 449—450).

Слова Михайловского «Революционный в Европе, социализм в России консервативен» и его утверждение, что социализм как учение *экономическое* не обязательно атеистичен, переосмыслены Достоевским. В «Бесах», еще резче в «комментарии» к ним в «Дневнике писателя», он противопоставляет передовой русской интеллигенции, социалистически мыслящей, исконную «народную правду», народные предания, «народные поня-

тия о добре и зле», сложившиеся веками на основе христианской религии, и этой интеллигенции, «оторвавшейся от русской почвы», пророчит роль евангельских бесов: «...они потонут, и Россия спасется Власами».

И вот Михайловский указывает Достоевскому на слишком широкую емкость этой «народной правды», на «стихийность» и «разнородность» ее состава, в силу чего она одновременно включает в себя самые разнообразные «понятия о добре и зле», порою явно противоречивые. Какой же из этих разнородных «правд» следовать? — вот основной вопрос, по Михайловскому. Где критерий для точного определения, что именно вот это «понятие о добре и зле» выражает истинный дух народа, а не другое, ему противоположное?

И отвечает так: «Человеку, если он хочет действовать, а не пребывать в состоянии индийского факира, «народ, мол, все равно спасет себя и нас», — остается одно из двух: *citoyen*’ы либо выбирают из народной правды то, что соответствует их общечеловеческим идеалам, тщательно оберегают это подходящее и при помощи его стараются изгнать неподходящее, или же навязывают народу свои общечеловеческие идеалы и стараются не видеть неподходящего».

Социалистическая интеллигенция, эти, по Достоевскому, оторвавшиеся от народной почвы «общечеловеки», избирают первый путь, и «этим они вовсе не грешат против народной правды, против хотя бы *некоторых* из ее элементов».

Так Михайловский дальше и обращается к Достоевскому:

«Вы просмотрели <...> любопытнейшую и характернейшую черту нашего времени. Если бы вы не играли словом «бог» и ближе познакомились с позоримым вами социализмом, вы убедились бы, что он совпадает с некоторыми по крайней мере элементами народной русской правды».

Вот про эту-то мысль Достоевский и говорит, что она была для него *откровением*. Говорит неточно, поскольку мысль явно восходит к тому комплексу идей, который был у нас хорошо известен еще в эпоху сороковых годов. Русский социализм, «общинный», как и утопический социализм — «французский», действительно не обязан был считать атеизм «своей главной, основной сущ-

ностью». Французские утописты так и заявляли о себе как об обновителях, а не как о разрушителях христианства. И если сам Михайловский, говоря о совпадении социализма «с народной русской Правдой», даже и не упоминает о каких-то религиозных (основах этой правды, то Достоевский, по ассоциации со *своим* пониманием «народной правды», услышал в его словах именно то, что его так «поразило» и что, в сущности, совсем не должно было его поразить, так как сам же исповедовал эту идею в годы молодости: «социализм вовсе неатеистичен».

И еще один момент, чрезвычайно ценный с точки зрения идейных истоков романа.

В конце статьи Михайловского о «Бесах», как бы в виде итога, имеется такое обращение к Достоевскому, звучащее одновременно и укором за прошлое, и советом относительно будущих его романов, какой темой ему следует заняться: «Пока вы занижаетесь безумными и бесноватыми *citoyen*'ами и народной правдой, на эту самую народную правду налетают, как коршуны, *citoyen*'ы благоразумные, не беснующиеся, мирные и смирные, и рвут ее с алчностью хищной птицы <...> Как! Россия, этот бесноватый больной, вами изображаемый, перепоясывается железными дорогами, усыпается фабриками и банками, — и в вашем романе нет ни одной черты из этого мира! Вы сосредотачиваете свое внимание на ничтожной горсти безумцев и негодяев! В вашем романе нет беса национального богатства, беса самого распространенного и менее всякого другого знающего границы добра и зла. Свинки, одолеваемые этим бесом, не бросятся, конечно, со скалы в море, нет, они будут похитрее ваших любимых героев. Если бы вы их заметили, они составили бы украшение вашего романа. Вы не за тех бесов ухватились. <-..> Рисуйте действительно нераскаянных грешников, рисуйте фанатиков собственной персоны <...> богатства для богатства...»¹

В «Подростке» призыв этот явно услышан. Тема денег, «богатства для богатства», играет в романе исключительную роль.

¹ «Отечественные записки», 1873, № 2 стр. 343.

Но есть в стране здоровые силы, чрезвычайное множество людей, которым, скажет о них несколько позднее Достоевский, *нужна правда* «и которые, чтобы достигнуть этой правды, отдадут все решительно», — и прежде всего современная самоотверженная молодежь, одержимая «неколебимым и нерушимым» стремлением «к честности и правде», готовая «за слово истины» отдать свою жизнь (XII, 58). Среди этих-то «одержимых» Достоевский увидел прежде всего долгушинцев, с революционной деятельностью которых он подробно ознакомился в самом начале работы над романом. Долгушинцем, как увидим дальше, должен был стать главный герой, «боец за правду», Подросток, будущий Аркадий Долгорукий. В черновиках есть записи о том, что отец, Версилов, советует ему идти в народ и что его, Подростка, тоже арестуют с другими долгушинцами.

Были свои причины, независимо от авторской воли, по которым роль долгушинского процесса оказалась в окончательном тексте сведенной к побочному эпизоду, и в соответствии с этим так же скупой использована и фактическая его сторона.¹ Но то, что процесс все же использован, и, главное, *как*, использован, *каким* светом освещены действующие в нем лица, и не только в «лаборатории» автора, в черновиках, но и в печатном тексте, для широкого читателя, — это в высшей степени характерно. Характерно тем более, что несколько лет назад долгушинцы — как сам Долгушин, так и целый ряд других лиц, привлеченных по его делу, — находились фактически среди нечаевцев.

Должен был поразить Достоевского своей демократичностью и состав кружка, — это уж не люди привилегированных классов: учителя, студенты, простой техник, рабочий из крестьян и бывшая прислуга, сын деревенского священника и только один инженер из дворянской интеллигенции, побывавший за границей, в Швейцарии, где отпечатал брошюру Берви-Флеровского.

В дальнейшем будет показано, как использован был процесс долгушинцев в ходе работы над романом и в окончательном тексте. Но что это был один из главных его *истоков* — не подлежит сомнению.

¹ Письма, т. III, стр. 335.

Глава II Этапы работы

1

Последовательность хода работы писателя над романом «Подросток» можно восстановить довольно точно по письмам, записным книжкам и воспоминаниям.

Нам известно, что Достоевский решил покончить с редактированием журнала «Гражданин» уже в самом начале 1874 года. И объясняется это не только расхождением с его издателем В. П. Мещерским по ряду вопросов общественно-политического характера, но и стремлением всецело посвятить себя художественному творчеству.

Официально освобождение от обязанностей редактора состоялось лишь 20 апреля;¹ замысел нового романа начал тревожить воображение художника гораздо раньше. Есть все основания относить несколько записей уже к февралю 1874 года; в них можно уловить кое-какие мотивы сюжетного характера, как и черты будущих героев романа, не только центральных: Версилова, Подростка, странника Макара, но и лиц второстепенных: матери Подростка, старого и молодого князей Сокольских, дочери Версилова Анны и других.

Этих записей, однако, ещё очень мало: время и силы все еще тратятся на работу в «Гражданине». В марте их совсем не было. После записи: «Московские ведомости, 20 февраля 74, из Бахмута о жене пристяжной», по которой мы и датируем февралем все записи, ей предшествующие, имеется до апреля месяца всего два наброска; их следует отнести скорее всего к февралю месяцу.

В первой половине апреля было сделано лишь несколько записей на тему о детях; по первоначальному замыслу, отчасти восходящему — как будет указано дальше — к неосуществленной поэме «Житие великого грешника», дети должны были играть в романе весьма значительную роль. И началась настоящая работа — пользуясь терминологией Достоевского — «по выдумыва-

¹ См.: Л. Гроссман. Жизнь и труды Достоевского. М.—Л., «Academia», 1935, стр. 225.

нию планов», очевидно, не раньше второй половины апреля, скорее всего в самом конце месяца, по возвращении из Москвы, куда ездил для переговоров с редакцией «Русского вестника» относительно помещения в следующем, 1875 году задуманного романа. В письме от 25 апреля Достоевский пишет жене: «Завтра, твердо уверен, окончу дела (т. е. получением отказа) и как можно поскорее вернусь».¹ В письме к ней же на следующий день, от 26 апреля: «Катков <...> просил отложить ответ до воскресения <...> Не думаю, чтоб согласился, хотя я его, по-видимому, и не удивил: сам мне сказал, что Мельников тоже 250 р. просит. Боюсь, что на 250 согласятся, а на выдачу вперед не решатся. (Может денег не быть.)»²

Есть основания сомневаться, действительно ли в денежных затруднениях издателя журнала причина того «литературного пассажа», когда постоянный сотрудник «Русского вестника», в нем печатавший все свои большие романы, переходит вдруг в журнал враждебного лагеря — в «Отечественные записки». Значительно позднее, в письме к жене от 20 декабря того же года, есть такие строки, проникнутые чувством обиды и грустью: «Не очень-то нас ценят, Аня. Вчера прочел в «Гражданине» (может, и ты уже там слышала), что Лев Толстой продал свой роман в «Русский вестник», в 40 листов, и он пойдет с января, — *по пяти сот* рублей с листа, т. е. за 20000 р. Мне 250 р. не могли сразу решиться дать, а Л. Толстому 500 р. заплатили с готовностью! Нет, уж слишком меня низко ценят».³

И в самом деле, не очень высоко: на уровне Мельникова-Печерского. Сам Достоевский объясняет это тем, что «работой живет». Но вряд ли в этом дело. Прижать человека, «живущего работой», Катков, конечно, вполне был в состоянии, если только этот человек не очень был ему нужен и действительно не высоко им ценился. Нужно здесь принять во внимание историю с несколькими главами в «Бесах» («Исповедью» Ставрогина⁴), которые

¹ Письма, т. III, стр. 95.

² Там же.

³ Там же, стр. 145. Курсив Достоевского.

⁴ См. комментарий Б. В. Томашевского к Полному собранию художественных произведений Достоевского, т. VII. М.—Л., 1926, стр. 591—597; также: А. Долинин, Исповедь Ставрогина,—

были выброшены из романа по настоянию Каткова, на что автор болезненно реагировал. А может быть еще и следующее: Катков приезжал в Петербург в первых числах декабря 1873 года, и князь Мещерский, наверно, рассказывал ему, как единомышленнику, о том, что Достоевский «забунтовал»: о своих принципиальных с ним разногласиях, проявившихся, как уже было сказано, особенно остро в вопросе о правительственном надзоре над студентами.

Но как бы то ни было, «Подросток» появился не у Каткова в «Русском вестнике» и даже не в умеренно либеральном «Вестнике Европы» Стасюлевича, где так активно сотрудничал И. С. Тургенев и уверенно-спокойно реял дух «западнического» преклонения перед европейской буржуазной цивилизацией, а в «Отечественных записках» Некрасова и Щедрина — в органе не только радикальном, но явно революционно-демократическом. А. Г. Достоевская — выше уже было на это указано — рассказывает в своих воспоминаниях как о событии неожиданном и прекрасном, когда Некрасов, после десятилетнего разрыва из-за разницы в убеждениях, обратился к Достоевскому «с предложением» дать для «Отечественных записок» роман с платой по 250 р. с листа.¹ Сам Достоевский, в первом номере «Дневника писателя» за 1876 год, тоже рассказывает об этом событии со сдержанно-приподнятым чувством писательской гордости: «Когда полтора года назад Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать роман <...> я чуть было не начал тогда моих «Отцов и детей» (XI, 147). Приглашение состоялось в апреле 1874 года, очевидно в конце месяца, и вскоре, надо полагать в самом начале мая, стали появляться записи, в которых работа над «выдумыванием и составлением плана» принимает уже конкретный характер. Эти записи касаются прежде всего образа будущего Версилова, как будет дальше показано долгое время занимавшего воображение художника в роли самого главного героя. Он фигурирует и планах под названием «хищного типа» почти до конца 1874 года, до того момента, когда начинается уже под-

Сб. «Литературная мысль», 1922, стр. 139—163; также: В.Л. Комарович. Неизданная глава романа «Бесы». — «Былое», 1992, № 18, стр. 219—252.

¹ См.: А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр.

готовка связной редакции к первой части романа, первые пять глав которой появились в январе 1875 года.

«NB. думать об этом типе. 4 мая 74». Приблизительно к этому времени надо отнести и небольшой набросок, касающийся «Подростка». На левом поле пометка «Старая Русса», где Достоевский живет с семьей до отъезда (4 июня) в Петербург, с тем чтобы оттуда ехать для лечения в Эмс.¹

2

В Старой Руссе работа подвигалась крайне медленно. Несколько дней, проведенных в Петербурге, прошли в томительных хлопотах, связанных с отъездом за границу, в деловых визитах и встречах с разными лицами.

В Эмс Достоевский приехал 12 июня, усталый и озабоченный, с тревожными мыслями о предстоящей работе, особенно отягчительной, когда воображение еще не стеснено логикой стройно продуманного сюжета и множество зачаточных образов и событий, возникающих по самым отдаленным неожиданным ассоциациям, друг друга перебивая, препятствуют стремлению писателя к некоему объединяющему центру.

Едва успев нанять квартиру и побывать у доктора, уже в первом письме к жене (от 15 июня) Достоевский пишет о том, что его особенно беспокоит: «Когда же писать роман—днем, при таком блеске и солнце, когда манит гулять и шумят улицы. Дай бог только начато роман и наметать хоть что-нибудь <...> Стало быть, придется мне гораздо раньше воротиться к вам».²

В следующем письме к жене (от 16 июня) Достоевский пишет о состоянии работы несколько подробнее: «Утром я что-нибудь делаю; до сих пор читал только Пушкина и упивался восторгом, каждый день нахожу что-нибудь новое».³ «Скупой рыцарь» Пушкина со своей «чистой идеей» власти над собой, над своими страстями и власти над другими силою своего богатства, удовлетворенный одной возможностью этой власти («С меня довольно сего сознания»), должен стать идейной и пси-

¹ А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 187.

² Письма, т. III, стр. 106.

³ Там же, стр. 108.

хической опорой идеи — страсти Подростка («Стать таким же богатым, как Ротшильд»), и это дает основание предполагать, что образ подростка Аркадия Долгорукого был в сознании писателя в эти же первые дни пребывания за границей.

За восторгом от Пушкина, гений которого был для Достоевского, в его восприятии, всегда недостижим, следуют такие грустные слова: «Но сам зато не могу еще ничего скомпоновать из романа. Боюсь, не отбила ли у меня падучая не только память, но и воображение. Грустная мысль приходит в голову: что, если я уже не способен больше писать».¹

И снова о романе в том же письме от 16 июня и в том же «смятении»: «У меня тоска чрезвычайная. Не понимаю, как проживу здесь месяц».² Тлеет слабая надежда: «Авось что-нибудь скомпоную и сяду работать». В таком же тоне и письмо от 23 июня. «Скука моего житья здесь нестерпимая. Несмотря на то, что начал работать (увы, только еще над планом, да и тот не дается), не знаю, куда деваться от тоски. Кое-что читаю, но это мало».³ То же и в письме от 24 июня: «Работа моя туго подвигается, и я мучусь над планом. Обилие плана — вот главный недостаток. Когда рассмотрел его в целом, то вижу, что в нем соединилось 4 романа. Страхов всегда видел в этом мой недостаток». Тон все же бодрее: «Еще время есть. Авось управлюсь». Тем более — это писатель знает из всего своего литературного опыта — «главное план, а работа самая легче». Ее он будет делать по возвращении, осенью: «Главная работа моя, разумеется и во всяком случае, будет осенью».⁴

27 июня произошел припадок эпилепсии, по записи Достоевского «довольно сильный», что принудило его совсем оставить работу «дня четыре».⁵ О состоянии здоровья после припадков имеется следующая пометка в тетради: «Суббота 29 июня очень тяжело в голове и

¹ Письма, т. III, стр. 108

² Там же, стр. 109

³ Там же, стр. 112

⁴ Там же, стр. 114

⁵ Там же, стр. 117

в душе и пока еще очень ноги избиты». Состоянием здоровья следует, может быть, объяснить отсутствие в письмах к жене каких-либо упоминаний о романе в течение ряда дней, вплоть до письма от 14 июля, — работалось, очевидно, очень мало. Однако не подлежит сомнению, что в глубине душевной шел процесс обдумывания характеров в соответствии с теми идеями, которые должны быть в них воплощены, углубление во внутренний мир героев, наверное, продолжалось в эти дни видимого бездействия. В частности, это относится к образу «хищного типа» (Версилова), на первых порах, как уже было указано, особенно занимавшего воображение писателя.

Работа возобновляется со всей интенсивностью ближе к 10 июля и идет, очевидно, довольно успешно, соответственно появляются в письмах бодрые ноты.

«Очень работаю над планом, — читаем в письме от 14 июля, — если выйдет план удачный, то работа пойдет как по маслу. То-то как бы вышел удачный план! <...> Мне бы хотелось написать что-нибудь из ряда вон».¹

Именно в эти дни радикально меняется и самая основа романа. «Герой не он, а мальчик», — следует запись в черновиках от 11 июля, а через день, в соответствии с этим перенесением центра от «хищного типа» к Подростку, имеется еще одна очень важная запись: «попробовать завтра детей, одних детей». Начинают в набросках мелькать ровесники нового героя: сестра Подростка, Ламберт, «Витя»; сюжетные рамки все более раздвигаются.

Так подходят последние дни пребывания в Эмсе. Кончается период, который можно бы назвать первоначально-подготовительным. Достоевский результатом крайне не удовлетворен. В письме от 16 июля он пишет: «За работу надо садиться, а я все еще над планами сижу. Стал ужасно на этот счет мнителен. Как бы только удачно начать».²

И опять минуты горестных сомнений. «А что, — читаем мы в этом же письме от 16 июля, — если я слабее стал для работы, т. е. слабее материально, так что и работал бы, да голова долго уж выносить не может, как прежде бывало?»³

¹ Письма, т. III, стр. 131.

² Там же, стр. 133.

³ Там же

Закончился эмский период двумя планами, и писатель колеблется, не знает, «на который решиться»; строить ли главный сюжет романа вокруг «хищного типа» (Версилова) или Подростка (по одной версии — младшего брата, по другой, более поздней, — сына). И опять — может быть, по причине этих тягостных сомнений — грустная мысль: «Хватит ли сил и здоровья для таких каторжных занятий, какие я задавал себе до сих пор?»¹ В этом состоянии колебаний и сомнений Достоевский (в самом конце июля или в самом начале августа) возвращается домой. Дорога в Петербург и переезд из Петербурга в Старую Руссу приостановили работу всего на несколько дней.

В связи со вторым планом, с Подростком в роли главного героя, возникает особый интерес к деятельности революционно настроенной молодежи, о чем свидетельствует письмо к Пущиковичу, в котором Достоевский ему напоминает об обещании «две недели назад» собрать по газетам процесс Долгушина и К°. «№№ эти, — пишет Достоевский, — мне *капитально* нужны для того литературного дела, которым я теперь занят».² В черновиках есть записи о том, как Версильов советует Подростку идти в народ, он становится долгушинцем, и его тоже арестуют.

Подросток — главный герой, он же должен стать и автором. Запись, датированная 12 августа:

«*Важное разрешение задачи. Писать от себя. Начать словом Я. «Исповедь великого грешника» для себя.*» И в этом направлении совершается работа на ряде страниц в течение почти двух недель, с редкими лишь возвратами к мысли о возможности строить роман по первому плану. Так появляется идея показать в самом заглавии романа его основную задачу, его нравственно-политическую сущность.

Следует крупным почерком целый ряд записей: «NB. Не озаглавить ли: «Вступление на поприще. Роман и т. д.». Еще название: «Беспорядок» (26 августа)! Еще название: «Подробная история». Или: «Одна подробная

¹ Письма, т. III, стр. 136 (Письмо от 20 июля 1874 г.). Курсив Достоевского.

² Там же, стр. 138 (Письмо от 18 августа 1874 г.).

история». «Обращаться *отдельными главами* и к другим лицам в рассказе от имени автора», т. е. Подростка.

Но Подростку всего 18 лет. Возникает сомнение: сможет ли он объяснить факты и события в жизни других действующих лиц? Достоевский позволяет ему заранее написать: так как «в объяснениях фактов от себя он непременно ошибется», то «по возможности, хочет ограничиться лишь фактами». Вся эта запись датирована 31 августа.

«Фактическое изложение от Я Подростка» Достоевский считает со своей точки зрения особенно ценным, поскольку это, неоспоримо, сократит длинноты в романе. Решение, очевидно, твердое. Того же 31 августа читаем следующую запись: «Обдумывать 1-ю часть, т. е. уже подробности в подробностях» — так сказать, план внутри плана, его детализация на ближайшем пути к связной уже редакции. Дана дальше характеристика душевного склада молодого героя и краткий рассказ о главных событиях его жизни.

А через день такая запись: «1-е сентября.—План первых глав».

3

В черновых записях за месяцы сентябрь — октябрь, одновременно с суммарной разработкой сюжета во всей его сложности и пестроте, разные мотивы и эпизоды часто следуют друг за другом в беспорядке, если ориентироваться на законченную редакцию, то без всякой логической связи; преимущественное внимание все же явно уделяется содержанию первой части. И дело пошло настолько успешно, что, как видно из письма Некрасова от 12 октября 1874 года, уже в начале октября Достоевский имел возможность успокоительно сообщить Некрасову, что редакция «Отечественных записок» может «смело рассчитывать»¹ на его роман с первым номером журнала. Спустя всего дней десять, в письме от 20 октября, срок доставления первых глав первой части несколько уточняется, хотя тон уже не такой уверенный:

¹ Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. XI. М., Гослитиздат, 1952, стр. 335.

«постараюсь явиться с январской книжки. Но во всяком случае уведомя Вас заранее, еще в ноябре в конце, о ходе дела. Работу же пришлю (или привезу) ни в каком случае не позже 10-го декабря».¹

Обещание на этот раз было, по-видимому, исполнено в срок. Свидетельствуют об этом следующие факты: письмо Некрасова Достоевскому с извещением о том, что роман набирается и корректура будет на днях, датировано 18 декабря.² А перед сдачей и набор рукопись внимательно прочитывалась Салтыковым-Щедриным, на что должно было уйти приблизительно пять-шесть дней. |

Ровно через месяц, 18 января 1875 года, Некрасов сообщает Достоевскому: «Сегодня наша 1-я книга поступила в цензуру, в среду она появится в свет и в тот же день будет послана к Вам».³ 22 января и появилась первая книга журнала с первыми пятью главами первой части романа. Автор не опоздал и во вторую книгу, вышедшую в свет 19 февраля с последними главами (шестая — десятая) первой части.

В феврале Достоевский пробыл в Петербурге около двух недель и несколько раз виделся с Некрасовым, «Вчера первым делом, — читаем в письме к жене от 6 февраля, — ехал к Некрасову, он ждал меня ужасно <...> не описываю всего, но он принял меня чрезвычайно дружески и радушно. Романом он ужасно доволен, хотя второй части еще и не читал, но передает отзыв Салтыкова, который читал, и тот очень хвалит. Сам же Некрасов читает, по обыкновению, лишь последнюю корректуру <...> У Некрасова же я продержал часть корректуры <из последних глав 1-й части>, а другие взял с собою на дом. Мне роман в корректурах не очень понравился».⁴

Через три дня (в письме от 9 февраля) — восторженное описание свидания с Некрасовым в гостинице, где остановился Достоевский:

«Вчера только что написал и запечатал к тебе письмо, отворилась дверь и вошел Некрасов. Он пришел,

¹ Письма, т. III, стр. 140.

² См.: Н. А. Некрасов, т. XI, стр. 346.

³ Там же, стр. 348.

⁴ Письма, т. III, стр. 147.

«чтоб выразить *свой восторг* по прочтении конца первой части».¹ Слова «свой восторг» подчеркнуты Достоевским, а вся фраза дана в кавычках, как принадлежащая Некрасову.

И дальше, в кавычках, как точная передача слов Некрасова: «Всю ночь сидел, читал, до того завлекся, а в мои лета и с моим здоровьем не позволил бы этого себе. И какая, батюшка, у вас свежесть! (Ему всего более понравилась последняя сцена с Лизой.) Такой свежести, в наши лета, уже не бывает и нет ни у одного писателя. У Льва Толстого в последнем романе лишь повторение того, что я и прежде у него же читал, только в прежнем лучше (это Некрасов говорит). Сцену самоубийства и рассказ он находил «верхом совершенства». И вообрази: ему нравятся тоже первые две главы. «Всех слабее, говорит, у вас восьмая глава» — (это га самая, где он спрятался у Татьяны Павловны) — «тут много происшествий чисто внешних» <...> Вообще Некрасов доволен ужасно».²

И дальше Достоевский пишет, что Некрасов пришел договориться о дальнейшем: «Ради бога не спешите и не портите, потому что уж слишком хорошо началось». И Некрасов охотно согласился на представленный ему план: «Март пропустить и потом апрель и май вторая часть, затем июнь пропустить и июль и август третья часть». Следует: «И т. д.» — предполагалось, очевидно, что будет еще четвертая часть; черновые записи это подтверждают.

Март, с согласия Некрасова, был печатанием пропущен. И в конце месяца началась переписка относительно сроков представления материалов второй части романа на апрель и май. В письме от 19 марта Некрасов предлагает Достоевскому — в случае, если он не сможет доставить рукопись на апрельскую книжку 25 марта, а на майскую 25 апреля, — следующие два варианта: или продлить перерыв еще на месяц, или вторую часть романа разбить на три номера журнала, «с строгим соблюдением вышеназванных сроков в доставке оригинала».³

В ответном письме начала двадцатых чисел марта

¹ Письма, т. III, стр. 151.

² Там же, стр. 152.

³ Н. А. Некрасов, т. XI, стр. 351—352.

Достоевский на второй вариант (деление на три номера) не соглашается: «для эффекта романа, — пишет он, — будет не совсем выгодно». И в самом деле, пришлось бы кончить в апрельской книжке третьей главой, полной одних только намеков. Не удовлетворяет автора и первый вариант: ему кажется, что «переждать еще месяц, т. е. не печатать совсем в апреле было бы неловко». И предлагает, со своей стороны, тоже два варианта: выслать к 25—26 марта «не менее 3-х листов и затем, никак не позже 29, еще немного, всего от 3 ½ до 4-х листов (т. е. на 4-ю книжку). А если нельзя ждать до 29-го марта, то печатать в апрельской книжке то, что получится к 26-му».¹ Некрасов ответил письмом от 24 марта: «ждем до 29 или 30 и даже 1-го».² Таким образом, в апрельской книжке печатание кончилось четвертой главой второй части, действительно «эффектной»: свиданием Подростка с Ахмаковой. Что же касается остальных глав второй части (пятая — девятая), то они были доставлены в редакцию с большим опозданием: в первых числах мая вместо твердо обещанных 25—26 апреля. Так, в письме Некрасова от 30 апреля читаем: «Вместо рукописи получил вчера Ваше письмо. До 2-го можно, конечно, как-нибудь ждать, но не более».³

В ночь с 12 на 13 мая Достоевский закончил корректуру. Майская книжка журнала с последними главами второй части «Подростка» почти не запоздала: она вышла в свет 18 мая. И наступил в работе значительный перерыв.

В середине мая Достоевский возвращается из Петербурга в Старую Руссу с тем, чтобы пробыть с семьей около недели перед новой поездкой в Эмс с той же целью — лечиться от эмфиземы легких. В Эмс он прибыл 28 мая. Но прошло дней восемь, и к работе над романом все еще не приступил. «Сквернее всего то, — читаем мы в письме к жене от 4 июня, — что еще и не думал начинать работу: и тоска, и все эти хворости и свинства всякую охоту из меня вышибают».⁴ И то же в

¹ В т. III писем, стр. 162, письмо датируется неправильно: 26 марта, о чем свидетельствует предложение Достоевского — в этом же письме — выслать не менее трех листов текста к 25—26-му.

² Н. А. Некрасов, т. XI, стр. 353.

³ Там же, стр. 361.

⁴ Письма, т. III, стр. 172.

письме от 7 июня: «Между тем работа еще не начиналась. Я даже не понимаю, как я напишу что-нибудь. Положим, мне еще здесь пробыть недели 4, но что я сделаю один без тебя, и притом я еще не готов прямо сесть и писать, не выделяя плана в частностях». И несколько дальше, в том же письме, о своих тревогах: «22 или 23 непременно надо начать писать уже начисто и успеть сделать план, иначе ничего не успею привезть в «Отечественные записки»».¹

Немногим лучше обстояло дело и в следующие дни. В письме от 10 июня, жалуясь на скуку, от которой «можно с ума сойти», Достоевский дальше пишет: «Главное, хоть бы я работал, тогда бы я увлекся. Но и этого не могу, потому что план не сложился и вижу чрезвычайные трудности. Не высидев мыслию, нельзя приступить, да и вдохновения нет в такой тоске, а оно главное».²

Тревога не унимается и в следующем письме — от 13 июня: «Пуще всего мучает меня неуспех работы. До сих пор сижу, мучаюсь, и сомневаюсь, и нет сил начать. Нет, не так надо писать художественные произведения, не на заказ из-под палки, а имея время и волю».³

Проходит еще два дня, работа хотя и началась, но беспокойство продолжается по-прежнему: «Про работу мою думаю так, что пропало дело. Начал писать, но чтоб я успел к 25 июля доставить в Редакцию, то этого видимо быть не может. А не успею доставить, тогда Некрасов рассердится и денег не даст в самое нужное время, да и роману плохо. Здесь же, в таком уединении и такой тоске, чувствую, что не напишется хорошо; кроме того — каждый день жду припадка».⁴

Можно бы думать, что здесь описка: доставить в редакцию не 25 июля, а июня. Условились, как мы помним, что первые главы третьей части должны быть напечатаны в июльской книжке, рукопись же, писал Достоевский в письме начала двадцатых чисел марта, представляется в редакцию не позднее 25 предшествующего месяца, в данном случае июня. Но, очевидно, путем ли обмена письмами, а может быть, при личном свидании

¹ Письма, т. III, стр. 174—175.

² Там же, стр. 177.

³ Там же, стр. 180.

⁴ Там же, стр. 182.

с Некрасовым в Петербурге (в мае месяце) сроки были изменены. Об этом свидетельствует прежде всего следующее сообщение в июньской книжке «Отечественных записок», вышедшей 16 июня: «Ф. М. Достоевский известил нас, что по случаю поездки его в Эмс печатание романа «Подросток» должно приостановиться на два месяца. Таким образом роман возобновится печатанием, с августовской книжки и в нынешнем году будет окончен». То же видно и из письма Достоевского к жене от 21 июня, в котором он пишет, что ввиду необходимости вполне изменить свой прежний образ жизни во время лечения, строго соблюдать диету и не предаваться никаким умственным занятиям, «я решился и написал сегодня Некрасову письмо, где <...> прошу его о следующем: 1) чтоб позволил мне начать печатать не в августе, а с сентябрьской книжки. За это обещаю, что напишу хорошо (да и действительно, кажется, напишу хорошо, план вышел восхитительный и не даром я здесь над ним сидел). 2) Если никак нельзя ему принять это предложение, то уведомил его, что более 2 ½ листов на августовскую книжку доставить не могу, и главное — уничтожится всякий эффект».¹

В переписке с женой дальше роман не упоминается, кроме глухой фразы о нем в письме от 1 июля, накануне отъезда из Эмса: «Тяжелая мне дорога предстоит. Да и роман меня мучает».²

В последних числах августа (но, может, быть, в самых первых числах сентября) в письме к А. Н. Плещееву, секретарю редакции, Достоевский пишет по поводу первых трех глав третьей части романа, высланных на сентябрьскую книжку. Он просит: «чтоб не поленились мне сюда прислать корректуры как можно скорее», но «главное: нельзя ли как-нибудь, чтоб ничего не выкидывали».³

В сентябрьской книжке было напечатано не пять глав третьей части, как обещано Достоевским в письме Плещееву, а всего четыре главы. Октябрь был пропущен; в ноябрьской книжке помещены главы: пятая — десятая третьей части. В декабре роман закончен печата-

¹ Письма, т. III, стр. 189—190.

² Там же, стр. 195.

³ Там же, стр. 197.

нием. Корректурa последних глав была придержана, очевидно, в первых числах декабря (не позднее 8—9-го), судя по письмам к брату А. М. Достоевскому от 10 декабря, где читаем: «письмо твое, от 1 декабря, я получил несколько дней тому и не мог сейчас ответить, потому что был завален занятиями; теперь же отработался».¹

Но «берег» был, по всей вероятности, уже виден в начале ноября, и можно было уже безбоязненно заключить 8 ноября с издателем П. Е. Кехрибарджи договор об отдельном издании романа «Подросток».²

Глава III. В поисках сюжета и героев

1

По количеству и качеству черновых записей, дающих возможность исследовать ход работы писателя над романом, от его первоначального замысла и первоначальных планов до окончательной его редакции, «Подросток», в сравнении с другими романами Достоевского, находится в положении наиболее благоприятном. «Преступление и наказание»,³ «Бесы»,⁴ «Братья Карамазовы»⁵ почти вовсе лишены записей, относящихся к первой стадии работы художника: стадии формирования основных сюжетных линий, по выражению Достоевского «выдумывания планов».

В «Братьях Карамазовых» к ряду книг имеются лишь отдельные разрозненные наброски или преобладают записи, близкие уже к печатной редакции. Где-то, в материалах, для нас недоступных, а может быть, и навсегда утерянных, запечатлелась самая трудная, самая мучительная для Достоевского работа — первоначаль-

¹ Письма, т. III, стр. 198.

² Там же, стр. 197.

³ Из архива Ф. М. Достоевского. Преступление и наказание. Неизданные материалы. Подготовка к печати И. И. Гливенко. ГИХЛ, 1931.

⁴ «Записные тетради Ф. М. Достоевского». Подготовка к печати Е. Н. Коншиной. Л., «Academia», 1935.

⁵ «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования». Под ред. А. С. Долинина. Изд-во Академии наук СССР, 1935.

чального формирования образов, отбора доминирующих психологических черт героев в зависимости от тех идей, которые писатель в них воплотит.

С «Преступлением и наказанием» дело обстоит еще хуже: мы имеем, в сущности, только два крупных варианта в связной уже редакции, соответствующих первой и второй главам первой части романа и первым четырем главам второй части. Для нас исчезли записи к самым центральным моментам романа. Нет у нас никаких следов и процесса срастания сюжета романа «Пьяненькие»¹ с сюжетом «Повести об интеллигентном преступнике», превращения Раскольникова в главного героя, все вокруг себя объединяющего.

Полнее представлены записи к «Бесам»,² но и в них пробелы весьма значительны. Они обнаруживаются наиболее ясно, если отнять все то, что к роману не относится: денежные счета, личные заметки семейного и бытового характера, наброски к «Дневнику писателя», планы к «Житию великого грешника», к повести о Картузове и т. п.

В «Идиоте»³ полно освещена лишь первая стадия работы над сюжетными планами к первой, замкнутой редакции, но нет совершенно записей к первой части романа второй редакции и очень скупо представлены промежуточные стадии работы после того, когда характеры уже определены и начинаются попытки создания связной редакции.

Только материалы к «Подростку», хранящиеся в ЦГАЛИ и рукописном отделе Библиотеки им. В. И. Ленина (Москва),⁴ обладают той полнотой, которая дает нам возможность следить шаг за шагом за всеми этапами творческой работы писателя: *как* замысел у него

¹ См. письмо Достоевского к А. А. Краевскому от 8 июня 1865 г. и письмо к М. Н. Каткову первой половины сентября того же года. Письма, т. I, стр. 417—421, 579, 581—582 и предисловие к этому тому, стр. 9—10.

² Всего опубликовано четыре записных тетради; черновики к «Бесам», занимающие в них преобладающее место, печатаются вперемешку с другими записями, не имеющими отношения к роману.

³ Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Неизданные материалы. Под ред. П. Н. Сакулина. М.—Л., ГИХЛ. 1931.

⁴ Эти материалы будут полностью опубликованы мною в подготовляемом к печати томе «Литературного наследия».

впервые зарождается, *как* связан этот замысел с образами предыдущих его произведений и *как* замысел начинает постепенно осложняться в зависимости от фактов и событий недалекого прошлого или фактов и событий, совершающихся сейчас в окружающей действительности, русской и западноевропейской. Мелькает множество лиц, едва-едва намеченных, плетутся интриги самые фантастические: о детях, о целой ораве детей и их воспитателях, об изменах, убийствах, оболъщениях, о страдающих матерях и гибнущих девушках. И среди них какой-то «хищный тип» и братья-соперники, вызывающие его на дуэль, — в воображении художника неудержимо возникают образы по самым неожиданным и отдаленным ассоциациям, пока не начинают выделяться какие-то образы с более определенными чертами, соответственно уже намечающимся каким-то идеям, — будущие герои романа.

И почти с первых же записей начинаются упоминания различных писателей и их произведений, продолжающиеся и дальше до самого конца работы над романом: «Дон-Кихота» Сервантеса, «Жиль Блаза» Лесажа, «Войны и мира» и «Анны Карениной» Толстого, «Исповеди» Руссо, Вальтера Скотта, Диккенса, Некрасова и т. д. — вплоть до второстепенного исторического романиста Евгения Салиаса. Эти отклики возникают в связи не только с строящимся сюжетом, но и с формой романа в целом.

Проза Пушкина, «Повести Белкина» в частности, особенно привлекают внимание писателя. Писать кик *Пушкин, подражать* «Повестям Белкина», чтоб было также сжато, писать а la Пушкин — это композиционно-стилистический идеал, который ставит Достоевский пред собою, в особенности в первой стадии работы.

Но вот уже несколько прояснились будущие центральные герои, и начинаются тревожные размышления над самой формой романа, колебания относительно того, *кому* из намеченных персонажей быть главным: Ему (с большой буквы), т. е. будущему Версилу, или искателю «благообразия», не то брату, не то сыну Версилова, Подростку. «От Я! От Я» — записки от имени Подростка; устанавливается принцип как будто твердо. И вдруг сомнение: может ли Подросток, по юному возрасту своему, осмыслить те философские идеи, носите-

лем которых должен быть Он, Версилов? Смущает художника и то, что в смысле эффектности событий роль Версилова, при всех вариациях, все же оказывается наиболее яркой.

Сомнения наконец разрешаются, форма «от Я» побеждает. Усиливается дальше работа над персонажами второстепенными: Ахмакова, старый и молодой Сокольские, шантажист Ламберт, долгушинец Васин, самоубийца Крафт становятся по своей роли все более и более похожими на лиц в законченном романе.

Почти пятая часть записей уходит на эту работу, пока вместе с формой «от Я» устанавливается уж окончательно и сюжетный стержень, приближающийся к печатной редакции. А затем начинаются вариации к отдельным частям и главам романа — композиционно-идеологического и стилистического характера; они тоже отличаются полнотой, отражают наиболее существенные искания автора.

Так широко открывается перед нами доступ в творческую лабораторию писателя в тот период, когда он снова во власти больших колебаний, во власти далеко не преодоленных старых внутренних противоречий. Именно в «Подростке» обнаруживается то, что Достоевский снова стоит перед какими-то очень серьезными вопросами; те самые, юношеские, восходящие к Белинскому и Герцену, идеалы, с которыми велась такая страстная борьба в предшествующие годы, в «Бесах» и, в частности, в «Дневнике писателя» 1873 года и с которыми, тогда казалось, покончено было навсегда, вновь привлекают к себе его пристальное внимание: целиком ли они были и целиком ли должны быть отвергнуты? Не может же быть, что все в них ложь.

Было потрачено Достоевским много труда, чтобы в окончательной редакции эти колебания, эти внутренние противоречия были сглажены, и читатель неискушенный обычно их почти не замечает. Черновые записи здесь исключительно ценны.

Озирается Достоевский на весь свой пройденный путь. «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» — что осталось оттуда решенным и нерешенным? Какие образы нуждаются в дальнейшем раскрытии? И новые задачи, новые образы, новые линии. Так делается им попытка в работе над «Подростком» подвести как бы итог

всем предыдущим произведениям. И в то же время уже ясны здесь те вехи, которые ведут к последующим: «Карамазовым» и к «Речи о Пушкине». В плане идеологическом это все те же мысли, занимавшие Достоевского всю его жизнь: о великом назначении русского народа, об исторической его миссии и грядущий судьбах европейского человечества, о Востока и Западе, о взаимоотношении личности и общества в современном разлагающемся буржуазном строе и в будущем социальном устройстве.

Все эти вопросы общечеловеческого значения поставлены здесь, в «Подростке», особенно в черновиках, в глубочайшей, органической связи с целым комплексом идей и образов наших классиков в области философской мысли и художественного творчества. И как это всегда у Достоевского — и что исключительно ценно, — под ними ясно ощущается, как *«хаос шевелится»*. Широчайшие социальные проблемы «сегодняшнего дня» ставятся на русской почве. Факты и события, в которых обнаруживается то, что в России после освобождения крестьян наступил новый исторический этап: разложение, экономическое и моральное, дворянства, растущая власть хищнической буржуазии, «хождение в народ», — вся эта встревоженная, волнующаяся жизнь находит свое яркое отражение в романе, является, в сущности, основой его сюжета. Так Достоевский всегда мыслил взаимоотношение искусства и действительности: художник тот, кто «в силах и имеет глаз» видеть и находить в фактах действительной жизни их глубину, их сокровенный смысл, ход истории.

Показать хотя бы в основных чертах всю сложность метода Достоевского, его исключительное умение слышать голоса веков, сочетать мысли, идеи и образы, созданные человечеством, с идеями и образами счастливого будущего, его стремление каждый факт современности рассматривать именно со стороны его *«идеи»*, *«смысла»*, его проникающего, — такова задача этой книги. Речь идет не о том, насколько приемлема или поучительна для нас система воззрений Достоевского философского и общественно-политического характера. Разумеется, поскольку он и в этом романе остается, по существу, противником революционного метода борьбы за лучшее будущее человечества, мы эту систему отвер-

гаем. Интересен нам и поучителен художественный метод Достоевского, который можно бы назвать методом «широких далей во времени и в пространстве», методом, не допускавшим ни узких, ограниченных тем, ни тем более мелких, лишенных широких обобщений образов.

2

В первом номере «Дневника писателя» за 1876 год, составлявшемся в декабре 1875 года, ещё до окончания печатанием «Подростка»,¹ Достоевский пишет по поводу романа следующее: «Когда, полтора года назад, Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать роман для «Отечественных записок», я чуть было не начал тогда моих «Отцов и детей», но удержался и слава богу: я был не готов. А пока я написал лишь «Подростка», — эту первую пробу моей мысли. Но тут дитя уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком, робко и дерзко желающим поскорее ступить свой первый шаг в жизни» (XI, 147). «Подросток», таким образом, по свидетельству автора, является лишь частичным исполнением темы об «отцах и детях», о которой там же, в «Дневнике» несколькими строками, выше, сказано: «Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и конечно о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении». Не подлежит сомнению, под «давно» — надо разумеать неосуществленную поэму «Житие великого грешника», замысел которой относится еще к 1869 году.² Так Достоевский и пишет дальше: «Поэма готова и создана прежде всего, как и всегда должно быть, у романиста».

«Поэма» была уже готова: не то, что должна была еще создаваться, а уже создана. Разрабатывались уже подробные планы. «Бесами» была она оттеснена лишь на время,³ и теперь, в самом начале 1874 года,

¹ Последние главы романа напечатаны в декабрьской книжке «Отечественных записок» 1875 г., 22 же декабря было подано Достоевским прошение об издании «Дневника писателя»; см.: Л. Гроссман. Жизнь и труды Достоевского, стр. 239.

² См. «Записные тетради Ф. М. Достоевского», стр. 96: «20/8 декабря «Житие великого грешника», и дальше идут записи к «Житию», стр. 96—107.

³ См. об этом подробно в предисловии к I тому писем Достоев-

как только было покончено с работой в журнале «Гражданин», уже в конце 1873 года ставшей особенно тягостной, и воображение писателя вновь освободилось для творчества художественного, тема эта воскресла. Убеждает в этом следующая параллель. В «Житии», кроме великого грешника, пока еще ребенка одиннадцати лет, должны были действовать и другие дети, честные и преступные: хроменькая Катя, Умнов, Альберт или Lambert, Аркашка. «Дети покидают семью, становятся уличными». Кроме детей, имеется там какая-то «святая мать, идеальное и странное создание». О будущем великом грешнике, который должен в конце стать «бойцом за правду», говорится, что он незаконнорожденный: «У отца его — не братья. Ему дают знать». Какой-то там учитель; часть действия происходит в пансионе Чермака; там матушкины дети, их «гадливость» — очевидно, к нему, незаконнорожденному. Читаются произведения писателей: Вальтера Скотта, Гоголя, «Герой нашего времени» — особенно часто упоминается Гоголь, — и «эффект этих чтений».¹

И вот первые записи к «Подростку» на первой же странице:

«Школьный Учитель», роман (описание эффекта чтений Гоголя, «Тараса Бульбы»)...

Дети. Мать, вышедшая вторично замуж. Группа сирот. Сведенные дети. Боец за правду. Смерть замученной матери. Протест детей. Бежать? Идут на улицу. Боец один. Странствия».

И следующая запись: «Роман о детях, единственно о детях и о герое ребенке (Избавляют одного страдающего ребенка, хитрости и проч.). Нашли подкинутого младенца».

Мы видим почти полное совпадение действующих лиц, мотивов и ситуаций, и также на первом плане герой ребенок, которому вскоре будет дано имя оттуда же, из «Жития» (Аркашка — Аркадий), и рядом с ним его соблазнитель из «Жития» же — Ламберт. Этих параллелей с «Житием» будет дальше в черновиках очень много. Новое прежде всего именно в том, что вво-

ского, стр. 19—26; см. также: В. Л. Комарович. Ненаписанная поэма Достоевского. — Сб. «Достоевский. Статьи и материалы». Под ред. А. С. Долинина. Пг., 1922, стр. 190—207.

¹ См. «Записные тетради Ф. М. Достоевского», стр. 96, 107.

дится сразу в план тема о школьном учителе, он появляется как образ в высшей степени идеальный, «положительно прекрасный человек»,¹ и таким он остается на протяжении многих страниц. Его сюжетные функции будут потом переданы именно тому, кто явится *главным* выразителем авторского идеала: разумеет странника Макара Долгорукого.

Этот учитель — «любитель детей». И не только любитель, — он уважает их и обращается с ними как с равными. «Обращаясь к детям, по исполнению их поручений, говорит им: «Господа, я ваши дела исполнил и спешу дать вам отчет». Или: «Господа, я прочел такую-то книгу», и вдруг рассказывает им о Шиллере или о чем-нибудь политическом».

«NB. (Сам взрослый ребенок и лишь проникнут сильнейшим живым и страдальческим чувством любви к детям)».

Это своеобразный отклик на ту страстную полемику, которая велась тогда в русской периодической печати вокруг новых педагогических идей Льва Толстого в связи с его знаменитой «Азбукой», изданной в 1872 году, в частности с его выступлением в защиту своего метода 15 января 1874 года на заседании Московского комитета грамотности. Про эти толстовские идеи Н. К. Михайловский отозвался в свое время, что они «проникнуты таким бурным и глубоким демократизмом, таким «культом народа».² Достоевский идет еще дальше. Передовая педагогика идеального учителя сочетается у него с современными социальными идеями не только в плане русском, но и общечеловеческом: учитель тут же представлен как убежденный противник существующего строя, фанатически верующий в возрождение человечества. Вносится, таким образом, уже сейчас, среди самых первых набросков плана, некий идеологический момент из сферы наиболее волнующих вопросов дня в эпоху семидесятых годов, — момент, для Достоевского с самого начала уже связанный именно с идеями отрицания буржуазного общества.

И это, конечно, следствие одного из тех впечатлений,

¹ Письма, т. II, стр. 71.

² Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута, т. I. СПб., издание журнала «Русское богатство», 1900, стр. 201.

про которые в черновиках, несколькими страницами дальше, сказано: «Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего *одним* или *несколькими* сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. *В этом дело поэта*».

Сердцем автора было очень сильно пережито впечатление от Парижской коммуны 1871 года, ход событий и трагический финал которой был воспринят им двойственно. Как противник революционных методов борьбы, он не сочувствовал коммунарам, хотя и считал исторически оправданным стремление французских пролетариев («четвертого сословия», говоря его же словами) свергнуть власть буржуазии; но и кровавая расправа версальцев с коммуной внушала ему только отвращение к «отмстителям». Поэтому сожжение Тюильрийского дворца, в котором обвиняла коммунаров реакционная печать, Достоевский устами Версилова оправдывал «логикой» политической борьбы. В печатном тексте этот эпизод Парижской коммуны нашел свое отражение в «исповеди» Версилова. «О, не беспокойся, — говорит он Подростку, — я знаю, что это было «логично», и слишком понимаю неотразимость текущей идеи, но, как носитель высшей русской культурной мысли, я не мог допустить того, ибо высшая русская мысль есть всепримирение идей <...> Только я один, между всеми петролейщиками, мог сказать им в глаза, что их Тюильри — ошибка; и только я один, между всеми консерваторами-отмстителями, мог сказать отмстителям, что Тюильри — хоть и преступление, но все же логика».¹ Это почти то же двойственное, «сверхлогическое» восприятие «страшного года», Парижской коммуны, которое мы находим в вышедшем в этом же 1874 году последнем романе Виктора Гюго «Девяносто третий год». Идеалист в философии, пацифист, утопист в политике, ставивший своей задачей «дополнить великое правдой и правду великим», Гюго видит в исторических лицах и исторических событиях всегда «категории добра и зла», символы «движения от зла к добру», «от тени к свету»,

¹ Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в десяти томах, т. 8. М., Гослитиздат, 1957, стр. 514—515. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте сокращенно в скобках, том — арабскими цифрами курсивом, страницы — арабскими.

в данном произведении — «от монархии через республику террора к республике милосердия».

В черновиках, несколько дальше, роман этот прямо назван в связи с революционным кружком долгушинцев, которые спорят о судьбах мира с точки зрения коммунизма. У Гюго Симурден, носитель идеи революции, с ее логикой, «режущей как нож гильотины», — односторонность. Так же односторонен и Лантенак, носитель идеи феодализма, консерватор, отмститель. Прав, с точки зрения Достоевского, Говен, возвышающийся над обоими носителями частных идей, выразитель идеи автора, идеи гуманности.

Уже на первой странице планов «Подростка», между первой же записью о детях и записью об идеальном учителе, имеется такой набросок: «Фантастическая поэма-роман: будущее общество. Коммуна, восстание в Париже, победа, 200 миллионов голов, страшные язвы, разврат, истребление искусств, библиотек, замученный ребенок. Споры, беззаконие. Смерть». И следующая запись: «Застрелившийся и бес в роде Фауста. Можно соединить с поэмой-романом».¹ Кто-то из тех, кто обладает особенно чуткой совестью, из идейных фанатиков, не выдерживает, должно быть, краха всей европейской культуры, разубеждается в своей вере и погибает. В печатном тексте мы находим этому далекое отражение в идейном самоубийстве Кряфта. Это про таких, как Крафт, сказано в черновиках: «Человек, в высоких экземплярах своих и в высших проявлениях своих, ничего не делает *просто*: он и застреливается не просто, а религиозно», т. е. фанатически идейно. Может быть, то, что рядом с застрелившимся стоит «бес в роде Фауста», есть самый первый момент зарождения образа Версилова: в черновиках Версиров, скептик и циник, долго сопоставляет себя, свою «подлую живучесть» с идейным фанатизмом Крафта, который не может мириться с третьестепенной ролью России в истории всего человечества и застреливается.

¹ Набросок, явно восходящий к «бессмысленному бреду» Раскольниковых, так «грустно и так мучительно отзывавшемся в его воспоминаниях»: началась мировая катастрофа, «целые селения, целые города заражались и сумасшествывали... Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями <...> кололись и резались, кусали и ели друг друга <...>. Оставили ремесла <...> остановилось земледелие <...>. Начались пожары, начался голод. Все и все погибало...»

Мысль о фантастической поэме-романе лишь промелькнула, как и тема об идеальном учителе. План о детях тоже пока еще в зародыше. Так обстояло дело в феврале 1874 года.

Но вот художник начинает искать факты из окружающей действительности, которые могли бы лечь в основу фабулы вокруг одной из названных тем, а может быть, всех в ней, в этой же фабуле, объединенных. Он ищет факты, по обыкновению наиболее разительные, и прежде всего обращается к уголовной хронике: в резких отклонениях от общеустановленных человеческих норм, в исключениях скорее улавливается смысл, идея нарастающих в общественной жизни изменений. Таково было постоянное убеждение Достоевского. Следует после всех приведенных выше набросков такая запись: «Московские ведомости», 26 февраля 74, из Бахмута о жене-пристяжной». По этой записи мы и датируем все предшествующие наброски февралем 1874 года.

Крестьянка села Андреевки, сильно терпевшая от побоев мужа и свекрови, убежала домой к матери. Мать не приняла ее, и она ушла к подруге верст за пятнадцать. В новом месте сельское начальство потребовало от нее вида на жительство, и, так как вида не оказалось, начальство запросило старосту села Андреевки, отпущена ли она мужем добровольно. Вместо ответа от старосты приехал за ней сам муж с двумя товарищами. Они насильно забрали ее от подруги и сейчас же поехали обратно. Уже по дороге началось дикое истязание. Жену привязали веревками к оглобле и стали шибко погонять лошадь. Женщина падала, изнемогая, поднималась и снова бежала, подстегиваемая кнутом. Доехали так до кабака, «отдохнули», выпили и снова отправились в путь. Отъехав от кабака с версту, опять запрягли как пристяжную иссеченную бабу, она падала, задыхаясь; ее поднимали, били,, погоняя кнутом. И так всю дорогу до самого села. В дальнейших черновых записях это «бахмутское» истязание нигде не использовано, если не предположить, что к нему восходит, по изощренной жестокости самого характера мучительства, несколько случайных набросков о некоем швейцаре или Швейцарове, сжегшем на плите свою гулящую жену.

Дальше автор снова обращается к теме, восходящей к «Житию великого грешника», к теме о детях. Идет целый ряд таких записей:

«Заговор детей составить свою *детскую империю*. Споры детей о республике и монархии».

«Дети заводят сношения с детьми-преступниками в тюремном замке».

«Дети — поджигатели и губители поездов».

«Дети — развратники и атеисты».

Тут впервые появляется Ламберт, перенесенный сюда из «Жития» с той же ролью — кощунствующего и развратного *мальчика*. И рядом с ним M-me Andrieux. В окончательном тексте она лишь вскользь упоминается в воплях Альфонсины, содержанки Ламберта; в черновиках же она будет в дальнейшем встречаться довольно часто в связи то с Подростком, то со старым князем Сокольским, с которым ее сводит тот же Ламберт.

Следует опять обращение к газете за фактами из уголовной хроники: «Дети убийцы отца (Московские ведомости № 89, 12 апреля)». Это вторая дата, по которой мы устанавливаем ход работы; работа идет еще очень, очень медленно. Прошло с той записи о «жене-пристяжной» около полутора месяцев, и, очевидно, пока еще нет никакого более или менее твердого сюжетного замысла.

Убийцами отца оказались мальчики возрастом от восьми до десяти лет. Действие происходит в местечке Зехсгауз, возле Вены. У столяра Антона Лейснера сбежала жена вместе со старшим сыном тринадцати лет, оставив четверых детей, из которых самому младшему не было еще года. Покинутые дети страстно любили мать и очень по ней скучали. Они обвиняли во всем отца и решили его убить, для того чтобы соединиться с матерью. План убийства был задуман восьмилетним мальчиком, он сообщил его братьям, и братья одобрили план. Орудием убийства должны были служить две стамески: одна — чтобы перерезать отцу горло, другой — проткнуть ему насквозь живот. Убийство дети решили совершить над спящим в ночь с 5 на 6 марта. И вот роли уже распределены. Один будет стоять на страже, дожидаться, пока отец крепко заснет; двое других нападут, одновременно начнут резать и колоть. Но плакало всю ночь годовалое дитя, отец вставал к нему и не засы-

пал. Отец заснул наконец часов в семь утра. Тогда дети стали тихо-тихо подкрадываться; вот они подошли к его кровати, уже занесли над отцом свое орудие, острая стамеска приставлена к горлу, еще одно мгновение — и страшное совершится. Но вдруг опять заплакало дитя, отец проснулся.

Потому ли, что факт этот уж слишком исключительный и был бы воспринят как плод «больной фантазии», или потому, что произошел он не в России, — основой сюжетной он не сделался даже и на время.

И вот подводится черта, как бы итог всем этим случайным поискам: что же все-таки могло бы остаться и быть использовано в дальнейшем? Боец за правду — центральная фигура из «Жития». И нужно запомнить и поставить рядом с ним — для идейного контраста — уже дважды мелькнувший в записях образ кого-то застрелившегося. Идет такая запись:

«*Момент*. Быстрая встреча молодого человека (идеал борьбы) с прежним товарищем... День с ним. Тот застреливается». В окончательном тексте Подросток проведет с Крафтом всего несколько часов, — самоубийство совершится в отсутствие Подростка, но впечатление будет колоссальное.

Но ведь это только *момент*. И лишь в записях о сведенных детях, о детях развратниках, атеистах (среди них Ламберт), о матери, вышедшей вторично замуж, и смерти измученной матери — только здесь есть некое движение, как бы уже начало сюжетной динамики. Нужен стержень: чьи эти сведенные дети? За кого это мать вышла вторично замуж и кто ее мучитель? Какая-то удушливая атмосфера преступности и жестоких детских страданий. И мерещится в ней некий «бес в роде Фауста», циник и скептик. Мы накануне появления центрального героя, который должен стать главной движущей силой сюжета.

Приблизительно в конце апреля или в самом начале мая была сделана следующая запись:

«*Хищный тип*¹ (разбор кн. Даниила Авсеенком). Почему дурак-князь имеет право на мое внимание? Сопо-

¹ Достоевский употребляет термин, пущенный в ход Аполлоном Григорьевым в статьях, печатавшихся в журналах Достоевского «Время» и «Эпоха». Григорьев считал, что русский национальный характер выразил себя преимущественно в двух типах — хищном и

ставление у Авсеенко простого честолобца, который бы непременно вернулся в Петербург к празднику, с князем Данилом, который, напротив, не вернулся по необузданности натуры своей, ибо страстен, женился на Милуше и хочет быть в страсти свободным. А потом хнычет, зачем не вернулся. Это потому, что он главное — *дурак*. Настоящий хищный и на Милуше женился бы всецело и вернулся бы. Было бы безнравственно, но у полнейшего хищника было бы даже и раскаяние и все-таки продолжение всех грехов и страстей.

Не понимают они *хищного типа*».

И дальше вдруг, точно какое-то внезапное озарение: «иметь в виду настоящий хищный тип *в моем романе 1875 года*. Это будет уже настоящий героический тип, выше публики и ее живой жизни, а потому понравится он обязательно. (А князю Даниле, например, нечем нравиться)».

Так намечается герой будущего романа — как резкое противопоставление какому-то чужому образу, возникает именно по контрасту; не дурак Данила, а истинный хищный тип, стоящий выше публики и обаятельный, способный и на раскаяние «и все-таки продолжение всех грехов и страстей».

Толчок к появлению чаемого героя как бы совершенно случайный: речь идет о рецензии Авсеенко на исторический роман Евгения Салиаса «Пугачевцы», напечатанный в апрельской книжке «Русского вестника» за 1874 год. Авсеенко в восторге от романа, ставит его на один уровень с «Войной и миром» Толстого. Восхищается Авсеенко особенно образом князя Данилы: «гордого, бешеного, своенравного, смелого и умного». Восемнадцати лет этот Данила был отвезен отцом в Петербург и поручен покровительству графа Румянцева. Данила делает быструю карьеру: Екатерина II «обратила на него милостивое внимание», и он часто бывает во дворце. Но вскоре Данила проявляет самовольство: за какое-то оскорбление он застрелил одного офицера и обидел какого-то вельможу; его арестовывают и ссылают в деревню к отцу, с приказанием, однако, к тезоименитству государыни быть безотлагательно в Петербурге. В де-

смирном. К первому типу (хищному) он относил Печорина, Алеко и др.; ко второму — пушкинского Белкина. См. подробнее в статье «Достоевский и Страхов», стр. 307.

ревне князь Данила еще больше дает волю своему бешеному нраву. «Умный, непреклонный и отважный, он самоуверенно глядит вперед. Начинается мятеж <разумеется Пугачевское восстание>. Он вспоминает свой долг дворянина. Соблазны петербургской карьеры на время забываются». И тут происходит встреча с Милушей. Милушу Авсеенко так характеризует: «Она — дичок, натура простая, но глубокая; полюбит навеки. Неотразимая прелесть ее наивности и женственности привораживает князя Данилу». «Правда, — продолжает дальше рецензент, — Данила вспоминает, будто его подвинуло жениться то обстоятельство, что Милуша была невестой другого — князя Андрея Уздальского. Этому можно поверить: некоторый хищнический инстинкт сказывается в Даниле даже «в минуты полного опьянения страстью...» Но опьяненный счастьем и еще влюбленный в свою добычу, Данила уже чувствует однако ж на дне души своей незримого червя. Его гложет и сушит мысль, что отныне жизнь его очертилась узким кругом, что память о нем сохранится только для детей и внуков. «Да что проку в их памяти, что ветер пролетный. Я бы хотел, чтобы меня вся русская земля через сто лет поминала: вот как Румянцева помянет, Орлова. Один Задунайский, другой Чесменский. А я какой? Я — Милушин. А я мог бы... И огонь в себе чую... И случай в руки лез. Да и теперь еще вернись в Питер... Многое на перемену пойдет. Да, видно, не судьба».

«Не понимают они хищного типа», пишет Достоевский, ни Салиас, ни Авсеенко. Князь Данила слишком слаб для хищного типа. Вот какой он должен быть, читаем мы дальше:

«Хищный тип (1875 года). Страстность и огромная *широкость*. Самая подлая грубость с самым утонченным великодушием. И между тем, тем и сила этот характер, что эту бесконечную широкость преудобно выносит, так что ищет, наконец, груза и не находит. И обаятелен и отвратителен».

«Думать об этом типе. 4 мая 1874 г.» — записано очень крупным почерком (несколько в стороне от предыдущей записи).

4 мая 1874 года возник впервые образ будущего Версилова. С этого дня и начинается уже настоящая работа над планами.

Оттолкнувшись от образа князя Данилы Салиаса, начинает Достоевский строение характера центрального героя своего будущего романа. Но тут он вступает на путь, однажды уже пройденный им. «Огромная широкость»... «И обаятелен и отвратителен»... И особенно то, что «ищет наконец груза и не находит». Это все черты Принца Гарри в «Бесах», красавца, с лицом, похожим на маску. Связь будущего «хищного типа» со Ставрогиным Достоевский тут же подчеркивает: *Ставрогин* — поставлено в скобках под предыдущей записью. И к Ставрогину же, к целому ряду мотивов его сюжетной линии восходит и следующая запись, здесь же, несколько в стороне: «снес пощечину, бесчестил, выносил великие впечатления».

Но самое главное—это «красный паучок» Ставрогина, символ всего пережитого и передуманного им в ту минуту, когда впервые зародилась у него мысль о возможности спасения от нравственной гибели в акте публичного покаяния, в «исповеди» (VII, 555—586).¹ Асис и Галатея Клода Лорена, золотой век, прекрасное детство человечества, лицо, смоченное слезами сострадания к погубленному им ребенку, — словом, все то, что осталось неиспользованным в «Бесах», снова возникло теперь в художественном воображении писателя: над словом «Ставрогин» здесь и стоит: «красный жучок»; тема «Исповеди» (как увидим дальше) и сделается на долгое время основным сюжетным стержнем в истории жизни становящегося «хищного типа».

4

«Хищный тип», связанный с образом Ставрогина, и «боец за правду», восходящий к теме «Жития великого грешника», — так противостоят они друг другу в первоначальной уже концепции, два будущих главных героя, вокруг которых придется плести основные ткани уже вскоре начинающей соиздаться фабулы. Второй герой намечается пока в последнем моменте его жизненного пути, в конечных его достижениях: «Молодой человек <Достоевский сам же указывает здесь его связь с «Жи-

¹ См. также «Материалы к «Бесам».—Сб. «Свиток», М., 1922, № 1. См. еще мою статью «Исповедь Ставрогина».—Сб. «Литературная мысль», Пг., 1922, стр. 139—162.

тием»> НВ. *великий грешник*, после ряда прогрессивных падений вдруг становится духом, волей, светом и сознанием на высочайшую из высот». Так ставил художник свою задачу относительно этого героя и в «Житии» (таким он мыслил его и второй раз, в первоначальных планах о роли Ставрогина). Достаточно поэтому пока одного только *знака*, беглого указания на то, что в новом романе ему должно быть дано место с той же целью и в том же аспекте, в каком он уже (дважды) являлся в воображении художника. Тип этот для читателя новый, и в свое время образ его будет продуман до конца и поставлен в законченном виде. Гораздо сложнее со вторым, с «хищным типом». Именно потому, что он так близок к Ставрогину и читатель уже знает его, нужно сейчас же найти те черты, которые их друг от друга отличают. Нужно прежде всего снять с его лица ставрогинскую маску, как пишет здесь Достоевский, «сделать его симпатичнее».

В «Бесах» Ставрогин предстал перед читателем, уже в самом начале романа, в состоянии «дурного равновесия», и таким он остается, в сущности, до конца. «Великие порывы» чужды ему, «в добре и зле он одинаково холоден». Действия и мысли его, которые должны свидетельствовать об огромной силе его воли и ума, отнесены к прошлому; в пределах же разворачивающегося в романе сюжета даны только его отражения: Шатов, Кириллов, Петр Верховенский. Все они уверяют, что их идеи — это его идеи, но высказывают и реализуют эти идеи они, а не он. Вот здесь-то и начинается отличие. «Хищный тип» в новом романе должен быть представлен как бы *паставрогиным*, таким, каким был или мог быть Ставрогин до состояния мертвенного своего покоя, — не отражения его, как в «Бесах», а он сам: действующий, волнующийся, страдающий и мыслящий.

«Думать о *хищном типе*. Как можно более сознания во зле. Знаю, что зло, и раскаиваюсь, но делаю рядом с великими порывами». Эта запись помечена автором: «Эмс», т. е. не раньше середины июня.¹ «Зло» и «великие порывы» — не в акте покаяния, не в «исповеди»; тут же, *в романе*, должен он проявляться в одно и то же время в «двух противоположных деятельности». В од-

¹ См.: Письма, т. 111, стр. 101—106. (Первое письмо к жене из Эмса от 15 июня 1874 г.)

ной деятельности он «великий праведник, возвышается духом и радуется своей деятельности». В другой — «страшный преступник, лгун и развратник... Здесь страсть, с которой не может и не хочет бороться. Там — идеал, его очищающий, и подвиг умиления и умилительной деятельности». Если ориентироваться на окончательный текст, то мы имеем уже здесь в зародыше всю будущую сюжетную линию Версилова: страсть, его поглощающая, — Катерина Николаевна Ахмакова; «очищающий его идеал» — эпизодно — Лидия Ахмакова, а главное — Софья Андреевна, мать Подростка.

Но необходимо сейчас же указать первопричину его раздвоенности, его двух «противоположных деятельностей». Поскольку, по Достоевскому, личность, характер человека формируется воплощенной в нем идеей, дается одновременно и психологический его, будущего Версилова, портрет, и основы его идеологии.

«Этот хищный тип большой скептик. Социальные идеи окружающих его, над которыми он смеется. Разбивает беспощадно идеалы у других... и находит в этом наслаждение». Делает же он это потому, что «у него убеждение... нет другой жизни, я на земле на одно мгновение, чего же церемониться... Плутуй... нарушай «контракт» <установленный обществом>, и если этим нарушается гармония и выходит диссонанс для будущего общества, то какое мне дело, хотя бы они провалились не только в будущем, но хоть и сию минуту, и я с ними вместе... У него такая даже наклонность мысли: Вот прекрасное видение и впечатление. Так глушить их скорее: Все то существовать будет одно мгновение, а в таком случае лучше бы и не быть этому прекрасному». Словом, формулирует автор свою главную мысль, «он атеист не по убеждению только, а *всецело*»; его характер «не от теории, а от чувства этой теории».

К атеистической идеологии центрального героя, как к главной причине его деятельности и его характера, будет Достоевский в дальнейшем много раз возвращаться. Будет ее варьировать, углублять, приведет еще целый ряд доводов в пользу атеизма. «Это главная мысль драмы, т. е. главная сущность его характера»,—последует через несколько страниц примечание автора, после того как он попытается уже в фабуле представить жизнь этого героя как «картину *Атеистам*».

Но чем же тогда объяснить вторую его деятельность — этого центрального героя, где он является великим праведником, возвышается духом и радуется своей деятельности? Он атеист не холодный, а горячий, страдающий атеист. Мотив проповеди христианства — «вериги» — появляется почти одновременно со страстным его отрицанием: через 100000 лет земля остынет, превратится в ледяные камни, которые будут летать вокруг солнца; игра двух лавочников в шашки гораздо умнее и толковее, чем бытие, так глупо кончающееся. Но если есть бог, то «есть и для меня вечность, и все тогда принимает вид колоссальный и грандиозный, размеры бесконечные, достойные человека и бытия... *Бытие должно быть непременно и во всяком случае выше ума человеческого*». Так мыслит этот «хищный тип» теоретически, тщится и в «деятельности» бороться со своим атеизмом и «радуется, если это ему удастся». Но атеист все же в нем побеждает, символ «разбитие образа» (в окончательном тексте после смерти странника Макара Долгорукого) появляется очень рано и проходит через все стадии работы над романом.

Атеизм, «чувство этой теории» как первопричина характера будущего Версилова — тема еще более старая, чем «Житие великого грешника». В письме к Майкову от 11 декабря 1868 года образ, связанный с этой темой, дан в таком виде:

«Русский человек, нашего общества, и в *летах*, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов — *вдруг* уже в *летах* теряет веру в бога. Всю жизнь он занимался одной только службой, из колеи не выходил и до 45 лет ничем не отличился. (Разгадка психологическая: глубокое чувство, человек и русский человек.) Потеря веры в бога действует на него колоссально <...> Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по Славянам и Европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, *попадает на крючок, иезуиту*, пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины — и под конец обретает и Христа и русскую землю, русского Христа и русского бога».¹

В большинстве черновых записей, как и в оконча-

¹ Письма, т. II, стр. 150. Курсив Достоевского.

тельном тексте, Версиров все время «уже в годах», бога потерял он *именно 45-ти лет*. Он «шныряет по новым поколениям, по атеистам»: в записях есть следы его встреч с Васиным, не только случайных, как в окончательном тексте, а как с главным и наиболее идейным среди революционеров; встречается и с Крафтом, и с другими долгушинцами. «Шныряет и по Европейцам»: судя по черновикам, пребывание его в Европе должно было играть в ходе развития сюжета гораздо большую роль, чем в законченном романе. А то, что атеист «попадает на крючок иезуиту», находит свое отражение в тех «веригах», которые Версиров стал носить после того, как он, по слухам, принял за границей католичество. Мотив перехода в католичество звучит в подготовительных записях особенно сильно.

Так намечается еще один момент в генезисе образа Версирова: он восходит не только к князю Даниле и к Ставрогину, но к старому замыслу «Атеизма». И замечательно: дальше в записях будет сказываться особенно ясно, как сильно борются между собой эти два момента. Версиров, вначале более молодой (Подросток еще не сын его, а брат или пасынок), временами такой же, как Ставрогин, жестокий, способный больше на зло, совершающий такое же преступление, как и он, — начинает постепенно стареть, облик его все более и более смягчается, страдания его становятся глубже, идейнее, именно, как сказано про Атеиста: «разгадка психологическая, глубокое чувство». Как видим, почти в самом начале работы над «Подростком» возродились оба старых неосуществленных замысла: «Атеизм» и «Житие великого грешника». Версиров тяготеет к первому замыслу, а будущий Аркадий Долгорукий — Подросток — ко второму.

5

Намечен в основном психологический портрет главного героя, «хищного типа», как и те идеи, воплощением которых он должен стать в каждой из своих деятельностей. Теперь уже можно приступить к созданию сюжета более конкретно. Кроме «хищного типа» и мальчика, который должен стать бойцом за правду, был еще, как уже было выше указано, в связи с темой о детях, какой-

то идеальный учитель, по имени первоначально Федор Петрович, а затем Федор Федорович.

Первая попытка — объединить всех в одной фабуле.

«Орава детей: детская монархия или республика. У хищного типа с оравой какие-то сношения. В ораве два героических мальчика. Один из них, проведая, что Он¹ *втайне* делает добро и посещает нуждающихся... переходит к Нему, в *Его* обожатели»; другой, предводитель оравы, наоборот, не поддается Ему, «усиливает вражду». Связана «орава» с Ним, с «хищным типом», еще через Его тринадцатилетнюю падчерицу, которую Он обольщает; она тоже изменяет шайке детей и матери. Мать, страстно в Него влюбленная, ревнует Его к ребенку, к своей же девочке. «Мать ее допрашивает, покрывает поцелуями, но девочка высокомерно и подозрительно холодна. Мать ноет над ней: «зачем ты меня не любишь?» Девочка больна и в бреду. Мать над нею. Мать умерла. Девочка чуть с ума не сошла от раскаяния. Упрекает Его (тот охладел и смеется)... Девочка повесилась». И тут жучок: «неотразимость раскаяния и невозможность жить после жучка. Его губит сразу совершенно неотразимо сознательно жизненное впечатление жалости, и Он гибнет как муха».

Это первый остов плана, восходящий в целом ряде мотивов еще к ставрогинской «Исповеди». В него вносится тут же следующее осложнение: «Советник и руководитель» у оравы детей — Федор Федорович. А мать девочки — «адская Его жертва», всем Ему пожертвовала, погубившая для Него жизнь Голицына.² «Он адски ее мучит для наслаждения ее мучениями». «Жучок», символ раскаяния, может быть, таким образом, не только в связи с самоубийством девочки, но и со смертью жены. Следует такая деталь: «Мальчик дает Ему пощечину». Очевидно, это тот же перешедший к нему «героический мальчик», будущий боец за правду. «Жена-праведница»: то, что она была причиной гибели Голицына, она должна переживать сильно; история смерти Голицына тоже может быть введена в сюжет.

Это всё мотивы, связанные главным образом с пер-

¹ Далее местоимение «Он», относящееся к будущему Версикову, всегда с прописной буквы.

² Такова фамилия влюбленного в нее персонажа.

вой, преступной деятельностью «хищного типа». Вторая же его деятельность, светлая, в этом плане лишь намечена: Он любит девицу или чужую жену и «в домашней обстановке Он светел, великодушен и героичен». Дальнейшее движение фабулы отсюда и начинается. Чтобы теснее связать с главным героем идеального учителя Федора Федоровича, выдвигается такая версия: Не жена ли его та чужая жена, где совершается «праведный подвиг» героя? Женился же Федор Федорович на ней *«не по страсти и не по любви, а по какому-то семейному условию»*.

Внимание на время переносится на Федора Федоровича, и дается ему тщательная характеристика. Он тоже восходит к образу, однажды уже полностью развернутому. В скобках прямо сказано о нем: *«Идиот»*. У него «страсть к детям». Дети — постоянное его общество, его товарищи. Они «простодушны и прелестны», и только с ними он счастлив. «Знаете, вот мы их растим, а ведь как жаль, что они вырастут, станут хитры и грубы, а теперь так простодушны и так прелестны... Они меня очеловечивают. Есть кое-что, чего без них я бы никогда не понял».

В романе «Идиот» в развернутой речи «положительно прекрасного человека» князя Мышкина это звучит так: «Не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими <...> с ними мне всегда тяжело почему-то, и я ужасно рад, когда могу уйти поскорее *к товарищам, а товарищи мои всегда были дети* <...> Я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и *счастливое* ощущение при каждой встрече с ними. Я останавливался и *смеялся от счастья*, глядя на них <...> и я забывал тогда всю мою тоску <...> Вся судьба моя пошла на них».

Федора Федоровича, как и Мышкина, тоже все считают ребенком, ничего не понимающим в жизни и в человеке, а на деле он тоже глубже всех постигает человеческую душу, обладает каким-то особым внутренним зрением. Свою жену или невесту он «ужаснул» тем, что «рассказал ей всю психологию ее души до глубины». Рассказал он «спокойно и почти холодно». Но этот холод лишь внешний, его спокойствие от проникнутости до конца идеей, именно от какого-то иного, «внутреннего» знания.

«Но если вы все это проникли и знаете в людях, то как вы можете оставаться так холодны и спокойны», — восклицает она, жена или невеста, когда он раскрыл ей ее душу. «Но ведь я не холоден и не спокоен», — отвечает он ей, но так холодно и спокойно, что как будто не понял замечание. Разгадка в том, объясняет автор, что он фанатик, «а таковые все спокойны, хотя бы на казнь идти».

Как «идиот», он тоже «не от мира сего», ему чужды обычные человеческие страсти.

«Нет, он невозможен! (т. е. как муж, как *самец*)», — говорит она «сама в себе», жена или невеста, хотя чувствует к нему «ласковость». Это повторение основного тона в отношениях Аглаи Епанчиной к Мышкину.

И вот тем замечательнее эта попытка дать тот же идеальный образ «положительного героя» на совершенно иной, *противоположной* идейной основе: не христианин он — эта новая разновидность «идиота», а именно, как и будущий Версиков, тоже атеист. «Социализм», атеистический социализм, «переделка всего человечества по новому штату» — это ведь та же тема о боге, «только с другого конца» — скажет позднее автор устами Ивана Карамазова; тот же психологический строй, основанный на глубочайшей вере, но не старой, а новой; на *вере в революцию*. Мысль эта у Достоевского, в сущности, мелькала и раньше. Еще в «Бесах» «особенный, совершенный атеист» приравнен в какой-то мере к человеку «совершеннейшей веры», и им обоим противопоставлен «равнодушный», который «никакой уже веры не имеет кроме дурного страха, да и то лишь изредка, если чувствительный человек» (VII, 561).

В «Братьях Карамазовых» эта же мысль становится уже основной движущей силой: Pro и Contra — старец Зосима и атеист Иван равновелики. Однако там, в «Карамазовых», автор делает все со своей стороны, чтобы они казались читателю на одинаковой высоте лишь в области «разума». *Психологически*, с людьми, Иван должен приближаться к «хищному типу». Образ Ивана, который был задуман как носитель «современных идей», начинает искажаться на самом кульминационном пункте в книге «Pro и Contra» — во славу заранее predetermined тезиса: идеальная нравственная чистота с атеизмом несовместима,

Так, в записях о Федоре Федоровиче намечалась задача: высочайшие нравственные качества персонажа сочетать с социализмом, не в научном, разумеется, материалистическом его обосновании, — но все же с *революционным атеистическим социализмом*.

У Федора Федоровича, — следует такая запись, — «есть идеи, которым он верит неизменно и слепо, несколько социальных идей между прочим». Он *народен*: «Народ, при соприкосновении с ним... совершенно и *прямо* признает его за своего».

Он социалист и фанатик, «весь вера»; про Христа отзывается, что «в нем было много рационального, демократ, твердость убеждения и что некоторые истины верны, но не все» — совсем как утопический социалист сороковых годов, как петрашевец. Федора Федоровича ничто не смущает: «ни кровь, ни пожары (драгоценности Тюильри)». Погибшие в 1871 году во время восстания коммунаров «драгоценности будут лучше, в тысячу раз выше», поэтому он и жаждет гибели современного общества; коммунаров он понимает и вполне их оправдывает.

Так противостоит он «хищному типу» в основе: тот — скептик, а Федор Федорович «уверовал в смысл коммунизма». Повторяем: разумеется, тот «коммунизм», в который уверовал Федор Федорович, ничего общего не имеет с нашим научно-обоснованным коммунизмом. Это, конечно, не более как туманная сумеречная мечта человека, которому «лик мира сего» очень даже не нравится», и он невольно предается очарованию сладостной фантазии. Сама основа философского мышления Достоевского, идеалистическая, постоянно толкала его к смешению коммунизма в его представлении с «коммунизмом» христианским, в частности с «коммунизмом» Вейтлинга, которого, как известно, Маркс так сурово осудил.¹ Этим и следует объяснить, почему здесь, как в первоначальных записях к роману, так и в окончательном тексте, борьба идей в связи с темой о будущем счастливом человеческом строе определяется преимущественно одним признаком — коммунизм христианский

¹ См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 19. М., Госполитиздат, 1961, стр. 201.

или атеистический. Идеальный герой Федор Федорович мыслит *атеистически*, и в этом его своеобразие.

В дальнейшем основные черты образа Федора Федоровича, как это было уже раз указано, будут переданы страннику, Макару Долгорукому. Мы видели только что, как, в противоположность «хищному типу», Федор Федорович *народен* по своим идеям и «народ совершенно и прямо признает его за своего». Макар Долгорукий будет народен и по происхождению. Они оба — и Федор Федорович и странник — «*весь вера*»; оба как дети, и души у них чистые, незлобивые, и все они понимают и всех прощают. Почти та же у них обоих и сюжетная ситуация: Макар женится на Софье Андреевне тоже не по страсти и не по любви, а по «*семейному условию*», по предсмертному завещанию ее отца. И как здесь она-то и есть та чужая жена, в связи с которой совершается «*праведный подвиг*» героя, «хищного типа»; так и в окончательном тексте лучшая, праведная сторона Версилова символизируется в его вечной привязанности к «маме», к матери Подростка Софье Андреевне. Вера в «смысл коммунизма», радостное принятие «современных социальных идей» тоже останутся до конца, перейдут к нему же, к страннику Долгорукому. Кое-чем заимствуется у Федора Федоровича и Васин, долгушинец, революционер, поражающий «холодом и спокойствием».

Само собою разумеется, все эти идеальные черты Федора Федоровича, распределенные между другими образами на измененной идейной основе, получают потом уже новое освещение, но для этого должна будет резко измениться и сама фабула. Пока же, повторяем, Федор Федорович и будущий Версильов противостоят друг другу именно как два противоположных *психологических типа*: один — атеист, который ни во что не верит, ищет веры и ее не находит, — в этом его трагизм; другой — «*весь вера*», но тоже атеист, вера не в бога, а в социальное преобразование человечества: «Идиот», князь Мышкин, такой же идеальный, нравственно чистый, но *без Христа*.

Нужно теперь лишь попытаться связать их еще ближе — не только через ораву детей, сделать естественнее их встречи, в которых проявлялась бы их идейная борьба.

«Уж не брат ли Он?»

Следует такая запись: «Он <т. е. главный герой — хищный тип> *сорока лет*», а Федор Федорович «младший брат Его (или еще лучше сведенный брат) *двадцати семи*». Соответственно этому и «мальчик героический», которому была дана раньше роль перебежчика (из оравы детей) — тоже его брат,—становится несколько старше, приближается уже по возрасту к будущему Подростку.

Итак, подводит художник как бы первый идейный итог всем своим исканиям:

«Итак один брат Атеист. Отчаяние.
Другой — весь фанатик.
Третий — будущее поколение,
живая сила, новые люди,
перенес Lamberta
(И новейшее поколение—дети)».

Но кто же из этих трех, кроме «нового поколения — детей», должен быть самым главным героем? Роман может строиться близко к теме «Жития», тогда этим героем будет третий брат, «будущее поколение», Подросток; либо в русле концепции «Идиота», тогда — Федор Федорович; либо, как уже было указано, близко к образу Ставрогина, осложненному чертами героя из неосуществленной поэмы «Атеизм»: «хищный тип», будущий Версилов. Мысль автора склоняется пока больше к третьему варианту. Следует тут же такая запись:

«Главное. Во всем идея разложения... Разложение главная видимая мысль романа. Все врозь, даже дети врозь... Общество химически разлагается»; и выражает это «главное» Он, «хищный тип». Когда кто-то ему возражает: «Ну, нет, народ... Есть же семьи и страшное множество», «хищный тип» отвечает: «это все середина, рутина, люди без мысли, мы люди с мыслью, за нами все пойдет». И приводится в пример Белинский: «Белинский был один, когда задумал свой поворот после статьи своей «Бородинской годовщины» и что же, все за ним пошло. Идея его всех победила. Даже рутина лепечет его, не понимая».

Белинский упомянут здесь не случайно. В окончательном тексте имя его исчезнет, но дальше, в черновиках, он окажется связанным с Версиловым в жизни: Версилов знал его лично, как и Герцена. Мы, очевидно, в сфере идеологической борьбы людей сороковых годов, на том рубеже, когда утопический социализм, с одной стороны, мыслится еще как «обновление христианства», а с другой — более зоркие и последовательные, под влиянием материалистической философии, преимущественно Фейербаха, стремятся сочетать идею «переустройства мира по новому штату» с атеизмом. Белинский пережил обе эти стадии, можно сказать, на глазах у Достоевского, и образ его перед Достоевским все время двойится.

Когда старший брат, атеист, «не верующий воскресению», сравнивает роль «людей мысли» с ролью Белинского после «поворота», после его статьи «Бородинская годовщина», — он совершенно прав: свой отход от религии, а вскоре и борьбу с ней Белинский действительно начинает с этого момента.

Но это была, по крайней мере на первых порах, борьба с *религией, с церковью*, а не с Христом; Христа воспринимал тогда и Белинский как социального реформатора; как говорит в одном месте Достоевский, социализм «принимался лишь за поправку и улучшение <христианства>, сообразно веку и цивилизации» (XI, 135).

Христос — либо «богочеловек», и отсюда вера в воскресение; либо, как говорит о нем Кириллов в «Бесах», идеал совершенства и красоты человеческой — «человекобог», великий реформатор, и тогда это совершенно мирится с атеизмом, тогда возможно ведь сочетание — христианин-атеист. Эту именно формулировку, которая могла зародиться только на основе утопического социализма, Достоевский и принял на всю жизнь, и в том или ином виде она является во всех его больших романах, достигая наибольшей ясности и полноты в антитезе: Иван Карамазов и старец Зосима.¹

Идеологическая тема «Карамазовых» все время ощу-

¹ См. статью «Последняя вершина». (К истории создания «Братьев Карамазовых», стр. 231—306 настоящего издания.)

щается здесь в споре «старшего брата», будущего Версилова, с Федором Федоровичем.

Когда старший брат доказывает «коммунисту» Федору Федоровичу, что Христос основывал общество на свободе и что «нет другой свободы, как у него», а коммунисты хотят основать общество «на рабстве и идиотстве», то «Федор Федорович сбит в аргументах, но *не сбит в чувстве*». Ибо «это только слова» и все это нейдет к настоящему делу. И «уходит от спора спокойный». Это тема «Легенды о великом инквизиторе»; она явственно звучит здесь в самой основе своей, с той разницей, что там остается «спокойным» «в своем чувстве» Христос, религиозно-мистический, «богочеловек», правда на его стороне; здесь же — атеист, социалист, признающий в Христе *не богочеловека, а человекобога*.

И то же дальше — когда Федору Федоровичу возражают: «в новом обществе дети будут без отцов, ибо семейства не будет (а семейство, так и собственность)», он на это отвечает, что «верно не так будет... Да и можно ли не любить детей: ведь вот отец и мать их побросали, а ведь я же их люблю; такие, как я, всегда будут. О, будут в тысячу раз лучше нас, ибо всё будет любовь и согласие. Все будут отцы и матери, тогда не надо натуральных отцов, а то это почти монополия». «Недалеко еси от царствия небесного, ты смешал христианство с коммунизмом», — говорит ему один, здесь не названный, очевидно сам автор. Но именно автор как раз и повинен в этом смешении. Мысль Федора Федоровича о том, что в будущем обществе «всё будет любовь и согласие, все будут отцы и матери», войдет потом без изменения в «исповедь» атеиста Версилова, несколько позднее в «Сон смешного человека»: она же явно звучит и в поучении старца Зосимы (8, 510—520; 9, 391—405).

Мы указывали здесь на параллель с «Братьями Карамазовыми» не только по сходному потоку идей. Эти три центральных героя — будущий Версильов, Федор Федорович и Подросток — предстали только что воображению художника как члены одной семьи, как *братья*: в единой семейной основе, их связывающей, намечается уже сейчас нечто от «карамазовщины». Так, в черновиках старший брат, в будущем Версильов, часто говорит о «подлой своей живучести» как о главной черте своего характера; она же подчеркивается, как основная, и в

Подростке, вплоть до окончательного текста, где про него сказано, что ему и «трех жизней мало», и в этом он — повторение Версилова. Мы уже знаем, что Федор Федорович в дальнейшем развитии сюжета исчезает; и трудно себе представить, как могла бы в нем сказаться эта основа. Но влюблен в жизнь, и на закате своих дней, его будущий эквивалент, старец Долгорукий: «расти травка, расти божие дитя». И в Алексее Карамазове (в первоначальных записях он, как и Федор Федорович, тоже назван «идиотом») «карамазовщина» проявляется в форме уже одухотворенной, лишенная своей земной страстности.

Что образы будущих Карамазовых носились перед Достоевским уже теперь, когда сюжет «Подростка» далеко еще не установился, свидетельствует одна неожиданная, казалось бы, запись на полях, точно датируемая 13 сентября 1874 года:

«Драма. В Тобольске, лет двадцать назад, в роде истории Ильского.¹ Два брата, старый отец, у одного невеста, в которую тайно и завистливо влюблен 2-й брат. Но она любит старшего. Но старший, молодой прапорщик, кутит и дурит, ссорится с отцом. Отец исчезает. Несколько дней ни слуху ни духу. Братья говорят о наследстве и вдруг власти: вырывают из подполья тело. Улики на старшего (младший не живет вместе). Старшего отдают под суд и осуждают на каторгу. (NB. Ссорился с отцом, похвалялся наследством покойной матери и прочая дурь. Когда он вошел в комнату и даже невеста от него отстранилась, он, пьяненький, сказал: неужели и ты веришь? Улики подделаны младшим превосходно.) Публика не знает наверно, кто убил.

Сцена в каторге. Его хотят убить. Начальство. Он не выдает. Каторжные клянутся ему братством. Начальник попрекает, что отца убил.

Брат через 12 лет приезжает его видеть: сцена, где безмолвно понимают друг друга. С тех пор еще 7 лет, младший в чинах, в звании, но мучается, ипохондрик. Объявляет жене, что он убил. «Зачем ты сказал мне?»

¹ Невинно осужденный за отцеубийство, см. о нем «Записки из мертвого дома». Ф. М. Достоевский, т. III, стр. 650—651. См. также статью Б. Г. Реизова «К истории замысла «Братьев Карамазовых». — Сб. «Звенья», т. VI, 1936, стр. 545—573.

Он идет к брату. Прибегает и жена. Жена на коленях у каторжного просит молчать, спасти мужа. Каторжный говорит: «Я привык». Мирятся. «Ты и без того наказан», говорит старший.

День рождения младшего. Гости в сборе. Выходит. Я убил. Думают, что удар. Конец: тот возвращен, этот на пересыльном. Его отсылают. (Клеветник.) Младший просит старшего быть отцом его детей.

«На правый путь ступил».

Слились здесь воедино основная фабула «Карамазовых» с фабулой вставного в них эпизода — «Таинственный посетитель».

А. Г. Достоевская пишет в своих «Воспоминаниях», что Федор Михайлович думал уже над продолжением «Карамазовых»¹: те же действующие лица, но через двадцать лет, когда они успели бы многое сделать и многое испытать в своей жизни. Если бы имелись хоть некоторые черновые записи к задуманным уже последующим частям романа, мы, очень возможно, нашли бы в них тот же финал в судьбе Ивана и Дмитрия: Иван ведь не «тепл», как Ставрогин, а «горяч или холоден», «дурное равновесие между добром и злом» ему чуждо, он мог бы, по замыслу автора, скорее всего даже *должен* бы «ступить на правый путь», совершив акт раскаяния, найти искупление в страданиях. Но дело не в финале. Важно именно то, что три брата в первоначальных набросках к «Подростку» и самый первый замысел «Братьев Карамазовых» связаны между собой единым моментом зарождения и единой семейной основой. Это звенья одной цепи, движение в пределах той же сложной и единой системы образов, которая объединяет все творчество Достоевского второго периода.

В «обществе, химически разлагающемся», где все врозь, «даже дети врозь», должны действовать братья здесь, в «Подростке»; в таком же обществе действуют братья и в «Карамазовых». На срединном пути от Ставрогина к Ивану будет находиться — особенно это видно в черновиках — образ этого старшего атеиста, символизирующего собою «главную и видимую мысль романа, идею разложения». А функции среднего брата, «вся судьба которого уходит на детей», спасителя новейшего по-

¹ А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 267.

колениа — среди общего распада он один предвидит новые формы грядущего единства, — его функции переданы будут почти целиком Алексею Карамазову (в первых черновых набросках о нем).

Но та же линия ведет и назад. «Идиот», с его центральной фигурой, князем Мышкиным, к которому, как мы видели, непосредственно восходит образ идеального учителя Федора Федоровича, связан с «Преступлением и наказанием» по такой же антитезе: «Идиот» как ответ на идеи Раскольникова, как указание на того «положительно прекрасного человека», который исцелит общество от той же страшной болезни разложения.¹

Мир оказался осужденным на жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язвы: «Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими». Они переставали друг друга понимать, каждый думал, что в нем одном заключается истина: «убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе <...> начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало» (V, 570—571). Так представлялась Раскольникову в «Эпилоге» картина разлагающегося буржуазного общества, трагедия всего европейского человечества, заблудившегося, разрозненного в своей ни на минуту не прекращающейся борьбе — наций, классов и групп.

Где же спасение? И видится художнику его миссия: он обязан показать идеал в образе «положительно прекрасного человека», «одного из тех «чистых и избранных», которые «начнут новый род людей и новую жизнь», обновят и очистят землю. И вот: когда встал вопрос, по какому образу он должен быть создан, этот чистый и избранный, этот «обновитель земли», то ответ был: не в духе Дон-Кихота или Пиквика Диккенса, которые «прекрасны» единственно потому, что в то же время и «смешны», а по образу действительно «безмерно, бесконечно прекрасного лица» — Христа.²

Идиотом и открывается целая галерея этих положительных героев. Прообраз в романе скрытан, однако фон шестой главы первой части, где дан уже весь Мыш-

¹ Письма, т. I, стр. 12—28.

² Там же, т. II, стр. 71.

кин, явно носит следы евангельские: Мари согрешившая (Мари — «Мария Египетская»), пастухи, стада, которые она пасет, и невинные счастливые дети, а рядом с ними учителя (фарисеи). Идиот целует Мари поцелуем великой к ней жалости. И дети, только дети это понимают чистыми своими сердцами.

Но мечется в продолжение всего романа этот Христу подобный, идеальный герой, жалкий и смешной. Сфера его действий крайне узкая. Он проповедует заветные авторские идеи перед кучкой выродившейся аристократии, и его никто не понимает. С кем он ближе соприкасается, тот гибнет. Чутье художника одержало верх над проповедником: трагический финал романа особенно показателен. Князь Мышкин у трупа убитой — в сущности, по его же вине — Настасьи Филипповны заболевает уже окончательно идиотизмом, душа его никогда не просветлеет. Никто не услышал «голоса и слова» этого чистого и избранного, пришедшего к людям, чтобы спасти их. Это плод «усилия воображения», а не плоть и кровь русской действительности, отозвался потом об «Идиоте» сам автор. Другие положительные герои будут связаны, хотя несколько еретически, не с Христом уже, а с *историческим* христианством, еще ближе — с православной церковью: в «Бесах» — *архиерей* на спокое; в «Карамазовых» — старец Зосима в скиту с его послушником Алексеем. Хотя в этих образах «усилие воображения» в какой-то мере опирается уже на некий реальный быт, печать бесплодности всех устремлений князя Мышкина остается на них, поскольку они тоже вдали или в стороне от широкой, волнующейся жизни.

Только здесь — единственный раз — была сделана попытка дать образ «положительно прекрасного героя» в органической связи с «идеями века сего», героя, не с высоты «небесных идеалов» спускающегося к людям, а все время пребывающего среди них, болеющего их же вопросами. Судя по количеству первоначальных записей о Федоре Федоровиче, ему намечалась такая же центральная роль, как и у князя Мышкина. Судьба его должна бы быть тесно сплетена с судьбою старшего брата, скептика, «хищного типа». А Подросток колебался бы между ними обоими, его сердце было бы «полем битвы», на котором «борются добро со злом» и добро в конце побеждает.

«Разложение — главная видимая мысль романам — читали мы выше, и внимание снова сосредоточено на образе героя, эту идею воплощающего, — ни во что неверующем «хищном типе». Настало время определить его социальное положение.

Первое определение: «Он бывший помещик, проживающий выкупные» «Но, — прибавляется тут же, — это под сомнением, обдумать». Через несколько строк опять то же: «Он—праздный человек (прежний помещик, выкупные, заграница)». Через несколько страниц уже Другое: «Он — дурного рода, сын какого-то чиновника, но *высший* и *известный* человек по образованию. Он, может быть, стыдится того, что дурного рода, и страдает». И наконец последнее: «кандидат на судебные должности».

В окончательном тексте будут использованы все три мотива: «стыдится того, что дурного рода, и страдает», правда, не Он, а сын Его, Подросток. Он же остается праздным помещиком, шатается за границей, т. е. оторван от родной почвы; и в прошлом не «кандидат на судебные должности», а мировой посредник. Дальше начинается осложнение и развитие первоначальной схемы плана по линиям побочным, но все вокруг Него же. Измученная им идеальная жена — «вдова княгиня». Она может быть в кого-нибудь влюблена; Он вызывает ее возлюбленного на дуэль и хочет убить его на ее глазах. Снова появляется образ молодого князя, ее возлюбленного, будущего Сергея Сокольского. Его фамилия и здесь еще — Голицын. И с этой фамилией он долго еще будет странствовать по черновикам в роли соперника «хищного типа», пока не установится окончательно ситуация между всеми действующими лицами по принципу противопоставления народа с его правдой (семья Долгоруковых) — развращенным высшим слоям общества.

А рядом с молодым князем появляется впервые, пока еще очень вскользь, и старый князь, в будущем старик Сокольский; по другой версии он не князь, а граф. Главный герой, атеист, — управляющий всеми его делами и в какой-то связи с его женой. Опять чья-то пощечина Ему, но уже не от мальчика; скорее всего от молодого князя, судя по контексту: он переносит оскорбление и

этим пленил свою идеальную жену. В окончательном тексте почти та же ситуация (Лидия Ахмакова, молодой князь Сокольский и Версилов). И снова мотив проповеди *атеиста* «О Христе и о боге», в которого Он, однако, не верит. «Он проповедник христианства, и потому-то княгиня и бросила свой свет и всех и пошла за Него». Сопоставлены рядом: связь главного героя с женою старого князя, которая вскоре, в черновиках же, превратится в Его дочь, и огромное на нее влияние Его проповеди христианства. Это уже линия Катерины Николаевны Ахмаковой. Так намечены, в сущности, все нити сюжетные, поскольку они восходят к Нему, «хищному типу».

Утверждается еще и еще раз идеологическая Его основа. Его атеизм: Он в бога не верит, чувством его не постигает. Но в то же время «верит в великую мысль», которую, однако, никак нельзя «формулировать». Вытекает же у Него эта вера в великую мысль из чувства в себе бесконечной силы, которая проявляется «в Его живучести и уживчивости», как и у Ивана из «Братьев Карамазовых», тоже носителя какой-то «великой мысли» — сравните слова Дмитрия о нем: «Иван <...> таит идею» (10, 106—107). В этом же корень Его отличия от Ставрогина. Он любит жизнь, хотя и сознает, что любить жизнь таким, как Он, подло. «Я бесчестен до конца почти, — говорит Он о себе, — я могу чувствовать два противоположные чувства вместе... Мое имя — срамник и больше ничего». Но это отнюдь не воплощение дурного равновесия, не мертвенный холод застывшего в своем отрицании скептика. Ему, правда, говорит кто-то, что, если Он и носитель высшей идеи, то как «скептик без страдания». И Он с этим соглашается: «Мы до страдания не доросли, ибо страдания достойно только неразвращенное сердце. Молюсь о страдании». Но автор потом это страдание и дает Ему. Привязавшийся к Нему юноша (по-видимому, младший брат), будущий Подросток, говорит, что в каждой Его «выходке было столько страдания надорванного и прижитого, что я не мог отстать от Него или стать к Нему равнодушным». Дурное равновесие Ставрогина символизировалось в том, что перед ним преклонялся до конца только такой мелкий бес с хвостом «датской собаки», как Петр Верховенский. Другие, Шатов и Кириллов,

от него отпали: он проповедовал им свои идеи, но сам был к этим идеям равнодушен. Петр Верховенский и интерпретировал это преступное равнодушие. Здесь же от этого центрального героя исходят какие-то светлые лучи на «новейшее поколение», на третьего брата, на искателя правды, чистоты и «благообразия».

Глава IV. Генезис образа Подростка

1

До 11 июля работа шла преимущественно вокруг «хищного типа». Он должен быть главным героем, связующим центром всех событий. Образ его оказался поставленным уже достаточно твердо и в плоскости идеологической и психологической. 11 июля вдруг — поворот, крупным шрифтом запись:

«Герой не он, *а мальчик*».

И дальше:

«История мальчика, как он приехал, на кого наткнулся, куда его определили. Поводился к профессору ходить, бредит об университете и *идея нажиться*». Он же, то есть «хищный тип», «только *Аксессуар*, но какой зато *Аксессуар*» И тут же очень крупно: «Подросток». «Идея нажиться» — через несколько строк конкретнее: «Он приехал с идеей стать Ротшильдом».

Так выступает из неясности второй центральный герой, будущий Аркадий Долгорукий, которому дается сейчас же такая характеристика: «Молодой человек, оскорбленный, с жадой отомстить, колоссальность самолюбия, план Ротшильда (его тайна)». И вскоре, в связи с тем, что Подросток должен стать главным героем, дается роману такое заглавие:

«*Подросток. Исповедь великого грешника*», писанная «для себя». Исповедь для себя уже заранее определяет форму романа: «от Я», на которой, после долгих колебаний, взвешиваний всех «за» и «против», автор в конце концов остановится.

«*Великий грешник*» — так указан вторично самим Достоевским генезис образа Подростка. И из «Жития»

же его идея «Стать Ротшильдом». Первая запись в Плате к «Житию великого грешника» так и начинается: *«Накопление богатства»*. И дальше там же на эту тему целый ряд, записей, которые углубляют эту идею, обосновывают ее психологически. «Огромный замысел владычества <...> устанавливается все-таки на деньгах...» «Опасная и чрезвычайная мысль, что он будущий человек необыкновенный, охватила его еще с детства. Он беспрерывно думает об этом. Ум, хитрость, образование — все это он хочет приобрести как будущие средства к необыкновенности. Опять-таки *деньги* кажутся ему во всяком случае не лишними, везде пригодною силою, и он *останавливается на них* <...> Если он и не будет необыкновенным, а самый обыкновенный, то деньги дадут ему все, т. е. *власть и право презрения*».¹

Есть, однако, здесь с самого начала целый ряд не только оттенков, но и существенных отклонений в постановке образа и в обосновании его идеи о богатстве. Прежде всего, из множества детей, которые должны были действовать в «Житии», дитя, перенесенное сюда, уже не дитя, «уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком». Причем из самых разнообразных идей и поступков «грешника» выбран твердо только один «цикл идей о богатстве», и только в этой части образ Подростка сразу поставлен. Но самое главное — это конечная цель, к которой стремится будущий миллионщик. Снимается с идеи богатства обычно обволакивающая ее пошлость — и там, в «Житии», и здесь. Как «грешник», так и Подросток стремятся не к роскоши, не к наслаждениям: «будет носить дерюгу, не притронется к женщине». Но там, в «Житии», богатство, это «будущее средство к необыкновенности», связано с огромным его замыслом владычества, здесь же, в черновиках, рядом с «колоссальностью самолюбия» уже с самого начала вносится мотив оскорбленности, стремление к уединению и свободе, вызванное тяжелыми переживаниями детства. И вскоре эти последние причины, только они и будут играть главную роль в его стремлении к миллиону.

«Огромные глубины идеи, многое пережитое, чего и

¹ «Житие великого грешника». — «Записные тетради Ф. М. Достоевского», стр. 96—106. Курсив Достоевского.

предположить нельзя было, *чувства и мысли уже свои, уже выжитые*, что неожиданно для его лет» — вот что увидел Он, будущий Версильов, всегда столь проницательный, в этом «цикле идей, столь глупеньком, но страстном о Ротшильде». На большую нравственную высоту стремится автор поднять Подростка: миллион — это как бы его *демон*, сила какая-то посторонняя, но не *сущность* его.

И вот возникает вопрос: только ли с «Житием» связан образ Подростка в этом стремлении стать Ротшильдом? Не восходит ли он также к некоему реальному прототипу? «Чтобы написать роман, — читали мы в одной из записей, — надо запастись прежде всего *одним* или *несколькими* сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно... Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое». Не из пережитого ли сердцем автора какого-то очень сильного впечатления он и появился, этот Подросток с его «демоном»?

Как огромное событие, указали мы в первой главе этой работы, в плоскости отнюдь не только личной, должен был воспринять Достоевский приглашение его Некрасовым в сотрудники «Отечественных записок», чтобы дать туда именно этот роман «Подросток».

Почти тридцать лет любви и ненависти, перемежающихся дружеских и вражеских отношений. То Некрасов еще в годы юности открывается ему «самой существенной и самой затаенной стороной своего духа» (XII, 347), и он один из самых близких, так же близок, как и Белинский. То исходят от него в эти же годы величайшие обиды и оскорбления. Так, пишет Достоевский в письме к брату от 26 ноября 1846 года, что с «Современником» он окончательно рассорился, они обвиняют его в крайнем честолюбии,¹ Некрасов печатает о нем резко отрицательные отзывы, вместе с Тургеневым сочиняет против него злые эпиграммы и т. д. и т. д.

В последнее время, перед тем как Достоевский был присужден к смертной казни, замененной каторжной тюрьмой в далекой Сибири, они уже не встречались. Казалось, разошлись навсегда врагами. Но на каторге, лежа на нарах рядом с убийцами и ворами и преда-

¹ См.: Письма, т. I, стр. 102—103.

ваясь горестным воспоминаниям о своей изменчивой, полной тревог литературной судьбе, он снова стал вдумываться в образы прошлого и вспомнил Некрасова во всей его сложности, таким же двойственным, как в первые годы знакомства, — то близким, то враждебно далеким.

И так же было по возвращении Достоевского из Сибири: «Встречаясь, они говорили иногда друг другу даже странные вещи, точно как будто в самом деле что-то продолжалось, начатое еще в юности». Открывается Достоевским журнал «Время» — Некрасов поддерживает его своими стихами; а вместе с Некрасовым и другие сотрудники «Современника»: Салтыков-Щедрин, Помяловский, Слепцов — вся демократическая фаланга. Но вскоре опять вспыхивает вражда; к середине шестидесятых годов, особенно начиная с «Эпохи», второго журнала Достоевского, она все более и более обостряется. В убеждениях уже полное расхождение. Политические взгляды Достоевского стали восприниматься передовыми слоями русского общества как явно реакционные. Poleмика между «Современником» и «Эпохой» принимает характер сугубо личный, по тону глубоко оскорбительный. Прекращаются всякие встречи. Последнее униженное обращение к Некрасову о помощи, — Некрасов отказывает.¹

Заграничный период, как уже было указано выше, в особенности его финал, на родине, редакторство в «Гражданине» — высшая точка этой вражды. В эти годы «Отечественные записки» — самый ненавистный для Достоевского журнал, а Некрасов, даже лучшее его стихотворение, даже «Влас», — сплошное «кривляние». С точки зрения Достоевского, который в борьбе и в гневе никогда не знал удержу и позволял себе приписывать своему противнику самые «ужасные» грехи, — именно восторжествовал в Некрасове «делец», победил в нем поэта, поэзию превратил он в «служанку»: «Решительно этот почтенный поэт наш ходит теперь в мундире», потому что «мундир-то ведь так красив, с шитьем, блестит... да и как выгоден! то есть теперь особенно выгоден!» (XII, 76).

Да, Некрасов — это символ. Идеи передовые, как уже было отмечено, демократические идеи «Отечествен-

¹ См.: Письма, т. I, стр. 312.

ных записок», твердит в это время Достоевский, вовсе не народные идеи. «Отечественные записки» презирают Россию; они ругают земство; все своеобразное, русское им ненавистно. И перепечатывались в «Гражданине», под редакцией Достоевского, гнуснейшие статьи из «Московских ведомостей» против эмигрантов, в частности против умершего уже Герцена и против Бакунина; помещались грубейшие пасквилы на революционную молодежь драматурга Кишенского, — не перейти, казалось бы, никогда этой пропасти, которая образовалась между ним, Достоевским, членом кружка князя Мещерского, Тertia Филиппова и Победоносцева, и «Отечественными записками» во главе с Некрасовым.

И вдруг — резкая перемена, этот неожиданный зов в сотрудники туда, где, как с горечью отмечает Анна Григорьевна, его бранили и Михайловский, и Елисеев, и Скабичевский, и особенно суровый Салтыков. И вскоре, в связи с этим сотрудничеством, в плане личном: «Некрасов хочет начать совсем дружеские отношения». Он везет его к Салтыкову, передает ему от Салтыкова поклоны, восторженно отзывается о начале романа; дает ему большие авансы и просит не торопиться, чтобы не портить. У Анны Григорьевны было несомненно гораздо больше фактов, чтобы писать в своих воспоминаниях о том, как «дорого было для сердца Достоевского это возобновление душевных отношений с другом его юности».

Каждый раз, когда Достоевский думает о Некрасове, он почти всегда воспроизводит все самые памятные факты из их отношений. Многие из них, быть может, вскоре померкнут. Но пока, в период созревания замысла «Подростка», они всецело владеют душой художника. Развертывается вся жизнь, и Некрасов — «так много значивший в ней». Вот они, сороковые годы: этот незабываемый на всю жизнь восторг Некрасова и близость с ним — в связи с «Бедными людьми»; молодость, «чем-то проникнутая и чего-то ожидавшая» (XII, 30); «Ревизор» и «Мертвые души» Гоголя в их толковании преимущественно со стороны их идейного смысла, в толковании именно Белинского, этого строгого «возвестителя истины», перед которым так благоговел юный Некрасов, благоговел и он сам, Достоевский. И дальше: недоразумения, разрыв. Петрашевцы. Каторга и стихотворения Некрасова, прочитанные в Сибири, как только

«добился наконец до права взять книгу в руки» (ХП, 347), Вскоре Некрасов передает через Плещеева горячие приветы, кается в своей вине.¹ И опять недоразумения. Еще более горькая обида с «Селом Степанчиковым». «Современник» повесть забраковал: «Достоевский вышел весь. Ему не написать ничего больше».² Но следует вторая встреча — по возвращении из Сибири. Вторая встреча — снова взлет: Некрасов, постигающий лучшие стороны его духа, в стихотворении «Несчастные» сам указывает Достоевскому, каким он, в сущности, всегда воспринимал его: и в годы молодости, и в пятидесятых годах; не отрекся от образа его, данного в идеальном Кроте, и в годы шестидесятые, несмотря на начавшуюся уже разницу в убеждениях.

Кто же он такой, этот «любимый и страстный поэт, страстный к страданию», поэт с «темными неудержимыми влечениями и порывами, с характером замкнутым, почти мнительным, осторожным, мало сообщительным» и в то же время способным в некие минуты на проявление самого глубокого чувства любви и благоговения перед истиной? В чем же сущность противоречивого его духа? Если Некрасов, как говорит Достоевский в его некрологе, так «много <...> занимал места» в его жизни во все эти тридцать лет «как поэт» (ХП, 347), то столько же места занимал он и как человек, как лицо; ибо «всякий, кто бы вы ни были, — читаем мы в некрологе же, — несомненно придете к заключению, чуть лишь размыслите, что <...> заговорив о Некрасове как о поэте, действительно никак нельзя миновать говорить о нем как и о лице, потому что в Некрасове поэт и гражданин — до того связаны, до того оба необъяснимы один без другого, и до того, взятые вместе, объясняют друг друга, что, заговорив о нем как о поэте, вы даже невольно переходите к гражданину <...> избежать этого не можете» (ХП, 356—357).

Именно в самом начале «последнего времени», сейчас же после приглашения в «Отечественные записки», пораженный внезапностью, неожиданностью этого столь

¹ См.: «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования». стр. 443—444.

² П. М. Ковалевский. Встречи на жизненном пути. — В кн.: Д. .В. - Григорович. Литературные воспоминания. Л., 1928. стр. 422.

знаменательного поворота, когда Некрасов снова захотел завязать старые «дружеские отношения», — именно тогда и должен был особенно пытаться Достоевский дать себе отчет: что же такое Некрасов *как человек, как личность*? В том самом номере «Дневника писателя», где собраны все указанные выше памятные моменты из его отношений с Некрасовым, Достоевский как раз и выделяет это «последнее время», когда опять стали видать друг друга в связи с печатанием «Подростка».

Некрасов как поэт и Некрасов как человек, как лицо. *Вечное* — и временное в нем, *общее, народное* — и частное. Нам, столь далеким от той эпохи, очень легко отделить это *временное, частное* от его поэзии, вдохновлявшей на революционную борьбу столько поколений. Ценим безмерно его величайшие заслуги перед родиной, перед народом, перед нашей литературой. Но для его современников это было задачей очень сложной, и именно потому, что был он слишком на виду. Политические враги подчеркивали малейшее проявление в нем обычной человеческой слабости. В чем только его не обвиняли: и в корысти, в том, что он способен охранять свои выгоды до нарушения справедливости, в душевной черствости, проявлявшейся в равнодушии к людям даже близким. В атмосфере лжи и клеветы протекала вся его жизнь. Злобные враги в яростной борьбе с его огромным влиянием на прогрессивно настроенное молодое поколение так и кричали: «Вот ваш печальник народный! Пишет о чердаках и подвалах, призывает других к революции, а сам живет по-барски». Мы знаем теперь, как прав был Чернышевский, когда в письме к Пыпину от 25 февраля 1878 года писал о Некрасове: «Он был честнее меня. Это буквально».¹ Слово «честнее», конечно, преувеличение, подсказанное чувством великой скорби по случаю его смерти. Но факты, которые Чернышевский приводит, явно опровергают все скверные вымыслы о нем его противников. Врагам Некрасов отвечал: «Пусть клеветуют язвительнее». К родине, к русскому народу обращался он за праведным судом:

Как человека забудь меня частного,
Но как поэта суди!

¹ Н. Г. Чернышевский. Собрание сочинений, т. XV. М., Госполитиздат, 1950, стр. 150.

За каплю крови, общую с народом,
Прости меня, о родина, прости!

Отвратительнее же всего был тот тон лицемерия, в котором писали о Некрасове в газетах и журналах, как только он умер. Его *простили*, его оправдывали! — точно он нуждался в их оправдании! Тон и возмутил Достоевского. У него было в его личной жизни достаточно поводов, чтобы думать о противоречивости Некрасова. И вот он хочет не простить, не оправдать, а разгадать ее тайну. Мы знаем: он и сейчас создает образ неверный. черты его деформирует до неузнаваемости. Но нас интересует здесь не личность Некрасова в биографической ее достоверности, а в *восприятии* ее Достоевским, поскольку она нужна для понимания одного из центральных его персонажей в романе «Подросток».

Некрасов молил родину: «Как поэта суди!» В речи, произнесенной на похоронах, у раскрытой могилы, с суда над ним как поэтом Достоевский и начал. Великим поэтом назвал он его, поставил его рядом с Пушкиным и Лермонтовым. Как и они, сказал он, Некрасов тоже пришел в нашу поэзию с «новым словом». Вот почему никто, даже такой огромный поэт, как Тютчев, «никогда не займет такого видного и памятного места в литературе нашей, какое бесспорно останется за Некрасовым».

И заключается оно, это «новое его слово», в том, что «печальник народного горя», так много и страстно говоривший о горе народном, всем существом своим преклонявшийся перед народной правдой, своей непосредственной силой любви к народу постиг «и силу его и ум его», уверовал и в будущее предназначение его (XII, 348— 356).

И именно потому, что Некрасов — великий поэт, народный поэт, всем столь близкий и всех столь сильно волновавший, Достоевский возмущен поведением прессы в связи со смертью и похоронами его, этими «намекami и соображениями» во всех газетах, во всех «без изъятия», «о какой-то «практичности» Некрасова, о каких-то недостатках его, пороках даже, о какой-то двойственности в том образе, который он нам оставил о себе». Газеты пускаются «оправдывать его». «Да в чем же вы оправдываете? <...> Нуждается ли еще он в оправданиях наших?» — ставится Достоевским вопрос в упор. Оправ-

дать — значит признать его вину, виноват ли он? Несколько лет тому назад, как мы видели, Достоевский сам был в лагере обвиняющих, обвинял, как враг, зло, грубо и жестоко. Но теперь он хочет только понять. Не «соображения», не «намеки», столь оскорбительные для памяти Некрасова. О нем как о личности надо говорить прямо, смело и открыто.

И вот концепция личности Некрасова так, как она рисовалась Достоевскому.

Уже в юности, когда они только что познакомились и сблизились, говорит Достоевский, он уловил в Некрасове «иные темные неудержимые влечения его духа, преследовавшие его всю жизнь»; «темные порывы духа сказывались уже и тогда». И связаны они с его детством: «Это именно, как мне разом почувствовалось тогда, было раненное в самом начале жизни сердце», и рана эта никогда не заживала... «Он говорил мне тогда со слезами о своем детстве, о безобразной жизни <...> о своей матери»-мученице. Член случайного семейства, «оставленный единственно, на свои силы и разумение», с темными порывами, с раненым в самом начале жизни сердцем,— таким приходит к людям Некрасов. Это из некролога (XII, 347).

И теперь как объясняет Достоевский образ Аркадия из «Подростка»:

«Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшной возможностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность и случайность свою и тою широкостью, с которой целомудренная душа уже допускает сознательно порок в свои мысли, уже лелеет его в сердце своем, любит им еще в стыдливых, но уже дерзких и бурных мечтах своих, — все это, оставленное единственно на свои силы и на свое разумение». Все это выкидыши общества, «случайные» члены «случайных» семей.

Осенью, в конце августа, появляются впервые в Петербурге эти «случайные» члены «случайного» семейства: юный Некрасов и юный Подросток, Аркадий Долгорукий, чтобы скорее «ступить свой первый шаг». И оба они, как представляет себе Достоевский, одержимы одним и тем же демоном: *«ранней ненавистью за ничтожность и случайность свою»*, той же *«идеей отгородиться от людей, стать независимыми»* при помощи единственного средства — богатства.

Приводится в некрологе одно из самых ранних стихотворений Некрасова:

Огни зажигались Вечерние,
Выл ветер и дождик мочил,
Когда из Полтавской губернии
Я в город столичный входил.
В руках была палка предлинная,
Котомка пустая на ней,
На плечах шубенка овчинная,
В кармане пятнадцать грошей.
Ни денег, ни званья, ни племени,
Мал ростом, по виду смешон.
Да сорок лет минуло времени,—
В кармане моем миллион.

Вот где суть «мрачной и мучительной *половины* жизни нашего поэта», предсказанная «им же самим, еще на заре дней его, в одном из самых первоначальных его стихотворений, набросанных кажется, — считает нужным добавить Достоевский, — еще до знакомства с Белинским».

«Миллион — вот демон Некрасова», присосавшийся еще к сердцу ребенка, очутившегося на петербургской мостовой. Здесь прежде всего чувство гордости: «Робкая и гордая молодая душа была поражена и уязвлена, покровителей искать не хотела, войти в соглашение с этой чуждой толпой людей не желала». И еще раз повторяется Достоевским мысль, углубляется и расширяется: это был «демон гордости, *жажды самообеспечения*, потребности оградиться от людей твердой стеной и независимо, спокойно смотреть на их злость, на их угрозы» (XII, 358—359).

И дальше: «Это была жажда мрачного, угрюмого, отъединенного самообеспечения, чтобы уже не зависеть ни от кого. Я думаю, что я не ошибаюсь, я *припоминаю кое-что из самого первого моего знакомства с ним*. По крайней мере мне так казалось всю потом *жизнь*». Жажда мрачного угрюмого отъединения, потребность оградиться от людей твердой стеной — *так ответила на жизнь робкая и гордая молодая душа, пораженная и уязвленная детством своим и бесприютной своей юностью*. «Не то чтобы неверие в людей закралось в сердце его так рано, но скорее скептическое и слишком раннее <...> чувство к ним. Пусть они не злы, пусть они

не так страшны, как об них говорят <...> но они, все, все-таки слабая и робкая дрянь, а потому и без злости погубят, чуть лишь дойдет до их интереса». Вот тогда-то именно, в самые ранние годы юности, и начались мечтания Некрасова, тогда же, на улице, может быть, и сложились стихи: «В кармане моем миллион».

А идея Подростка: «Моя идея это — стать Ротшильдом, стать так же богатым, как Ротшильд. Для чего, зачем, какие я именно преследую цели <...> Пусть знают, что ровно никакого-таки чувства «мести» нет в целях моей «идеи», ничего Байроновского — ни проклятия, ни жалоб сиротства, ни слез незаконнорожденности, ничего, ничего».

И дальше Подросток продолжает совершенно по молодому Некрасову, разумеется в интерпретации Достоевского: «Вся цель моей «идеи» — *уединение*, твердой стеной отгородиться и спокойно смотреть на их злость, на их угрозы»... «Не мечь и не право протеста явилось началом моей «идеи»... Ведь люди вовсе не так злы и не так страшны, а только «слабая и робкая дрянь»... «С 12 лет, я думаю <...> я стал не любить людей. Не то, что не любить, а как-то стали они мне тяжелы. Я естественно искал уединения. К тому же я не находил ничего в обществе людей, как ни старался <...> Все мои товарищи, все до одного, оказывались ниже меня мыслями; я не помню ни единого исключения» (8, 86—95).

Или еще так: «Из трех родов подлецов на свете, просто подлецов, чистокровных подлецов, действительно злых и страшных мало»; большинство же именно «слабая и робкая дрянь», погубят без злости, чуть дойдет до их интереса, — это «или подлецы наивные, т.е. убежденные, что их подлость есть высочайшее благородство, или подлецы стыдящиеся, т.е. стыдящиеся собственной подлости, но при непременном намерении все-таки ее докончить».

И следующие черты Некрасова: *угрюмость* и *скрытность*. Подросток говорит о себе: «Я сумрачен. Я непрерывно закрываюсь. <...> Я не вижу ни малейшей причины им делать добро, и совсем они не так прекрасны, чтобы о них так заботиться». Робкая и гордая молодая душа сознается: «Я, может быть, в тысячу раз больше люблю человечество, чем вы все, вместе взятые, и может быть, и буду делать добро людям, но мне нужно

прежде всего *свободы и независимости* от этих слабых, которые и без злости погубят, чуть-чуть дойдет до их интереса». Деньги — единственный путь к уединению, к этой свободе (8, 97—100).

В некрологе сказано про Некрасова: Но этот демон — «в кармане моем миллион» — идея отъединенного самообеспечения, чтобы оградиться от людей, спокойно смотреть на их злость, на угрозы, — *все же был низкий демон*. «Золото — грубость, насилие, деспотизм! Золото может казаться обеспечением именно той слабой и робкой толпе, которую Некрасов сам презирал. Неужели *картины насилия и потом жажда сластолюбия и разврата* могли ужиться в таком сердце?»

Этот же риторический вопрос ставит себе и Подросток: «Вы думаете, желал тогда могущества, чтоб непременно давить, мстить?» И отвечает: «в том-то и дело, что так непременно поступила бы ординарность. Мало того, я уверен, что тысячи талантов и умников, столь возвышающихся, если б вдруг навалить на них ротшильдские миллионы, тут же не выдержали бы и поступили бы как самая пошлая ординарность и давили бы пуще всех. Моя идея не там <...> Мне не деньги нужны <...> мне нужно <...> уединенное и спокойное сознание силы! <...> Свобода!» И такой же ответ на второй пункт — «жажду сластолюбия и разврата»: «Я знаю, что у меня может быть обед как ни у кого, и первый в свете повар, с меня довольно, что я это знаю. Я съем кусок хлеба и ветчины и буду сыт моим сознанием <...> Не я буду гоняться за женщинами, а они набегут, как вода, предлагая мне все, что может предложить женщина <...> Я буду ласков <...> может быть, дам им денег, но сам от них ничего не возьму».

Вариация на тему некрасовского демона контаминируется с демоном «Скупого рыцаря», бытовое оформляется в романтику: «Я еще в детстве выучил наизусть монолог Скупого рыцаря у Пушкина; выше этого, по идее, Пушкин ничего не производил!» (8, 100) «С меня довольно сего сознания» — вот чистый идеал «уединения от злой и робкой толпы, который вынесла в своих мечтах гордая молодая душа, угрюмая, одинокая, пораженная и уязвленная еще в детстве» (XII, 356—360).

В некрологе: «Неужели картины насилия и потом

жажда сластолюбия и разврата могли ужиться в таком сердце, в сердце человека, который сам мог бы воззвать к иному: «брось все, возьми посох свой и иди за мной» <...> Но демон осилил, и человек остался на месте и никуда не пошел».

Подросток в мечтах своих осиливает своего демона, берет посох свой и уходит, и бросает обществу, «этой слабой и робкой дрянью», всё. Всё — не половину, «потому, что тогда бы вышла одна пошлость»: он стал бы тогда вдвое беднее, и больше ничего, — но именно все, все до копейки, потому что, «став нищим, я вдруг стал бы вдвое богаче Ротшильда!» (5, 101).

Но было у Некрасова, говорится дальше в некрологе, немало таких подавляющих фактов из текущей действительности, перед которыми слабели власть демона и проявлялась «гуманность», нежность этой «практичной» души. «Г. Суворин уже публиковал нечто, я уверен, что обнаружится много и еще добрых свидетельств, не может быть иначе» (XII, 359). Значит, «в кармане моем миллион» — это только некая мера самозащиты, жизненный принцип, как бы вовсе не вытекающий из основ его души, а навязанный, точно извне, окружающей действительностью.

А в «Подростке» иллюстрируется то же самое вставным эпизодом о девочке Риночке, на которую потрачено было больше половины капитала, скопленного для начала. И вывод такой: «Из истории с Риночкой выходило <...> что никакая «идея» не в силах увлечь (по крайней мере меня) до того, чтоб я не остановился вдруг перед каким-нибудь подавляющим фактом и не пожертвовал ему разом всем тем, что уже годами труда сделал для «идеи» (8, 107).

Я перебрал все черты *психологического* портрета Некрасова, так, как он дан в некрологе, и те черты портрета Подростка, какими он нарисован в пятой главе первой части романа, там, где Подросток рассказывает о своей «идее», и нахожу между ними известное совпадение.

Да, Некрасов для Достоевского мог быть фигурой в высшей степени Символической, самым полным, самым совершенным воплощением характера и стремлений новых людей, этих «случайных членов случайных семей, предоставленных всецело на свои собственные силы». Конечно, Некрасов, в том виде, в каком он дан в некро-

логе, нарисован слишком субъективно, краски крайне сгущены, черты деформированы до неузнаваемости. Но для нас важен здесь не доподлинный Некрасов, а такой, *каким* именно воспринимал его Достоевский, тоже «в высшей степени член случайного семейства», сын заурядного лекаря и внук священника. И себя мог видеть он в нем; подобно Некрасову и Подростку, тоже ведь мечтал в молодые годы о богатстве и независимости, тоже был одержим не меньше, чем они, их же демоном. Да и начал свой жизненный путь, как Некрасов, тоже «литературным пролетарием», с той же готовностью заниматься чем угодно: переводами, изданием сборников, газетной работой, корректурой — решительно всем, что только может принести какой-либо доход. И потом, всю жизнь пытался делать то же самое, что Некрасов, делал в размерах гораздо меньших, выходило обыкновенно неудачно. И соответственно, наверно, рисовались ему тогда в воображении некрасовские успехи: вот в ком, в чьей судьбе, в чьем материальном положении нашла полное свое осуществление его же, Достоевского, собственная мечта, его же демон.

Повторяем: только с этой стороны нас здесь и интересует личность Некрасова в восприятии Достоевского, только поэтому мы и остановились на его некрологе, в той его части, где Достоевский «судит» Некрасова не как поэта, а «как *человека частного*».

Великий поэт, народный поэт — «страстный к страданию народа» и к «народной правде», — такой Некрасов нам дорог и ценен. Таким, как мы видели, считал его и Достоевский.

2

Подросток дан пока только в уединенности своих мечтаний о богатстве, почти еще вне всякого участия в сюжете. «Подростку побольше роли», — последует вскоре авторская заметка. И начинается снова плетение фабулы, но — замечательно — уже без идеального атеиста, без Федора Федоровича: идеи его, как увидим дальше, частью перейдут и к Версилкову, но уже в несколько иной эмоциональной окраске, частью, вместе с чертами характера, — к Васину, члену кружка долгошинцев. Опять появляется старый князь, однажды упомянутый лишь

вскользь, будущий старший Сокольский, и рядом с ним князь молодой, но уже не старинного рода — Голицын, а какой-то захудалый «князек», очевидно будущий Сергей Сокольский. Старинная княжеская фамилия останется: вместо Голицына — Долгорукий, но дана она будет страннику Макару, крестьянину, носителю идеи «благообразия» — *«аристократу духа»*, а не «плоти». Мысль приблизительно та же, что у Льва Толстого: дворянин тот, кто, работая на земле, живет «по-божески». В окончательном тексте, как и в черновиках, эта мысль иллюстрируется тем, что старец Макар гордится своей княжеской фамилией, *достоин* носить ее. А Подросток, которому дано постичь «благообразие» старца лишь в конце романа — а пока он знает преимущественно «падения», «низости», — Подросток стыдится фамилии своей, намеренно подчеркивает низкое свое происхождение.

«Князек», а не князь: ему надо дать роль пошловатого фата, умственно и морально крайне ограниченного. Сюжетная связь его с центральными героями в этот момент обнаженно вульгарная, почти бульварного характера. Идет на первых порах еще прежняя линия: у старого князя молодая жена. У нее какие-то таинственные сношения с «хищным типом», но в то же время она еще влюблена в молодого князя, которому, по одной версии, отдалась мачеха, жена «хищного типа», по другой — его падчерица Лиза. И дальше, чтобы ввести Подростка и рядом с ним Ламберта — как символ «неодухотворенной материи», нравственной низости, — фабула так осложняется: в канцелярии старого князя служит Подросток; ему попало в руки какое-то письмо княгини, очевидно любовное, к молодому князю. Ламберт узнает об этом письме и хочет шантажировать княгиню; с ним соединяется не то сам «хищный тип», не то Подросток; оба хотят ее погубить: «хищный тип» — за то, что она его чем-то оскорбила, или из чувства ревности; Подросток — под влиянием своей идеи о богатстве — чтобы разделить с Ламбертом те 30000, которые она должна дать за найденное письмо. Но может быть еще и такой мотив: Подросток зол на нее за брата, хотя сам втайне, в грешных мечтах своих, уже пылает к ней неодолимой страстью.

Художник, очевидно, не боится этой бульварщины:

в свое время будут найдены средства к ее смягчению. А главное, каждое из действующих лиц будет настолько полно идейного смысла, что грубость сюжетной ткани сама собой перестанет ощущаться. В окончательной редакции, где использованы почти все эти мотивы, так оно и получается.

Внимание на время сосредоточивается на второстепенных персонажах, и прежде всего на образе старого князя, восходящего к образу, однажды уже выявленному в ранний период творчества Достоевского, в «Дядюшкином сне». Князь уже здесь сразу обрисован близко к печатному тексту с его основной смысловой функцией: пародировать всю сложность идеологических исканий «хищного типа». Это тот же прием контраста, который начинается уже в «Двойнике» (Голядкин-старший и Голядкин-младший), ясно виден в «Преступлении и наказании» (Раскольников и Лужин), в «Карамазовых» (Иван и Смердяков или Иван и черт),—старый романтический прием: глубина трагедийная воспринимается тем острее от сопоставления с плоским и пошлым самодовольством, если образы показаны на аналогичной психической или идейной основе. Уже здесь сказано, что старый князь несколько времени тому назад болел разжижением мозга, с тех пор он стал легкомыслен и остроумен, любит «бонмо». И вот он смеется над тем, что «хищный тип» так беспокоится о будущем земли: «Пусть летают их ледяные камни, его-то ведь не будет». Он «наслышался атеистов и стал атеистом» — издевается над «разлитым духом»: «Ну что же это, вода, что ли, такая?» и т.д.

Начинает сейчас несколько конкретизироваться и образ мачехи, жены «хищного типа». Образ становится глубже, идейнее: она все более и более приближается к образу матери Подростка в окончательном тексте: любит всех из сострадания, «вечная мать», «вечная жертвочка». Очевидно, ее-то идеальная сущность и обусловила здесь первоначальную попытку художника (от которой он сейчас же и откажется) представить «молодого князька» в таком свете: «молодой князек» — ее возлюбленный — не обыкновенный тип, а «простодушнейший и прелестно-обаятельный характер». Это был бы контраст томительной сложности противоречивой души «хищного типа». И в этом бы заключалась его притяга-

тельная сила. Задача должна была казаться тем более осуществимой, что в художественном прошлом Достоевского такой опыт уже был: в «Униженных и оскорбленных» возлюбленный Наташи Алеша Валковский, противостоящий угрюмой сложности Ивана Петровича. Но попытка эта показалась автору с самого начала сомнительной. «Победить эту трудность», — следует тут же авторская заметка. «Трудность» очень скоро представится непобедимой, и начнется работа над образом «князька» в сторону, совершенно противоположную тому, как он дан в окончательном тексте: вместо простодушная тупая ограниченность, характер не «прелестно-обаятельный», а мучительно-тяжелый. Но пока внимание сосредоточено не на нем.

Здесь нужно особенно отметить следующую запись: «Может быть, Лизу совсем не надо», то есть не надо в той роли, в которой она до сих пор появлялась: тринадцатилетней девочкой, соблазненной своим отчимом, «хищным типом». «Тогда ей 24 года и она с князем» — как и в окончательной редакции.

Запись эта о Лизе пока одинокая. Через несколько страниц мы снова будем иметь старую ситуацию в отношениях между нею и «хищным типом». Несмотря на всю сложность идеологических исканий «хищного типа» переданных ему из поэмы «Атеизм», родство его, в плане сюжетном, с образом Ставрогина еще долго будет владеть художественным воображением автора, и в такой же мере — и тема ставрогинской «Исповеди». Но это момент все же какой-то поворотный: впервые заколебалась основа этой старой неиспользованной темы, и мысль получает некую свободу для новых сюжетных комбинаций. Продолжает в дальнейшем колебаться прежде всего возраст Лизы: временами она, как и Подросток, тоже «уже не дитя», а «появляется лишь неготовым человеком».

Возможен еще такой вариант: сюжетно, поскольку намечается ослабление ее связи с «хищным типом», не усилить ли ее связь с другим центральным героем, с Подростком? Лиза не то ненавидит Подростка, «дерется с ним», не то влюбляет его в себя и сама в него влюбляется, не то только играет с ним. По старой ситуации, в пределах темы ставрогинской «Исповеди», она для «хищного типа» — его «красный паучок», символ его раскаяния, его душевного переворота. В этом и смысл

ее роли. Теперь она может сыграть подобную роль в жизни Подростка. Перед самоубийством — держится все еще версия, что Лиза повесилась, — она оставляет письмо Подростку, в котором его одного «выбирает в исполнители своей последней воли». Это и послужило причиной нравственного его возрождения. «Значит, я способен на хорошее, если она одного меня выбрала в исполнители своей воли», — думает он.

А падал Подросток под влиянием «хищного типа», который пока все еще приходится ему братом. По одной версии, более ранней, старший брат «намеренно развращает его, тонко льстит ему, чтобы сбить с толку и насмешливо погубить гордостью»; по другой — когда связь Его с образом Ставрогина еще более слабеет и еще явственнее выделяются черты, восходящие к старому замыслу «Атеизма», — Его вина, как и в окончательном тексте, только косвенная: в поисках «благообразия» Подросток не находит в Нем опоры. Он видит перед собою человека великой мысли, раздираемого внутренними противоречиями и в колебаниях своих глубоко страдающего, но без тех нравственных устоев, которые дает одна только вера — безразлично, в бога или в будущее «хрустальное царство без богов и храмов», лишь бы человек был проникнут этой верой до конца. Так опять и опять звучит как лейтмотив тема — борьба христианства с атеизмом, потеря веры и жажда этой веры. Символ «рубит образа» повторяется все чаще и чаще: «Проповедуя из всех сил христианство, свободу и будущую жизнь, Он, оказывается, сам ничему не веровал и был глубоким атеистом в душе, всегда с *изначала* жизни, тем и мучился».

Но там, где атеизм, для человека высоких помыслов неминуем и вопрос о будущей социальной революции. Если нет бога, то человечество должно перестроить свою жизнь на свой страх и риск, на началах разума. Тема революции начинает принимать уже новый характер. Раньше, когда по первоначальному плану еще мыслился в качестве одного из главных героев идеальный Федор Федорович, «уверовавший в смысл коммунизма», все эти «мировые вопросы» о боге и революции четко раздваивались между ним и будущим Версиловым так, что Федор Федорович принимал социализм полностью, радостно ожидал его прихода, оправдывая все средства борьбы

за него, а Он, «хищный тип», свысока спорил с ним, со злорадством сбивал его в аргументах. Теперь же, с исчезновением Федора Федоровича, тема революции переходит уже к его антиподу, включается в сферу Его собственных мыслей и переживаний— революция близкая и тревожная, как судьба, которая неминуемо ожидает человечество. Революция обязательно кончится победой четвертого сословия: «Уже прелюдию видели», — разумеется, конечно. Парижская коммуна. «Вам... — говорит Он Подростку,— надо готовиться, ибо вы будете участниками: время близко при дверях, и именно когда, кажется, так крепко (миллионные армии, разрывные бомбы)».

«Миллионные армии, разрывные бомбы» — ничто не поможет удержаться старому строю. Это уже язык не отвлеченно-теоретический, а язык реальной действительности в ее острой классовой борьбе.

Еще один шаг — и тема «социализма» появится в романе так, как она мыслилась и ставилась в условиях русской общественной жизни того времени.

3

Приблизительно *около середины июля* устанавливается тот остов плана, о котором была речь в предыдущей главе, и таким он остается до конца месяца, вносятся лишь кое-какие мелкие детали в пределах его основы. Под первым августа мы имеем вдруг такую запись:

«1-е августа. *Идея*. Не отец ли Он современный, а Подросток сын Его». Под записью в скобках: «Обдумать». Одновременно с этим намечаются уже кое-какие композиционные принципы: «жестокий Его <хищного типа> разрыв и ссору с князем и княгиней обрисовать *в начале* романа: именно Он возвращает имение *в середине* романа, вдруг, совсем неожиданно». И дальше: «Если Он отец, то... выписан Подросток, и без того самовольно вышедший из Московского университета». Это всё ступени, приближающие нас к окончательному сюжету.

В этом же направлении и некоторые конкретные мотивы из поведения Подростка в Петербурге: «Ходит по

менялам, по Толкучему... обнюхивает, скупится, видится с Витей и обходит всех *своих*... но на проекты их (Америка, подметные грамоты) смотрит свысока, как имеющий свою идею; и ему говорят, что он изменился, изменил прежним убеждениям».

Через несколько строк ниже: «Товарищи Подростка меж тем попадают». Так вводится новая тема: связь Подростка с какими-то революционерами. Это и есть тот шаг, о котором мы говорили выше, — тема «социализма»; она ставилась недавно в плоскости *отвлеченной*, лишь как некий элемент в мировоззрении будущего Версилова, теперь же она соединяется с *практикой* русской действительности и начинает звучать сильнее и гораздо острее.

Шире кажется вся идея романа. «Идея, — выделяет автор крупным почерком. — Отцы и дети — дети и отцы». «Ибо, — следует дальше пояснение, — сын, намеревающийся быть Ротшильдом, — в сущности *идеалист*, — т. е. новое явление как неожиданное следствие нигилизма». Социализму, уничтожению частной собственности, устройству на земле без бога — путем подчинения личных интересов интересам коллектива — противостоит идея Подростка: идея свободы и уединения, идея архииндивидуалистическая.

«Уничтожение собственности особенно поражает его, первый даже разговор с Витей в этом смысле». Затем следует такая заметка: «Витя ничего не может объяснить ему и сводит с кем-то, вроде Долгушина, толкующих о нормальном человеке (их потом арестуют)». Он, то есть Подросток, не соглашается с социализмом — «противоестественно». Идеи — это область Его, будущего Версилова. Подросток к нему и обращается. Тот доказывает «ненатуральность социализма», и «Подросток смеется от удовольствия». Но версильовская широкость сейчас же сказывается: «заметив это, Он тотчас же сбивает Подростка величиною идеи социализма. Подросток некоторое время даже увлечен».

Долгушин, долгушинцы, к которым принадлежат и Васин, и Крафт — будущий Версильов всех их называет «монахами, идеалистами», — встречаются очень часто в черновых записях первой тетради. Очевидно, первоначально они должны были играть в романе роль весьма активную. Имеется несколько записей о том, что вместе

с ними арестуется и Подросток. Идейные столкновения Васина с будущим Версиловым происходят непосредственно. Васин знает что-то об Его революционном прошлом. Попадают, как увидим дальше, намеки на Его личные связи с Герценом.

И вот тема «отцы и дети» получает уже какой-то новый смысл, — это как бы два поколения революционеров. Дети, долгушинцы, «идут в народ и верят в ближайшую осуществимость мировой социалистической революции». Замечательно, что в некоторых дальнейших записях будущий Версилов, как уже было выше отмечено, будет посылать в народ и Подростка. Необязательно даже верить, что «революция уже теперь к чему-нибудь у нас послужит». Васин, идеальный «нигилист», по первому варианту воспринявший по наследству от идеального учителя, Федора Федоровича, не одно только его «спокойствие и холодность», Васин, как говорит про него автор, «образец и разума, и логики, и сердца», тоже не верит в немедленную осуществимость революции. Если ориентироваться на революционное движение той эпохи, то Васин последователь не Бакунина, а Лаврова, он не верит и все же считает, что надо заниматься революцией, «так как иначе заниматься нечем; выгоды прямой — никакой, разве та, что идея поддерживается, примеры указываются и получается непрерывный опыт для будущих революционеров. Это уж одно стоит того, чтоб не покидать идею; разом ничего не делается».

Когда же Подросток пробует возражать, что «можно просто быть гражданином, желая добра, заняться наукой, учить, способствовать санитарной части» (последнее звучит уже по адресу либералов — несколько пародийно), то Васин на это отвечает весьма убедительной аналогией современного общественного строя с чрезвычайно большой, из стали, чугуна, дерева, машиной, в которой всякая в ней часть связана с другой, не сложными спаями или винтами, а клейстером или сахарными веревочками, всего, стало быть, на одну секунду: ветер дунет и все рассыплется. Можно ли в таком случае взять на себя какую-нибудь работу при машине, когда знаешь «несомненно, что все через секунду рассыплется? где рвенья найти? Разве для того, чтоб деньги брать. Нет, уж лучше работать, чтоб машина поскорей рассыпалась, а там уж свою завести покрепче». По-

казательно, что на это никто Васину прямо не возражает, даже Он, будущий Версилов.

Правда, в одном месте будущий Версилов пытается отвести Подростка от идеи социализма как от идеи временной, второстепенной, но, по существу, вовсе ее не отрицает. Он говорит Подростку: «Я буду знать все открытия точных наук и через них приобрету бездну комфортных вещей, теперь сижу на драпе, а тогда все будем сидеть на бархате, ну и что же из этого? Все остается вопрос: что же тогда делать? При всем этом комфорте и бархате для чего собственно жить, какая цель? Человечество возжаждет великой идеи. — Я согласен, что накормить и распределить права на корм человечеству в данный момент есть тоже великая идея, ибо задача. Но идея второстепенная и подчиненная, потому что после корма человек непременно спросит, для чего мне жить».

В чем состоит эта великая идея, *главная*, не подчиненная, а подчиняющая, — не указано. Но ясно само собой из всей концепции противоречивого образа Версилова, что она какой-то стороной восходит к искомой им вере в бога. А аналогия русского государства или буржуазного общества в целом с рассыпающейся машиной, склеенной клейстером, остается неопровергнутой.

Замечательно, что рядом с автором этой аналогии, с Васиным, Достоевский втягивает в кружок долгушинцев еще одного революционера. О нем такая запись: «Между молодым поколением не забыть лицо молодого человека, богатого помещика, учившегося в рабочих у немца на фабрике, на техническом заводе. (Настойчивость.)» Источник, откуда взят этот революционер, здесь же указан: «Гражданин, 19 августа, Письма А—дра» (Порецкого). Порецкий, путешествовавший летом 1874 года по югу России, так рассказывает об этом молодом человеке: «В известной колонии Хортице, в Александровском уезде, есть фабрика земледельческих орудий. Когда я в последний раз был там, вечером, вижу, на двор фабрики въезжает щегольской тарантас, запряженный тройкой превосходных лошадей. — Что за экипаж? — спрашиваю хозяина. — Это за одним из моих рабочих. — Как? за рабочим? — Один соседний помещик, богатый помещик, молодой человек, захотел быть у меня рабочим. — Что же это? От нечего делать поиг-

рать молотом для собственного увеселения? — О, нет! — воскликнул мой хозяин с некоторой торжественностью. — Отличный работник! Он, конечно, не берет платы, а пожелай, я бы положил ему по меньшей мере 20 рублей в месяц. Вот он сейчас переоденется и выйдет, вы его увидите. — Действительно через четверть часа показался прилично одетый и очень видный молодой человек, сел в тарантас и покатил со двора».

Недалекий Порецкий с изумлением добавляет: «Так вот какие у нас заводские работники!» Но смысл и цель ясны, зачем Достоевский втягивает в кружок революционеров «лицо этого молодого человека». Это особенная, совершенно новая разновидность среди молодежи, революционер гораздо более трезвый, с ясным взглядом в будущее. Его новые убеждения сказываются в том, что он советует обратить особое внимание на техническую часть: «примись у нас во всей России хотя бы только одна техническая часть хорошо, то уже произойдет переворот, революция, несравненно сильнейшая и успешнейшая, чем все ваши обращения к народу». Но революционер ли он? Достоевский настаивает на этом. «ОТЧАСТИ СПЕШНЕВ»,¹ — прибавляет он о нем. Так ассоциируется прочно кружок долгушинцев с обществом петрашевцев, среди которых Спешнев не был фюреристом и действительно был гораздо менее других подвержен влиянию утопического социализма; роль и поступки его отличались наибольшей практичностью и политической дальновидностью.

4

Долгушинцам, говорилось в предыдущей главе, судя по первоначальным записям первой тетради, готовилась в романе роль весьма активная. Что же знал о них Достоевский? И из того, что знал, *как* и что он использовал?

Дело долгушинцев слушалось в Сенате с 9 по 15 июля 1874 года, и подробные отчеты печатались во всех крупных газетах: в «Правительственном вестнике», «Голосе», «Московских ведомостях», «Петербургских ведомостях» и т. д. Не знаем точно, по какой газете До-

¹ См. об этом в моей статье «Достоевский среди петрашевцев». — Сб. «Звенья», т. VI. М.—Л., «Academia», 1936, стр. 512—545.

стоевский, находившийся в это время в Эмсе, впервые познакомился с процессом: по «Голосу», «Московским ведомостям» или по какой-нибудь другой газете. Хотя, в сущности, это почти безразлично, так как отчеты в других газетах почти ничем не отличались от отчета в «Правительственном вестнике». Для нас же важен самый акт — стремление Достоевского использовать этот процесс в самом начале работы над романом, еще в Эмсе. Свидетельствует об этом письмо к Пуцыковичу от 11 августа 1874 года.

«Две недели назад, — читаем мы в этом письме, — в бытность мою проездом в Петербурге <...> вы так обязательно обещали мне собрать по газетам процесс Долгушина и К° <...> №№ эти мне *капитально* нужны для того литературного дела, которым я теперь занят».¹ Две недели назад, проездом из Эмса в Старую Руссу, — значит, уже в Эмсе сюжет «Подростка» мыслился в какой-то связи с этим процессом. Возможно, что долгушинцем должен был стать второй главный герой, «боец за правду», будущий Аркадий Долгорукий. Выше уже приведены записи о том, что будущий Версиров советовал ему идти в народ и что его, Подростка, тоже арестуют вместе с другими долгушинцами.

Роль долгушинского процесса сведена в окончательном тексте лишь к побочному эпизоду, и в соответствии с этим так же скупо использована и фактическая сторона процесса. Но то, что процесс все же использован, и, главное, *как* использован, *каким* светом освещены действующие в нем лица — и не только в лаборатории автора, в черновиках, но и в печатном тексте, для широкого читателя, — это в высшей степени характерно. Характерно тем более, что, как было указано, несколько лет назад долгушинцы (как сам Долгушин, так и целый ряд других лиц, привлеченных по его же делу) были среди тех, которых Достоевский назвал «бесами», среди нечаевцев, и он, конечно, должен был знать это из газет, в которых печатался обвинительный акт по делу Нечаева, в частности касающийся пятой категории подсудимых: «Сибиряков». В судебном отчете приведен устав, написанный Долгушиным, явно свидетельствующий о том, что кружок «Сибиряков» полностью разделял про-

¹ Письма, т. III, стр. 137—138. Курсив Достоевского.

грамму «Народной расправы», был, в сущности, одной из ее секций».

«Организуется общество тайное из людей, желающих перемены настоящего порядка, который поддерживается административным устарелым механизмом; следовательно, если этого механизма не уничтожить, то настоящее, имеющее быть народное восстание будет подавлено. Для этого и организуется общество, чтобы помешать администрации подавить восстание, а так как администрацию представляют немногие лица, держащие *de facto* все в своих руках, то этих-то лиц и уничтожить. Императорская фамилия управляет только *de jure*, но зато она дает всегда возможность существовать лицам, которые держат все в своих руках, поэтому, если будет возможно, то уничтожить и императорскую фамилию, но только в этом случае неперемное условие, если будет возможно, уничтожить всех членов династии. Если же хоть один останется, нечего и приниматься, потому что тогда старый порядок будет восстановлен во всей силе. Общество начнет действовать и изыскивать средства на выполнение своей цели тогда, когда достигнет 200 человек, действовать же начнет только во время восстания народа». И дальше: «Общество организуется посредством *десятков*, из которых первый составляет центр, причем *нижние центры* не знают *высших*. Обязанность членов *десятков* — самый осторожный набор новых членов до тех пор, когда начнется повсеместное народное восстание».¹

Народное восстание. А для того чтобы оно не было подавлено, необходимо уничтожить всю администрацию и всю императорскую фамилию; организация *десятков*, таких же *тайных* и друг от друга обособленных, как и нечаевские *пятерки*. Повторяем: два года тому назад *долгушинцы* тоже были бы в числе «бесов», которые «вошли в стадо свиней». Можно бы думать, что забыл Достоевский об этой их связи с кружком Нечаева. Но о ней два раза упоминалось на самом процессе *долгушинцев*. Очевидно, при всех изменениях замысла и сюжета в ходе работы над романом одно оставалось неизменным до конца, до окончательной редакции, — стремление показать в какой-то мере иное уже отношение к

¹ «Правительственный вестник», 1871, № 205.

революционной деятельности молодежи, — это уже не *бесовское* наваждение. Расхождение в целом ряде пунктов, — да, конечно, и коренное расхождение. Но какая-то правда у них есть, как и искренняя и глубокая любовь к человечеству, по крайней мере у самых активных из них и прежде всего у самого Долгушина. Говоря словами будущего Версилова, «монахи», «идеалисты», «второстепенную» идею принимают за главную, — задача у них все же великая.

Но перейдем к самому процессу, к самому факту использования его в третьей главе первой части окончательного текста «Подростка».

Долгушинцы обвинялись «в составлении преступных воззваний, в напечатании и распространении их с целью возбуждения населения к бунту». Всего было три воззвания: 1) «Как должно жить по закону природы и правды»; 2) «Русскому народу», с эпиграфом из Евангелия от Матвея: «Ищите и обрящете, стучите и отверзется вам, ибо всякий, кто ищет — находит, и стучащемуся отворяют» и 3) «К интеллигентным людям». Первая прокламация представляет собой почти точную перепечатку, с некоторыми лишь сокращениями, брошюры Берви-Флеровского «О мученике Николае и *как должно жить человеку по закону правды и природы*». Вторая повторяет ту же тему и в основном развивает те же мысли, но на языке более простом и доступном крестьянскому читателю. В третьей прокламации — призыв к интеллигенции, к ее больной совести и к чувству неоплатного долга перед народом. Идея центральная во всех трех прокламациях — идея равенства и братства. Во второй она конкретизируется в виде следующей программы: крестьянству необходимо объединиться против помещиков и царя, чтобы уничтожить оброки, поделить землю между всеми трудящимися, заменить постоянное войско народной милицией, устроить для всех хорошие школы, уничтожить паспорта, и «самое важное требование» — чтобы правительство выбиралось самим народом, которому оно должно будет во всем давать отчет.

В судебном отчете и в судебных прениях возбуждение населения к бунту против царя было выдвинуто как самое главное обвинение, так что у Достоевского должно было получиться представление о гораздо большей революционности кружка, чем это было на самом деле.

К ответственности было привлечено тринадцать человек. Из них пятеро — Долгушин, автор прокламаций, он же главный организатор кружка, инженер Дмоховский,¹ о котором прокурор говорил как о главном идейном вдохновителе (он-то и есть, по-видимому, тот богатый помещик, работавший у немца на техническом заводе, «отчасти Спешнее»), бывшие студенты Папин и Плотников, участвовавшие в печатании и распространении прокламаций, и учитель Гамов, передавший несколько экземпляров прокламаций рабочим одной из подмосковных фабрик, — все они присуждены к каторжным работам (от пяти до десяти лет) с лишением всех прав состояния. Ананий Васильев, раздававший прокламации по деревням, дал «откровенные показания» и отделался сравнительно легко. Еще более откровенные показания дала жена Долгушина, окончившая акушерские курсы, и дело о ней было прекращено. Остальные — Сахарова, бывшая прислуга, сожительница Дмоховского, учительница Александра Ободовская, сын священника Авессаломов, у которого были найдены прокламации долгушинцев в единичных экземплярах, сын купца Эмилий Циммерман, к которому Ананий Васильев обратился за помощью незадолго до своего ареста, и Василий Сидорацкий — отделались арестом (от трех дней до пяти месяцев). Студент Чиков, передавший прокламацию Ободовской, получил два месяца ареста с отдачей на два года под надзор полиции.

В судебном отчете рассказано подробно о начале деятельности кружка. Собирались на квартире у *Долгушина*, на *Петербургской стороне*, в доме Мерка. В черновых записях к роману и в окончательном тексте кружок тоже собирается на *Петербургской стороне*, в квартире *главного организатора*. В печатной редакции ему дается фамилия Дергачев (не потому ли именно, что он—главный, *дергает* все нити?).

Дергачеву, как и Долгушину, двадцать пять лет. О Дергачеве говорится, что это был *техник* и имел в Петербурге занятие. Техником был и Долгушин, заведовал жестяной мастерской купца Верещагина. «Дергачев был среднего роста, широкоплеч, сильный брюнет, с

¹ Через два года имя его станет особенно известным в связи с процессом Веры Засулич, — за избиение его и наказание розгами она стреляла в генерала Трепова.

большой бородой; во взгляде его видна была сметливость и во всем сдержанность, некоторая непрерывная осторожность». Это почти точный портрет Долгушина: в судебном отчете он — молодой мужчина, невысокого роста, с черной бородой. Сдержанность и осторожность он проявлял на суде больше всех.

В романе: В комнате, куда пришел Подросток, было, человек семь, а с дамами человек десять. Если исключить из тринадцати, привлеченных к суду, Циммермана. Сидорацкого и Авессаломова, как почти совершенно непричастных к делу, то действительно столько и остается.

По роману, участвует в спорах одна лишь жена Дергачева (Долгушина), другие две дамы «очень слушали, но в разговор не вступали». Сахарова, бывшая прислуга у родителей Дмоховского, человек малокультурный, идейно не была связана с долгушинцами, а Ободовская тоже стояла далеко от кружка.

Среди мужчин у Достоевского выделены, кроме Дергачева, двое — «высокий, смуглый человек, *много говоривший*, лет 27» и «молодой парень моих лет <Подростка, которому было 18 лет>, в русской поддевке <...> Он и оказался потом из крестьян». Первый — это Папин, двадцати шести лет, во время судебного разбирательства все сбивался на разные теоретические темы, по выражению обвинителя, «пользовался каждым удобным случаем, чтобы порисоваться». Достоевский дает ему фамилию Тихомиров; эта фамилия тоже названа во время процесса как фамилия одного из членов кружка в первой его стадии, в процессе нечаевцев. Второй — Ананий Васильев — действительно из крестьян: крестьянин Тверской губернии, работал в мастерской, которой заведовал Долгушин. Его русская поддевка и смазные сапоги все время упоминаются свидетелями, которым он раздавал прокламации.

Показательны и следующие детали: в романе жена Дергачева оставила спор посредине и «ушла кормить ребенка» (8, 55). Жена Долгушина, говоря о своем участии в спорах на теоретические темы, тоже утверждает, что она часто отлучалась кормить ребенка.

В протоколе от 16 сентября 1873 года, составленном судебными властями в пустоши Петрушкине, даче Долгушина (долгушинцы по переезде в Москву купили ее

на деньги Тихоцкого и там печатали прокламации), описана обстановка, в которой жили Долгушины. Мебель только необходимая: в углу, на полке, деревянный неокрашенный крест, на котором вверху надпись: «Во имя Христа», а на перекладине креста: «Свобода, равенство и братство». Еще надписи на стенах на английском, французском, итальянском и латинском языках. *На английском*: «О бог, о душа, о слава свободы, и днем, и ночью их молния и свет. Мы гребем, как рабы. Но если твой перст коснется нас, то они бегут. Какой человек остановит нас и какой бог поразит нас?» *По-итальянски*: «Иди твоим путем, и пусть люди говорят, что хотят». *На французском*: «Служи только ему < очевидно, народу >, ибо его дело есть дело священное. Он страдает, и всякий человек вблизи народа — есть посланник бога». Достоевский берет только латинскую надпись, тоже имевшуюся в комнате на даче: «Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat». (Что не может быть излечено лекарствами, то излечивается железом, а чего не может излечить железо, излечивает огонь.) В романе: «Только что вошли <Подросток и его приятель Зверев> в крошечную прихожую <квартиры Дергачева>, как послышались голоса... Кто-то кричал: «Quae medicamenta non sanant» и т. д. А неокрашенный крест превращен в икону, «в углу образ без ризы, но с горевшей лампадкой». Сюда, пожалуй, следует отнести и то, что фамилии в романе дергачевцев Васина и Крафта находят себе полное созвучие в фамилиях из судебного отчета: Васнин и Крахт.

Но использование не ограничивается только аксессуарами, обстановкой, количеством действующих лиц и их, отчасти, портретами. В кружке Дергачева идет спор о России, о будущих ее судьбах и роли в истории человечества. Тихомиров (Папин), который, по судебному отчету, все время рисуется, «сбивается на разные научные теории, делает ссылки на разных ученых, в том числе на Фридриха Поля», говорит здесь долгушинцам (в романе дергачевцам): «Работайте для будущего, оставьте Россию <...> Делайте для человечества и об остальном не заботьтесь». В спор вмешивается жена Дергачева, — она «стояла за дверью, держа ребенка у груди и горячо прислушиваясь: «Надо жить по за-

кону природы и правды». Мы уже знаем, одна из трех прокламаций так и называется: *«Как должно жить по закону природы и правды»*.

Но «закон природы и правды» предполагает уже решенным более общий вопрос — *«о нормальном человеке»*. Из судебного процесса видно, что именно этот вопрос занимал долгушинцев прежде всего. «С этого и началось». Жена Долгушина так рассказывает о начальном периоде существования кружка: «Иногда собирались все вместе по вечерам и занимались решением разных вопросов, из которых главнейший был вопрос о *нормальном человеке*. При этом разбирались потребности человека с его физической стороны, и мы пришли к тому убеждению, что бедность и невежество суть главнейшие причины, почему большинство не удовлетворяет своим физиологическим потребностям». Отыскание способов к удовлетворению физиологических потребностей так называемого «нормального человека» — такова, в передаче Долгушиной (что подтверждает также и Папин), исходная точка кружка, его, так сказать, философская основа. На этом защитник Папина и строит свою защитительную речь. Из этой основы он выводит, что долгушинцы — коммунисты. Они все, в том числе и Папин (Тихомиров), стремятся к разрушению основ общественной жизни, «они отрицают собственность; их учение—коммунистическое и в корне противоречит учению чистых политиков, взывающих к бунту против государя и государства». Первые — «стремятся к подавлению индивидуальной воли, в чем бы она ни проявлялась, тем самым они должны признать и признают центральную и даже деспотическую власть»; вторые же — политики — «выше всего ставят личную свободу каждого члена государства» и, следовательно, должны быть против всякого деспотизма.

Понимал ли защитник, что долгушинцы вовсе не коммунисты и даже не социалисты, поскольку основным пунктом их программы было уравнильное землепользование крестьян — разделение земли между всеми трудящимися? Здесь Достоевский следует именно судебному отчету — как раз только эту идею о «нормальном человеке» и берет он из всей системы воззрений долгушинцев, делает ее центральным пунктом спора Аркадия Долгорукого с кружком Дергачева.

У Достоевского, конечно, свои цели: все те же нападки на революционные методы борьбы, и он намеренно искажает мысли своих противников. Сами прокламации их свидетельствуют о том, что они вовсе не снижали человека до одной физиологии: «...жить должно человеку *по закону правды*», не только одной «природы». Так мы снова слышим здесь голос из мрачных «Записок из подполья», где Достоевский *впервые* так резко формулирует свою реакционную точку зрения в борьбе с социалистическими идеями революционного демократа Чернышевского в его романе «Что делать?». Эти слова «подпольного» героя повторяет Подросток, когда в споре с кружком Дергачева говорит: «У вас будет казарма, общие квартиры, *stricte nessaissere*, атеизм и общие жены без детей — вот ваш финал <...> И за все это, за ту маленькую часть срединной выгоды, которую мне обеспечит ваша разумность, за кусок и тепло вы берете взамен всю мою личность!» (5, 64—65).

Долгушинцы, как и вся революционная молодежь того времени, были противниками христианства: в этом смысле они атеисты. «Жить по закону природы и правды», «устроить рай на земле, но без бога», без церковного бога. Один из них, Плотников, прямо заявил на предварительном следствии, что он «человек без религии». Очень возможно, что для кружка в целом это вовсе не характерно. Но Достоевский и здесь идет по отчету. В споре с дергачевцами Аркадий Долгорукий нападает и на этот пункт: «Ведь вы бога отрицаете, подвиг отрицаете, какая же косность, глухая, слепая, тупая, может заставить меня действовать так, если мне выгоднее иначе? <...> Что мне за дело о том, что будет через тысячу лет с этим вашим человечеством, если мне за это, по вашему кодексу, — ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мною подвига?» (§, 64). Воистину и здесь Достоевский показывает, как говорит Горький, «до какого подлого визга может дойти индивидуалист из среды оторвавшихся от жизни молодых людей 19 и 20 столетия»,¹ — от жизни, разумеется, народной, от жизни трудящихся.

В окончательном тексте эпизод с кружком Дергаче-

¹ А. М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. т. 27. М., Гослитиздат, 1953, стр. 313.

ва остался в стороне от главных сюжетных линий романа. Подросток вступил в него на одно лишь мгновение, пришел как посторонний, поспорил, противопоставил свою точку зрения на свободу человеческой личности и ушел навсегда. Автор мотивирует эту встречу желанием Подростка увидеть Крафта и Васина, которые были в ту минуту на квартире у Дергачева. Мотивировка очень слабая, отнюдь не оправдывающая необходимость этого эпизода. После третьей главы кружок выпадает из поля внимания автора в продолжение всего романа. Уже почти в конце узнаем, что он весь арестован по доносу, из ревности к Васину, полоумного князя Сокольского. Чем же это объяснить? В намерении ли художника было, чуть-чуть приоткрыв завесу над трагическим событием из жизни революционной молодежи, немедленно же ее опустить, эту завесу? Для хода романа эпизод совершенно не нужен, в смысле цельности концепции он вредит ей, расшатывает ее. Повторяем, судя по черновикам, роль долгушинцев должна была быть гораздо значительнее.

В январской книге «Отечественных записок» за 1875 год была напечатана большая половина первой части «Подростка». В литературных кругах, отчасти и в критике, стали уже посмеиваться над этим странным сочетанием: Достоевский, вчера еще редактор «Гражданина», — и «Отечественные записки»! Н. К. Михайловский отвечал этим «хихикавшим», объясняя появление Достоевского в «Отечественных записках» двумя причинами:

«Во-первых, потому, что г. Достоевский есть один из наших талантливейших беллетристов, во-вторых, потому, что сцена у Дергачева со всеми ее подробностями имеет чисто эпизодический характер. Будь роман на этом именно мотиве построен, «Отечественные записки» принуждены были бы отказаться от чести видеть на своих страницах произведение г. Достоевского, даже если б он был гениальный писатель».¹

Смысл этих слов ясен: Достоевский стоит того, чтобы за него бороться, предоставив ему возможность не быть столь связанным с «Русским вестником» Каткова. Но откуда уже тогда, в самом начале, известно было Ми-

¹ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. 3. СПб., 1897, стр. 301.

хайловскому, что «сцена у Дергачева... имеет чисто эпизодический характер»? В одном из писем к Анне Григорьевне за это время Достоевский сообщает, что рассказывал Некрасову план печатания следующих частей романа.¹ Напрашивается мысль: не виновата ли и редакция «Отечественных записок» в том, что процесс долгушинцев превратился в небольшой эпизод? Тема в самом деле щекотливая, как ее ни трактовать: сочувственно — нельзя, хотя бы по политическим соображениям; отрицательно, если б даже Достоевский и хотел, — противоречит убеждениям журнала. Может быть, Некрасов и высказал Достоевскому свои соображения в этом именно направлении, и они показались достаточно вескими?

Но как мог Достоевский с самого начала взяться за такой в самом деле скользкий сюжет? Несколько лет назад печатался в «Вестнике Европы» (1872) роман Пальма «Алексей Слободин» (о петрашевцах); действующие лица в нем, особенно Слободин (Достоевский), эмоционально окрашены в высшей степени сочувственно. Но это о делах давно минувших дней. Долгушинцы же — день *сегодняшний*. Ставлю последний вопрос исключительно с той целью, чтобы показать, как все здесь, в сущности, неясно, сложно и очень гадательно. Хронологически действие в романе происходит в середине шестидесятых годов, — Достоевский точно указывает, что прошло всего двадцать лет после «Антон Горемыки» Григоровича. Может быть, это-то перемещение событий в прошлое, хоть и недалекое, и создало бы некую свободу действий для развертывания сюжета? Но это все, конечно, домыслы.

Остаемся при одном факте неопровержимом: в романе «Подросток», готовившемся для «Отечественных записок», для того журнала, который революционная молодежь считала своим, а Некрасова — выразителем и вдохновителем своей идеологии, — пусть в окончательном тексте лишь в малом эпизоде, в виде свернутом, — снова появляются революционеры, прикосновенные к делу Нечаева, и хоть борется с ними автор «Подростка», эмоционально они освещены все же далеко не так, как в «Бесах».

¹ Письма, т. III. стр. 152.

В ходе дальнейшей работы над сюжетом из всего кружка долгушинцев остается для более значительной роли один только Васин. Его, холодного и спокойного» *«образец логики и ума»*, Достоевский сочтет потом нужным использовать как контраст «живой жизни» главных действующих лиц, всегда беспокойных, в страстях своих падающих и поднимающихся, знающих радость и страдания больших идей и глубоких исканий.

А пока внимание опять сосредоточивается на обоих центральных героях: на будущем Версилове и Подростке. Беспокоит автора особенно один вопрос: как *композиционно* осуществить последнее решение, чтобы главным лицом стал Подросток, а Он, будущий Версилов, — только «аксессуаром».

«Отцы и дети — дети и отцы». Подросток уже не брат, а сын.. Мы уже знаем о нем, что, выписанный отцом в Петербург, он приезжает «с готовой уже идеей: стать Ротшильдом». Он ходит по менялам, по толкучим, приценивается, скупится. Связан с революционным кружком долгушинцев; шантажирует вместе с Ламбертом княгиню, будущую Ахмакову. Влюблен, может быть в нее, может быть в Лизу, и соперничает с отцом. И все же: ему ли, Подростку, быть главным лицом? Как до сих пор развивался замысел, главным героем все-таки оставался отец, поскольку Он вырисовывается и идеологически и психологически неизмеримо сложнее и сильнее всех других действующих лиц, как единственный носитель какой-то великой, мысли, в отличие от дурной ставрогинской уравновешенности и статичности, ярко и страстно проявляющий себя в каждой из своих «противоположных деятельностей». Подросток, при всей своей подвижности и раскидистости, как бы только врывается в Его жизнь, только осложняет Его сюжетную роль; но отнюдь себе не подчиняет.

Под 12 августа 1874 года мы имеем такую запись:

«Важное разрешение задачи. Писать от себя. Начать словом: Я. «Исповедь великого грешника» для себя». Это

второй поворотный пункт огромного значения. *Извне вовнутрь*. Отныне вот в чем должна будет сказываться роль Подростка как главного героя: *он над всем и всеми*, и над ролью отца, господствует *как автор*. В центре — *его Я, его* восприятия. Он может рассказывать в своей «Исповеди» о ком и о чем угодно, — важны чьи бы то ни было поступки не сами по себе, не столько *само событие*, сколько то, какое оно *на него* оказывало воздействие, как оно было воспринято *им* в *его* юношеском сердце. Вспоминаются Достоевскому пушкинские «Повести Белкина» в трактовке Аполлона Григорьева.¹ Следует запись: «Как в повестях Белкина важнее всего сам Белкин, так и тут прежде всего обрисовывается *Подросток*».

Уже в самой архитектонике «Исповеди», в самом ее стиле, юношески наивном, лирически взволнованном, должен обнаружиться образ Подростка, — у него может быть «множество недосказанностей», может отсутствовать строгая последовательность в изложении событий. «Своя манера: например, едет к отцу и сведения об отце лишь тогда, когда уже он приехал, а биография отца и того позже». Ломается, одним словом, стройность и последовательность рассказа о чьей бы то ни было *жизни*, — она как бы разбивается на отдельные эпизоды, лишается своей самостоятельности. Ибо, утверждает еще раз автор, «это должно быть поэмой» о том, «как вступил *Подросток* в свет. Это история его исканий, надежд, разочарований, горечи, возрождения, науки — история самого милого, самого симпатичного существа». Тем и должен кончиться роман-исповедь, смысл тот, что он, Подросток, «всем виденным и пережитым поражен, раздавлен, собирается с духом и мыслями и готовится переменить на новую жизнь. Гимн всякой травке и солнцу (финальные строки)».

Так, убеждает себя дальше Достоевский, вырисовывается сам собою тип юноши — «и в *неловкости* рассказа, и в том, «как жизнь хороша», и в необыкновенной серьезности характера». Твердо и окончательно: от *Я, от Я*, роман-исповедь «самого милого, симпатичного су-

¹ См. об этом в статье «Достоевский и Страхов», стр. 307—343 настоящего издания.

щества». Эта форма «от Я» тем более удобна, кажется автору, что она помогает обрисовке характера и второго центрального героя, хотя и становящегося теперь «аксессуаром». Они будут взаимно друг друга освещать. Следует запись: «суеверно подчиненное отношение к Нему Подростка» покажет «и Его в более фантастическом и так сказать бенгальском огне». А Он, то есть отец, тоже «начинает постепенно уважать Подростка, удивляется его сердцу, милой симпатии и глубине идей при таком легком образовании... Он во весь роман ужасно следит за Подростком, что равно рисует и Его в чрезвычайно симпатическом виде и с глубиною души».

Эта форма «от Я» соблазнительна еще в одном отношении: она должна привести к большей сосредоточенности художественного воображения писателя, к некоему самоограничению. «Если от Я, — записывает дальше Достоевский, — то будет несомненно больше единства и менее *того*, в чем упрекал меня Страхов, т. е. во множестве лиц и сюжетов». «Сжatee, как можно сжatee!» — приказывает художник себе много раз. Учиться у Пушкина. «Писать a la Пушкин».

Итак, роман-исповедь, поэма о Подростке; все должно служить основной идее, которая найдет свое выражение в последних словах Подростка: «Теперь знаю, нашел чего искал, что добро и зло, не уклонюсь никогда». Отныне судьба романа и в смысле успеха будет зависеть исключительно от того, насколько окажется удачным образ Подростка. «Заставить читателя полюбить Подростка, — пишет Достоевский на полях, — полюбят, и роман, и тогда прочтут. Не удастся Подросток как лицо, не удастся и роман».

Словом, не так, как в «Бесах», где форма «от Я» какая-то «пустая», где летописец не играет, в сущности, никакой роли, связывает события лишь от времени до времени, и образ его остается неуловимым. Здесь, в этом новом романе, форма должна *полностью* соответствовать содержанию. Подросток пишет от себя потому, что он-то и есть *единственный* герой, в аспекте которого, в *его* понимании и освещении, и воспринимаются все остальные действующие лица.

Достоевский говорит здесь так много об этой форме «от Я», так усиленно убеждает себя в ее возможности и

выгодности, очевидно, потому, что ясно сознает те огромные трудности, которые с нею связаны. Ведь опыт с этой формой оказался неудачным не только в «Бесах», но и в «Преступлении и наказании». Во всяком случае, там он ее не одолел.

В «Преступлении и наказании» пришлось отказаться от первоначальной формы «исповеди интеллигентного преступника» и перейти к обычной форме повествования. В «Бесах» форма «от Я» осталась, но она-то и виновата в том, что «читатель, как признается сам автор, сбитый на проселок, теряет большую дорогу, путается вниманием».

Так напрашивается мысль: не искал ли здесь художник опоры у кого-нибудь из западных мастеров? И прежде всего приходит на ум Жан-Жак Руссо, имя которого с его «Исповедью» несколько раз упоминается в черновиках. «Он заголивается, как Руссо», — говорится о «хищном типе», будущем Версилове. Версиров «заголивается», когда рассказывает, как у Него это «началось» с матерью Подростка. Подросток возмущен циничностью Его тона. И «исповедь» Версирова же, незадолго до катастрофы с Ахмаковой, — одно из самых главных мест в романе: ею замыкается круг Его жизни, настало время передать сыну смысл своих скитаний. Но разумеется, видеть здесь следы непосредственного влияния Руссо в смысле сюжетном нет никакого основания. Версировское «оголение» совершенно иного характера и по тону и по содержанию, чем откровенные покаяния в грехах своих Жан-Жака Руссо. Тем более не могут быть сопоставлены «Исповедь» Руссо, где повесть о его жизни, начиная с самого раннего детства, разворачивается крайне медленно, эпически-спокойно, и «исповедь» Версирова, с ее центральной идеей о роли России в «грядущих судьбах человечества», напряженно сосредоточенная на одном только завершающем моменте в жизни героя, крайне сжатая и патетически взволнованная.

Факт, конечно, остается — когда автор стал работать над «Подростком», Руссо, несомненно, был в его памяти. Но вдумывался он в его «Исповедь», может быть, перечитывая ее, прежде всего именно как в мастерство, как в определенный *жанр*.

Гравер, учитель Дюкоммен, обращается с Руссо

так же жестоко, как Тушар с Подростком: «Привыкнув к плохому обращению, — рассказывает Руссо, — я сделался менее чувствителен к нему <...> Я считал, что, раз меня бьют как воришку, это дает мне право воровать <...> Я говорил себе: «<...> Меня побьют. Пускай: я для этого и создан».¹

Тушар бьет Подростка по щекам, пинает его коленом, превращает его в лакея, приказывая подавать себе платье (§, 130—131). И Подросток «уже тогда бегал со щеткой за Тушаром смахивать с него пылинки» (5, 368).

У Руссо есть намек и на мотивировку главной идеи Подростка о богатстве. Он говорит об одном из «кажущихся» своих противоречий, состоящем в том, что чувство почти *отвратительной скупости* соединено в нем с полнейшим презрением к деньгам. Как и Подросток, он говорит о себе: «*обожаю свободу, ненавижу стеснение, нужду, подчинение* <...> Деньги обеспечивают мне независимость».² И как Подросток же, который, несмотря на свою «идею», не может остановиться перед каким-нибудь подавляющим фактом и не пожертвовать ему разом всем тем, что уже годами труда сделал для «идеи», так и Руссо, при «почти скаредной скупости, — говорит он, — только подвернется удобный и приятный случай, я так хорошо пользуюсь им, что кошелек мой опустеет прежде, чем я это замечу».³

Руссо влюблен во вдову Луизу-Элеонору де Варане; она старше его годами и гораздо выше его по своему общественному положению. Дается ее портрет: «у нее был вид нежный и ласковый, взгляд очень мягкий, ангельская улыбка, рот одного размера с моим, пепельные волосы редкой красоты, которые она причесывала небрежно, что придавало ей особую привлекательность. Она была маленького роста, даже приземиста и чуть коренаста, но не безобразно; невозможно было найти более прекрасную голову, более прекрасную грудь, более прекрасные плечи и более прекрасные руки».⁴ И особенно подчеркивается ее улыбка, «ангельская улыбка». И дальше рассказывает Руссо о своих любов-

¹ Ж.-Ж. Руссо. Исповедь. М., Гослитиздат, 1949, стр. 58.

² Там же, стр. 61.

³ Там же.

⁴ Там же, стр. 71.

ных «сумасбродствах»: «Сколько раз целовал я свою постель, при мысли, что она спала на ней, занавески, всю мебель в моей комнате — при мысли о том, что они принадлежали ей и ее прекрасная рука касалась их, даже пол, на котором я простирался — при мысли, что она по нему ступала».¹

А Подросток в страстной речи своей к Ахмаковой: «Я не могу больше выносить вашу улыбку! <...> Выражение вашего лица есть детская шаловливость и бесконечное простодушие <...> У вас глаза не темные, а светлые <...> Вы полны, вы среднего роста, но у вас плотная полнота, легкая, полнота здоровой деревенской молодки. Да и лицо у вас совсем деревенское <...> ясное, смелое, смеющееся и... застенчивое лицо! <...> Еще я люблю, что с вас не сходит улыбка: это — мой рай! <...> У вас грудь высокая, походка легкая, красоты вы необычайной, а гордости нет никакой». И Подросток «готов был броситься и целовать то место на полу, где стояла ее нога» (8, 275—285).

И все же, и эти параллели — подобных можно было бы привести еще несколько — вряд ли свидетельствуют о том, что только к Руссо, к его «Исповеди» восходит искомая форма «Подростка» — «записки от себя».

В смысле поисков опоры может быть еще вероятнее обращение Достоевского к другому любимому, большому европейскому писателю — к Диккенсу. Когда Подросток говорит с раздражением о тех сиротах, которые вечно плачутся на свою судьбу: «Я бы их сек» за то, что у них нет чувства собственного достоинства, — то он прибавляет: «Я не хочу Копперфильда».

В «Давиде Копперфильде», где такое же обилие лиц, как в «Подростке», мы имеем классический образец эпического романа в этой форме «от Я», по крайней мере в первых частях действительно весьма выдержанной. И здесь есть совпадение более близкое, и не только в ситуациях, но и в отдельных деталях. Разумеется хотя бы описание в «Копперфильде» пансиона мистера Крика и рассказ Подростка о пансионе Тушара и о самом Тушаре: Тушар на свой манер груб и жесток, как и мистер Крик; то же деление в обоих пансионах, по выражению

¹ Ж.-Ж. Руссо. Исповедь, стр. 121.

Достоевского, на «сенаторских и графских детей» и на простых.

Характерно особенно следующее совпадение. Аристократ Стирфорт вместе с другими товарищами забирают у Копперфильда все его деньги, которые дала ему мать при прощании, покупают на них смородиновку, фрукты и бисквиты. Копперфильду удастся спрятать только две кроны и кусочек бумаги, в которой они были завернуты и которая была для него драгоценность, как память о страдающей, одинокой и страстно любимой матери.

И в «Подростке»: «графские и сенаторские дети» отняли у Аркадия Долгорукого эти несколько апельсинов и пряников, которые принесла ему бедная мать. А четыре двугривенничка, полученные им при прощании с ней, отобрал у него Ламберт, «на них накупили они пирожков и шоколаду и даже меня не попотчевали». Спрятал Подросток, тоже как «величайшую драгоценность», тот «синенький клетчатый платочек со следами от крепко завязанного на кончике узелочка, в котором были эти гривеннички». И потом ночью, под одеялом, чтоб никто не видел и не слышал, прижимал платочек к лицу и целовал его и плакал: «Мамочка, где ты теперь, гостя ты моя далекая? Помнишь ли ты теперь своего бедного мальчика, к которому приходила... Покажись ты мне хоть разочек теперь <...> только обнять мне тебя и поцеловать твои синенькие глазки» (8. 372).

Можно бы привести еще целый ряд параллелей, свидетельствующих о том, что в этот момент, когда шла работа над «Подростком», Диккенс неотступно стоял перед Достоевским в художественном его воображении. Укажем здесь же, между прочим, на одно место в пятой главе третьей части романа, где один эпизод – из «Лавки древностей» Диккенса интерпретируется с исключительной глубиной и проникновенностью.¹ Вспоминаются раз уже использованные в «Униженных и оскорбленных» «сумасшедший этот старик и эта прелестная тринадцатилетняя девочка, внучка его <...> И вот раз закатывается солнце, и этот ребенок на паперти собора, вся облитая последними лучами, стоит и смотрит на закат с тихим задумчивым созерцанием в детской душе,

¹ Ниже, в главе VIII, о способе использования Достоевским этого эпизода речь будет особо.

удивленной душе, как будто перед какой-то загадкой <...> А тут, подле нее, на ступеньках, сумасшедший этот старик, дед, глядит на нее остановившимся взглядом...» И следует лирический восторг человека, преклонившегося в благоговении перед этой грустной красотой: «Знаете, тут нет ничего такого, в этой картинке у Диккенса, совершенно ничего, но этого вы век не забудете, и это осталось во всей Европе — отчего? Вот прекрасное! Тут невинность!» (5, 483). «Прекрасное! Невинность!» — вот основа души Подростка, несмотря на все его падения. Мы видели — таким именно мыслил его Достоевский.

Повторяем: мы говорим об *опоре*, отнюдь не говорим о заимствовании, как бы ни казались близкими совпадения. Большие мастера вообще не «заимствуют», они перестраивают. Достаточно будет детальнее сопоставить приведенные примеры из «Копперфильда», чтобы ясно стало, как Достоевский все переделывает по-своему, соответственно своему стилю, социальному положению, умственному и нравственному уровню своих героев. Он прежде всего усиливает до чрезвычайности эмоциональную окраску: вместо едва намеченного социального контраста у Диккенса — глубочайшая трагедия сложной детской души, одинокой, всеми оставленной, уязвленной на всю жизнь и ежеминутно оскорбляемой. Элементы сентиментализма у Диккенса в форме легкой полугрустной усмешки («спрятал кусок бумаги, как драгоценность» — и все) превращаются в рыдание с истерическими всхлипываниями и причитаниями: «Мамочка! мама!».

Но так или иначе, в той или другой степени, Пушкин, «Повести Белкина» в интерпретации Аполлона Григорьева, «Исповедь» Руссо, «Давид Копперфильд» Диккенса — это все было, судя по черновикам, в поле внимания Достоевского, когда он размышлял над трудностями, связанными с этой формой «от Я» Подростка.

Беспокоил же Достоевского особенно один вопрос: главным героем должен быть Подросток; Версиров — «только аксессуар». Но как же быть тогда с версировскими идеями о судьбах мира и человечества, о борьбе между христианством и атеистическим коммунизмом, об одновременном приятии и неприятии Парижской коммуны («Тюильри»), о смысле жизни, об основах нрав-

ственности? Может ли все это осмыслить девятнадцатилетний юноша? Если же, замечает дальше автор, решить вопрос так, что Подросток пишет свою исповедь «4 или 5 лет спустя после происшествия», то, во-первых, тон его рассказа потеряет тогда всю прелесть юношеской свежести и наивности. А во-вторых, будет ли это вообще естественно, когда он вдруг, по истечении такого длительного срока, сядет писать свои записки? У читателя «останется грубая, довольно комическая идея, что вот тот юный отрок уже вырос, пожалуй, магистр, юрист, и с высоким снисхождением удостаивает описывать (черт знает для чего) о том, как он был прежде глуп и проч.».

Сомнения порою настолько одолевают, что возникает мысль: не отказаться ли совсем от этой новой формы и писать по-старому — *от автора*. Тогда тон должен быть совершенно другой. «Если *от автора*, — читаем мы в одном месте, — то чертить свысока, как бы прикрываю симпатию, сдерживаясь и как можно оригинальнее в тоне и в распределении *порядка* описываемых сцен и предметов».

Но форма «от Я» все же гораздо соблазнительнее по полному соответствию своему с идеей романа, намечающейся уже теперь как основная: о милом и симпатичном юноше, который после долгих исканий и падений вступает наконец на правильный путь.

Эти колебания идут на многих и многих страницах, почти до самого последнего момента, когда уже нужно приступить к составлению связного текста. Но вот выход наконец найден. Форма исповеди остается, записки пишутся Подростком, но не в виде дневника, не *во время* происходящих событий, а спустя год. «То есть, — замечает автор, — он и теперь, и год спустя в своем роде тоже подросток, но на того подростка, который год назад, смотрит свысока». А что касается сложности и высоты версильевских идей, насколько их может осмыслить юноша хотя бы и двадцатилетний, то намечается вначале два возможных выхода: или Подросток излагает их по какой-то тетради, оставшейся после отца, — есть такой вариант финала, что Версильев не то кончает самоубийством, не то умирает в госпитале, — или будущий Версильев сам высказывает их в виде исповеди. Предпочтение, как мы знаем, отдано второму выходу.

Установлен тон и форма романа; наметились ясно характеры двух главных героев, как и тот идеологический смысл, который они должны выражать собою и своими действиями.

Линия Подростка ясна: он должен постичь наконец разницу между добром и злом, узнать, как ему дальше жить. А Он, будущий Версилов, который «во весь роман ужасно следит за Подростком, удивляется его сердцу, милой симпатии и глубине идей», что рисует его также «в чрезвычайно симпатическом виде и с глубиною души», — Версилов все дальше и дальше отходит от своего литературного прототипа — Страврогина, от начальной своей роли «хищного типа», приближаясь все более и более к герою старого замысла — «Атеизма». Глубина и высота его мысли неотразимы.

В черновых записях, частью приведенных, уже наметились те мысли Версилова, которые — в окончательном тексте это особенно ясно — сближаются с *некоторыми* идеями Герцена. Подчеркиваем: только с *некоторыми*. И, как это всегда бывает в тех случаях, когда идеи, чьи бы то ни было, искусственно отрываются от своего лона, извлекаемые из целостной концепции в виде лишь отдельных разрозненных элементов, прообраз получается сильно искаженным. Из всей многообразной деятельности Герцена, революционного демократа, проявлявшейся в огромных масштабах в русской и западноевропейской действительности, как и из всей системы его идей философских и социально-политических, претерпевшей очень сложную эволюцию, берется лишь один момент — конец сороковых и начало пятидесятых годов, когда, после июньских расстрелов 1848 года, Герцен испытывает глубочайшее разочарование в европейской буржуазной демократии, впадает на время в пессимизм отчаяния, от которого, как он сам рассказывает об этом, его вскоре спасает вновь воскресшая в его душе вера в великое будущее русского народа. И этот момент, как это будет сейчас показано, освещается таким светом, что он должен быть противопоставлен всей остальной жизни Герцена и, в сущности, обесценивает ее, как полную заблуждений. Мы знаем его огромную роль в истории русской философии — как одного из величайших на-

ших мыслителей, который, по словам В. И. Ленина, еще в сороковых годах. «вплотную подошел к диалектическому материализму»,¹ и если он и остановился перед историческим материализмом, то в этом виноваты условия жизни в экономически и политически отсталой России. Безмерно велика роль Герцена в борьбе с крепостническим строем и за свободное русское слово, которую он вел с таким талантом и с такой страстью в «Колоколе» и в «Полярной звезде». Все это не только выпадает из биографии Версилова, как не соответствующее облику «бездеятельного, развинченного, рефлектирующего, беспочвенного интеллигента», но по мысли автора, должно восприниматься как «идея второстепенная» или ложная. Так пессимизм Герцена, его «глубокий скептицизм», который, по определению В. И. Ленина, был «формой перехода от иллюзии «надклассового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата»,² трактуется Достоевским в плане чисто психологическом, как основа его душевного строя, его мировосприятия; герценовский пессимизм используется здесь Достоевским, в сущности, с целью всё той же борьбы с «идеями века сего», с революцией.

По лукавой книге умеренного консерватора Н. Страхова «Борьба с Западом» интерпретируется весь Герцен, книга печаталась вначале отдельными главами в «Заре» за 1870 год, и тогда же они произвели на Достоевского особенно сильное впечатление. «С нетерпением жду продолжения Вашей статьи, — пишет он Страхову 24 марта 1870 года,³ — <...> Вы чрезвычайно удачно поставили главную точку Герцена — пессимизм <...> С страшным нетерпением жду продолжения статьи; тема слишком задирающая и современная». И в письме к нему же от 5 мая 1871 года Достоевский снова возвращается к этой теме: «Посмотрите опять на Герцена: сколько тоски и потребности поворотить на этот же путь»,⁴ — разумеется, на путь противопоставления России Европе, признания за русским народом особого всемирно-исторического значения для будущих судеб человечества.

Что Достоевский в начале шестидесятых годов, еще

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 10.

² Там же, стр. 11.

³ Письма, т. II, стр. 259.

⁴ Там же, стр. 357.

до разрыва с передовыми идеями эпохи, воспринял целый ряд мыслей Герцена для решения именно этого вопроса о нашем исконном отношении к Западу, оставался им верен и потом, когда уже резко повернул вправо, приспособив их к совершенно другой системе идей, — было уже показано нами.¹ И если Версилов нередко высказывает здесь по этому же вопросу мысли самого автора, то совпадения с Герценом неминуемы. Но есть в черновиках несколько и прямых указаний на эту связь между ними. «Он <Версилов> поминает Герцена, знал Белинского», — читаем мы в одном месте. Там же (правда, несколько иронически): «пьет шампанское а la Herzen». В третьем месте (фраза, которую можно понять только в связи с Герценом): «Я горжусь Прудоном». Прудона, как известно, Герцен долго считал самым свободным человеком в Европе и действительно гордился своей с ним дружбой. В четвертый раз сказано прямо: «Я к Герцену...» И то же в окончательном тексте, в «Исповеди», там, где раскрывается главная мысль Версилова, после Его слов: «Я уехал с тем, чтоб остаться в Европе <...> и не возвращаться домой никогда. Я эмигрировал» — «К Герцену, — восклицает Подросток, — участвовать в заграничной пропаганде. Вы наверное всю жизнь участвовали в каком-нибудь заговоре» (8, 512). В черновиках на эту тему есть такая фраза: «Есть ли русский, который не был в свое время в заговоре?» Но в окончательном тексте Версилов иначе на это отвечает: «Нет, мой друг, я ни в каком заговоре не участвовал <...> Нет, я просто уехал тогда от тоски; от внезапной тоски». По Страхову, так именно должен был поступить и Герцен, «если б он хотел оставаться верным самом себе». Отчаявшись в Европе, потеряв прежнюю веру в европейские идеалы и в самую идею прогресса, он должен был бы навсегда оставаться в положении постороннего «зрителя», подобно «римским философам в первые века христианства», тоже «скорбно смотреть на разрушающийся мир», свободно мыслить, тосковать, мучиться в своем отчаянии, но не действовать, не участвовать ни в каких революциях, ни в каких заговорах.² Герцен не послушался внутреннего

¹ См. настоящее издание, стр. 215—231.

² Н. Страхов. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. I. СПб., 1887, стр. 97—100.

голоса своего, и в этом, по Страхову, его величайшая ошибка, причина вечных сомнений, неполного возврата его на родину, его «нигилистического славянофильства». Версилов, тоже тоскующий, тоже разочарованный в европейских идеалах, уходит с «тонувшего европейского корабля», как бы исправляет ошибку Герцена.

К Герцену Версилов не пошел, в заговорах, ни русских, ни европейских, не участвовал, но путь «*внутренне*» он проделал тот же: только там, на Западе, в величайшей тоске своей оттого, что «лик мира сего проходит», понял он, что любит только ее, «маму», мать Подростка, крестьянку, символизирующую собою, как сказано в черновиках, «Россию, святую Русь». «Началось, — говорит он Подростку в исповеди своей, — с ее *впалых* щек, которых я никогда не мог припоминать, а иногда так даже и видеть без боли в сердце — буквально боли, настоящей, физической» (8, 522). «Цивилизованный и отчаянный, бездеятельный и скептический, высшей интеллигенции» — так интерпретирует в одной из черновых записей сам автор идейный смысл образа Версилова — увидел в этих «впалых щеках» матери отпечаток горя народного, и возникла в сердце не столько любовь, сколько великое сострадание. И дальше так представлены взаимоотношения между этой «высшей интеллигенцией» и народом. Она, мать, Россия, «вечно считала себя безмерно ниже меня во всех отношениях». А между тем «в жизни моей я не встречал с таким тонким и догадливым сердцем женщины <...> Клянусь, она более чем кто-нибудь способна понимать мои недостатки» (5, 523). Народ, мать, Россия, — только простой народ обладает истинным пониманием вещей, тонким и догадливым сердцем своим чувствует правду.

И вот как рассказывает этот «отчаянный, скептический» интеллигент о своей «страннической Одиссее», о своей «эмиграции», как она началась и чем она кончилась. Исповедь — грустная эпитафия всему прошлому, пережитому. «Мои странствия как раз кончились и как раз сегодня <...> Сегодня финал последнего акта, и занавес опускается. Этот последний акт долго длился». Он начался разрывом с Россией: «начался он очень давно — тогда, когда я побежал в последний раз за границу. Я тогда бросил все, и знай, мой милый, что я *тогда разженился с твоей мамой и ей сам заявил про это*

<...> Я объяснил ей тогда, что *уезжаю навек, что она меня больше никогда не увидит*» (8, 511).

Таково, по Достоевскому, и бегство Герцена в Европу: он тоже «бросил все», вскоре «разженился» с «мамой», с Россией, и тоже сам заявил ей про это, объяснил ей тогда в предисловии к книге «С того берега», что останется в Европе навсегда.¹

«Было время, когда в ссылке, вблизи Уральского хребта, я облакал Европу фантастическими красками, я тогда верил в Европу и особенно во Францию. Я воспользовался первой минутой свободы, чтобы лететь в Париж». Здесь тон бодрый, тон радостной надежды. Герцен ставит рубеж: «это было еще до Февральской революции», и тогда «в Европу можно было еще верить». Но Достоевский и тут следует Страхову, когда заставляет Версилова эмигрировать не потому, что верил в Европу, а «от тоски, внезапной тоски». В толковании Страхова Герцен всегда был пессимистом, ставил неразрешимые вопросы и в ранних своих произведениях, до эмиграции. Оттого, утверждает Страхов, он так сразу, «еще до Февральской революции», стал замечать на лице европейского мира эту «матовую землистость», «*Facies hypocratica*», по которой доктора узнают, что смерть уже занесла косу».²

Но особенно усилилась тоска Герцена после июньских расстрелов сорок восьмого года. Рассеялись последние иллюзии, и он уже окончательно убедился, что старый мир, Европа, безнадежно больна. Европа умирает. Уже видишь эти предсмертные конвульсии. «Вот она иногда бессильно усиливается еще раз схватить жизнь, еще раз овладеть ею, отделаться от болезни, насладиться, — не может, и впадает в тяжкий, горячечный полусон». Таков лейтмотив всех произведений Герцена конца сороковых и пятидесятих годов. Мотив этот уже слышится в последних его «Письмах из Франции и Италии» и особенно явственно в книге «С того берега».

«Нам больно сознаться, что мы живем в мире, выжившем из ума, дряхлом, истощенном, у которого явным образом недостает силы и поведения, чтобы под-

¹ См.: А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 6. М., изд-во Академии наук СССР, 1955, стр. 12—18.

² Там же, стр. 27—28.

няться на высоту собственной мысли»... «мир, в котором мы живем, умирает <...> Никакие лекарства не действуют более на обветшалое тело его». И отсюда тот «героический пессимизм», та великая тоска, которая охватила всех, кто обладал «искренностью и независимостью», отвагой бесстрашно смотреть истине в лицо, каким бы ни веяло от нее отчаянием. «Мы живем во время большой и трудной агонии...» «И повсюдная скорбь — самая резкая характеристика нашего времени...»

Когда Версиров говорит Подростку, что он эмигрировал «от тоски, от внезапной тоски», а Подросток его спрашивает: «Что же, Европа воскресила ли вас тогда?», Версиров отвечает: «Воскресила ли меня Европа? Но я сам тогда ехал ее хоронить! <..> Тогда особенно слышался над Европой как бы звон *похоронного колокола*». Это «тогда» определяется довольно точно: «Я не про войну лишь одну говорю и не *про Тюильри*: я и без того знал, что все пройдет, весь лик европейского старого мира — рано ли, поздно ли» (8, 514). Война — франко-прусская, закончившаяся поражением Франции, и «Тюильри» — Парижская коммуна. Эти европейские события последних лет восприняты Достоевским в такой же мере трагически, в какой восприняты были Герценом события сорок восьмого года. Нарушая хронологические пределы романа, они вскрывают ту основу, на которой пессимизм Версирова поднимается в понимании Достоевского до уровня герценовского отношения к Европе.

«О, не беспокойся, я знаю, что это было «логично» <сожжение Тюильри>, и слишком понимаю неотразимость текущей идеи, но как носитель высшей русской культурной мысли я не мог допустить того, *ибо высшая русская мысль есть всепримирение идей*» (5, 514). В отличие от славянофилов, в черновиках несколько раз подчеркивается Версировым, что этой «высшей своей мыслью», «всепримирением идей» русский народ обязан именно Петру I и в этом его великое значение: «Петр Великий нас сделал гражданами Европы, и мы понесли общечеловеческое соединение идей... Горизонт отверзт перед нами Петром». «Всепримирение идей» или еще иначе: *синтез* всех *частных идей*, которые вырабатывает у себя каждая отдельная страна Европы, — вот что является уделом *истинного* европейца. Не противопоставив

ление России Европе, а *вмещение* Россией в себя всей Европы, «всей ее культуры, накопленной всеми народами Запада». И Версиров говорит дальше: «Я скитался один...» Один из той тысячи, которая сумела выработать нигде еще не виданный высший культурный тип, «тип всемирного боления за всех». В Европе людей такого типа еще нет. «Европа создала благородные типы француза, англичанина, немца, но о будущем своем человеке она еще почти ничего не знает». «Тогда во всей Европе не было ни одного *европейца!* <...> Я как русский, был тогда в Европе *единственным европейцем*» (8, 515, 516).

И еще и еще раз утверждается Версировым, что мы не отвергаем Европы, когда говорим о своем всемирно-историческом назначении.

Так утверждает и Герцен. Совершенно как у Версирова, противопоставляется Россия Европе на том основании, что там, на Западе, выработались законченные типы, там каждая страна, «чем ближе он к своему окончательному состоянию, тем больше она считает себя средоточием просвещения и всех совершенств, как Англия и Франция, не сомневающиеся, — в своем антагонизме, в своем соревновании, в своей взаимной ненависти, — что они передовые страны мира». Мы же, в отличие от западных стран, свободны от этой узости. «Многосторонность наша — великое дело». Мы умеем «видеть дальше соседей, видеть мрачнее и смело высказывать свое мнение». Мыслящий русский — «самый независимый человек в свете», самый свободный.

Герцен, этот «нигде еще не виданный высший культурный тип», который умеет видеть дальше соседей и мрачнее, тип «всемирного боления за всех», Герцен остался в Европе «страдать вдвойне, страдать от своего горя и от горя Европы, погибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которому она несется на всех парах» (8, 515). И ему действительно грозила гибель — полное отчаяние, «разъедающее душу, парализующее всякую волю к действию». Спасла его вера в Россию, он «вдруг полюбил ее как никогда прежде». «Вера в Россию — спасла меня на краю нравственной гибели <...> В самый темный час холодной и неприветливой ночи, стоя середь падшего и разваливающегося мира и вслушиваясь в ужасы, которые делались у нас, внутренний

голос говорил все громче и громче, что не все еще для нас погибло, — и я снова повторял гётевский стих, который мы так часто повторяли юношами: «Nein, es sind keine leere Träume?»

За эту веру в нее, за это исцеление ею — благодарю я мою родину».¹

Так же кончаются и странствия Версилова; скитаясь по тому же падшему, разваливающемуся миру, в тоске и в отчаянии, он «вдруг полюбил маму, как никогда», с этой минуты началось его выздоровление.

Исповедь Версилова, в которой показана «высшая мысль общечеловеческого боления», должна быть поднята и на вершину нравственной высоты. Подросток говорит: «Клянусь, что европейскую тоску его я ставлю вне сомнения и не только на ряду, но несравненно выше какой-нибудь современной практической деятельности <...> Любовь его к человечеству я признаю за самое искреннее и глубокое чувство, без всяких фокусов; а *любовь его к маме за нечто совершенно неоспоримое*, хотя, — прибавляется тут же, — может быть, немного и фантастическое» (8, 521). Так именно интерпретирует Страхов и деятельность Герцена. Герцен для него самый искренний писатель, всю жизнь одержимый европейской тоской, «белением за всех», за все человечество. Глубоко искренна была и любовь его к России, *внутреннее* возвращение его на родину; но видел он в ней, по словам Страхова, «поприще для осуществления своих заветнейших дум <...> Идей совершенно ей чужих, совершенно посторонних <...> Он как бы вдруг покидает ясную дорогу и вдается в область мрака *фантазии*».²

В «Колоколе» от 15 января 1861 года напечатан некролог Константина Аксакова, написанный Герценом. В нем так говорится о том главном, что соединяло и что разделяло родоначальников западничества и славянофильства: «У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за *воспоминание*, а мы за *пророчество*: чувство безграничной, обхватывающей все существование, любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума <...> Они всю любовь,

¹ А. И. Герцен, т. 5, стр. 10.

² Н. Страхов. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. I, стр. 119.

всю нежность перенесли на *угнетенную мать*. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а *загнанная крестьянка* <...> Мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. [В ее комнатке было нам душно: *всё почернелые лица из-за серебряных окладов*, всё попы с причтом, пугавшие несчастную, забитую солдатами и псарями женщину; даже ее вечный плач об утраченном счастье раздирал наше сердце; мы знали, что у ней нет светлых воспоминаний]; мы знали и другое — что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш, это — наш меньший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство».¹

Достоевский мог прочитать эту цитату у Страхова, у него же найти и следующие слова Герцена: «И если они <славянофилы> не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром и в которой *сидит Бирон и колотит ямщика, чтобы тот скакал по нивам и давил людей*, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей». Этот символ с фельдъегерской тройкой используется потом Достоевским почти дословно (XI, 168—170), как используются здесь параллели: угнетенная мать-крестьянка, народ, Россия. Сильное безотчетное чувство любви к народу, — у славянофилов оно воспоминание, тянет к прошлому, к этим попам с причтом и почернелым лицам из-за серебряных окладов; у Герцена оно «пророчество» — о том, что счастье этой загнанной, угнетенной матери впереди. Дальше будет видно, что у Достоевского это «чувство любви к народу» не разъединено: оно у него и «воспоминание» и «пророчество».

3

Герцен, как мы видели, оказался намеренно обедненным, чрезвычайно сниженным до уровня «бездеятельного» умного скитальца, в сущности представляющего собой, лишь новую разновидность среди типов «лишних людей» из старой дворянской интеллигенции. Повто-

¹ Н. Страхов. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. I, стр. 117—118. Взятое в скобки у Страхова опущено.

ряем: все тот же тончайший способ борьбы с революцией, с тем Герценом, который нам особенно дорог как деятель, как демократ, как философ, ставивший своим девизом «философию переводить в действие», в жизни, в конкретной действительности проверять значение и ценность той или иной идеи. Получился, в сущности, не Герцен, а пародия на него, такого же приблизительно характера, как пародия на Грановского в «Бесах».

Но именно потому, что Герцен так снижен, и получилась возможность придать некоторые его черты Версилу — в том аспекте, в котором их видел Достоевский. И здесь особенно замечательно, что в художественном воображении писателя, когда созидался образ Версилова, возникал рядом с Герценом еще и тот, кто первый поставил у нас так остро, на широком философско-историческом основании, вопрос о России и Европе, — П. Я. Чаадаев. Разумею его первое «Философическое письмо», в котором Достоевский видел «одно слепое негодование на наше родное, презрение ко всему русскому». Скажем уже сейчас: оценка этого письма у Достоевского абсолютно неверная. Прав, конечно, не он, а Герцен, когда говорит, что негодовал Чаадаев не на «наше родное», а на те условия, которые искажали это «родное», презирал не «все русское», а самодержавный политический режим и вместе с ним «сбитую с толку, запуганную» верхнюю часть общества, по выражению Герцена этих «просвещенных рабов» из дворянской интеллигенции. Достоевский, будет ниже показано, поступит с Чаадаевым точно так же, как он поступил с Герценом, — изымет его из исторической обстановки, использует его в своих целях; Чаадаев окажется таким же обедненным, таким же сниженным, как и Герцен. В словах Версилова, восходящих к чаадаевскому «Философическому письму» — особенно это сказывается в черновых записях, — действительно будет звучать презрение ко всему русскому, в подтверждение все той же заветной идеи автора: беспочвенному рефлектирующему человеку высшей интеллигенции приходится тратить очень большие усилия на преодоление своей гордыни, чтобы хоть только приблизиться к «благообразию» странника из народа, Макара Долгорукого, проповедующего вместо путей революционной борьбы одно лишь самоусовершенствование.

Мы говорим обо всем этом тут же, чтобы с самого

начала ясно было, каково наше отношение как к самому «Философическому письму», так и к той задаче, которую ставил перед собой Достоевский, когда захотел передать Версилкову целый ряд мыслей Чаадаева, а также факты из его биографии.

Что именно мог знать о ней Достоевский, кроме его «Философического письма»? Еще в шестидесятых годах печатались в «Русском вестнике» воспоминания о Чаадаеве Лонгинова. В 1871 году в седьмой и девятой книгах «Вестника Европы» была опубликована С. Жихаревым его биография и там же (в 1871 и 1872 годах) несколько чаадаевских рукописей. В это же время уделяется большое внимание Чаадаеву и Пыпиным в его книге «Характеристика литературных мнений».

Появляется приблизительно за эти же годы много сведений о Чаадаеве и в «Русском архиве». Читал ли все это Достоевский? Конечно, да; во всяком случае то, что печаталось в «Вестнике Европы» в семидесятые годы, ему безусловно было известно. Его всю жизнь интересовал Чаадаев как законченная личность, как тип, но прежде всего как мыслитель; ведь это же сфера вопросов и идей, в которой пребывал и Герцен, и Белинский, и славянофилы, и он сам, Достоевский. Славянофилами взят у Чаадаева самый принцип философии истории — объяснять весь ход развития человечества с точки зрения воплощаемых в нем идей христианства. Можно спорить о качествах и преимуществах той или другой церкви — католической или православной; можно, как это делает Чаадаев в своем первом «Философическом письме», признать культуру западных народов благостной, потому что она одухотворялась деятельным католическим христианством, и отрицать какие бы то ни было культурные ценности за русским народом, поскольку его церковь, отвергая всякий компромисс с жизнью, оставалась все время в летаргии. Можно, наоборот, утверждать, с точки зрения славянофилов, что только православная церковь сохраняла в чистоте и неприкосновенности идею христианства и только русский народ осуществлял в своей истории эту идею в прошлом и осуществит ее в будущем у нас в общечеловеческих размерах, — принцип *религиозный* остается все тот же.

Но к Чаадаеву более позднему, эпохи сороковых годов, восходит ведь и основа мировоззрения Герцена, эта

главная мысль его, которую мы уже знаем, — о том, что у русского народа есть два великих преимущества перед западными: незасоренность психики («русский человек — самый свободный человек в мире») и возможность использовать все культурное богатство, накопленное Западом. Чаадаев первый увидел в этом залог исключительного призвания русского народа, залог того, что народ этот служит хранителем особенного всемирно-исторического начала. Герцен снял с этих мыслей их религиозный покров, перевел на язык социологии и психологии: чаадаевскую «чистоту христианской идеи» («православие») заменил бессознательным социализмом (общиной) и широкостью размаха русской души. И Достоевский, конечно, знал об этой преемственности. Он был в Париже в 1862 году, когда вышло там собрание сочинений Чаадаева вместе с его «Апологией сумасшедшего», в которой эта историческая концепция о всемирном значении русского народа высказана вполне ясно. И тогда же виделся с Герценом.¹ Был Достоевский за границей и в 1863 году; а в годы 1867—1871, когда жил там безвыездно, то уж наверно читал «Былое и думы» и «Развитие революционных идей в России» Герцена, где дан такой прекрасный облик Чаадаева. Напомнил, наконец, Достоевскому об этой преемственности и Страхов в своей книге «Борьба с Западом», с мыслями которой Достоевский был совершенно согласен. Страхов утверждает, что Герцен в статье «Еще из записок молодого человека» изобразил Чаадаева в лице Трензинского, «к которому автор относится с величайшим сочувствием», и что Чаадаев вообще имел «большое влияние на образ его мыслей», то есть Герцена.²

Герцен, Белинский, Грановский и рядом с ними почти всегда Чаадаев, — так сочетаются они все вместе у Достоевского, как люди одной эпохи и, в основе, одних и тех же воззрений. О Чаадаеве сказано рядом с Белинским еще в 1862 году в «Зимних заметках о летних впечатлениях», написанных, как мы знаем, под особым влиянием Герцена: «В жизнь мою я не встречал более страстно-русского человека, каким был Белинский, хотя

¹ См.: А. Долинин.. Достоевский и Герцен. — Сб. «Достоевский», I, Пг., «Мысль», 1923, стр. 275—326.

² Н. Страхов. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. I, стр. 4.

до него разве только один Чаадаев так смело, а подчас и слепо, как он, негодовал на наше родное и, по-видимому, презирал все русское». В том же сочетании упоминается Чаадаев и в «Бесах». «Имя его — Степана Трофимовича Верховенского — многими тогдашними торопившимися людьми произносилось чуть не на ряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Герцена» (7, 8).

В 1870 году образ Чаадаева замелькал перед Достоевским в художественном плане уже явно, как личность, как определенный тип в связи с замыслом «Жития великого грешника». Так, пишет он Майкову в письме от 25 марта: «13-летний мальчик <...> будущий герой всего романа, посажен в монастырь родителями и для обучения <...> Тут же в монастыре посажу *Чаадаева* (конечно, под другим именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев, после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, например, за границей, на французском языке, брошюру — очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие, Белинский, например, Грановский, Пушкин даже».

Подробность, что «Чаадаева свидетельствовали доктора каждую неделю», Достоевский мог, по всей вероятности, узнать еще в сороковых годах в кружке Белинского или у Герцена, из его «Развития революционных идей в России», из «Былого и дум».¹ Чаадаевская биография, написанная Жихаревым, была опубликована после — в 1872 году. Чаадаев как прототип намечен в «Житии великого грешника», «Житие» же генетически связано с замыслом романа об «Атеизме», идеи которого, мы уже знаем, частью переданы Версиллову. И к «Житию» же, к главному его герою, о чем было уже сказано здесь вначале, восходит и образ Подростка. Так тяготеют они все к какой-то общей сфере мыслей и чувств, составляют единую систему образов.

В письме к Майкову, где говорится о начальном замысле «Жития» в самом его зародыше, Чаадаев и «главный герой будущего романа», мальчик, который вскоре

¹ А. И. Герцен, т. 9, стр. 138—147.

станет Подростком, соединены лишь во времени и пространстве. Однако роль, очевидно, предназначалась Чаадаеву с первого момента довольно сложная. Так, Белинский, Грановский и «Пушкин даже» могут встретиться с «13-летним» мальчиком в монастыре лишь случайно, как гости Чаадаева; он же, Чаадаев, должен пребывать там долго, в течение целого года, и автор уже заранее предвидит, что в ходе романа придется резко его деформировать, отступить от исторического его лица. «Ведь у меня же, — читаем мы тут же, в письме к Майкову, — не Чаадаев, я только в роман беру этот тип».¹

«Житие» осталось замыслом неосуществленным. В «Бесах» Чаадаев упомянут лишь мимоходом. Черты его, как нам кажется, оживают именно в «Подростке» после того, как Жихарев опубликовал его биографию, где Чаадаев впервые снят с того высокого пьедестала, на который Герцен везде его ставит. У Герцена Чаадаев-мыслитель почти всегда подавляет Чаадаева-человека. Если Герцен и говорит о некоторых личных чертах его характера, не совсем приятных, то они, черты эти, сейчас же покрываются блеском его остроумия. Жихарев же как бы намеренно, точно в противовес именно Герцену, его снижает. Это тяжеловесный рассказ в старомодном стиле о человеке, с которым он встречается чуть ли не каждый день и может наблюдать за ним во всех его проявлениях, замечать все его слабости. Жихарев — в своей бесталанности — очень искренен и правдив. Он благоговеет перед Чаадаевым, но не хочет его щадить, говорит о нем подчас вещи очень суровые. И образ создается самим читателем яркий и резкий, во всей его сложности и противоречивости.

И здесь очень характерны прежде всего те идеологические моменты, которые встречаются в более ранних черновых записях, касающихся Версилова, а потом, по мере приближения к его исповеди, постепенно исчезают. Крафт кончает самоубийством из-за того, что у него «такая Россия в голове»: «Он вывел, что русский народ есть народ *второстепенный*, которому предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества» (8, 57). Так говорит о

¹ Письма, т. II, стр. 264.

России и Чаадаев в своем первом «Философическом письме»: «Мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого <...> Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, т. е. по такой, которая не ведет к цели <...> Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества <...> В нашем взгляде есть какая-то странная неопределенность, что-то холодное и неуверенное, напоминающее отчасти физиономию тех народов, которые стоят на низших ступенях социальной лестницы».¹

И вот запись в черновиках по поводу «такой России в голове» Крафта: «Крафту Он <Версиров> сочувствует... Он, по-своему, может, и прав: действительно от России застрелиться можно».

Тот же отклик мыслям Чаадаева в словах Версирова, тоже в черновиках: «Свободно думающих или действующих в России я не принимаю и не допускаю: все лакеи, слышишь, лакей, а не рабы. Русская смелость, если и проявится где, то это лишь наглость легкая, при непрерывной трусости за самого себя: как ступить, что сделать».

И в другом месте еще яснее заодно с Чаадаевым:

«Он <Версиров> прямо считает, что самодеятельность русских как народа и русских как личности невозможна и что это дело *доказанное*». Доказано именно у Чаадаева, когда он говорит, что участие русского народа «в общем поступательном движении человеческого разума ограничивалось лишь слепым, поверхностным и часто неискусным подражанием другим нациям <...> Некогда великий человек <Петр I.> захотел просветить нас, и для того, чтобы приохотить нас к образованию, он кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но не дотронулись до просвещения». «В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу. И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, *чтобы послужить каким-то важным уроком для отдельных поколений, которые сумеют его понять*».

На самом же деле, как известно, Чаадаев говорит о

¹ П. Я. Чаадаев. Сочинения и письма. Под ред. М. О. Гершензона, т. II. М., «Путь», 1914, стр. 109—115.

России, а разумеет, конечно, как неоднократно указывал Герцен, не русский народ, а господствующий класс, разлагающееся дворянство, — в гневных его словах негодующий протест против николаевского режима. Прикосновенный к движению декабристов, он к народу относился с неизменным чувством любви и верой в великие его силы и великое его значение.

Одно из самых главных положений Чаадаева, может быть даже самое главное, которое он кладет в основу своего пессимистического отношения к России, — это то, что у русского народа «нет ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри нас». *«Вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего...»*¹ Версиков говорит в одном месте об этом же короче: «У русских нет честных воспоминаний».

Когда Достоевский писал в «Зимних заметках о летних впечатлениях», что «только разве один Чаадаев так смело, а подчас и слепо <...> негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал все русское» (4, 67), то он, конечно, имел в виду его первое «Философическое письмо», где все преимущества западных народов перед русским объясняются только идеей христианства, воспринятой ими в форме именно католической деятельной церкви, единственно деятельной. Так в одном месте Достоевский и характеризует Версикова: «Рядом с *католической* ограниченностью, деспотизмом и нетерпимостью, рядом с презрением к своей земле — есть упорство, почти энтузиазм в преследовании идеи, во взгляде на мир». «Этим энтузиазмом и упорством в преследовании идеи, во взгляде на мир» письмо Чаадаева проникнуто насквозь.

И дальше черты *личного* характера. Про Версикова сказано в черновиках: «Рядом с *высочайшею и дьявольскою гордостью* (нет мне судьи) есть и чрезвычайные суровые требования к самому себе, с тем только, что никому не даю отчету. *Наружная выработка весьма изящна: видимое простодушие, ласковость, видимая*

¹ П. Я. Чаадаев, т. II, стр. III.

терпимость, отсутствие чисто личной амбиции. А между тем все это из *надменного* взгляда на мир, из непостижимой вершины, на которую Он сам самовластно поставил себя над миром. Сущность, например, та: «меня не могут оскорбить, потому что *они мыши*. Я виноват, и они это нашли, ну и пусть их, и дай бог им ума, хотя на время, потому что они так ничтожны, так ничтожны».

Это почти точно совпадает с портретом Чаадаева по Жихареву. Чаадаев на людях и с людьми, как и у себя в кабинете, горд, топко умен и глубоко проникателен. Презируя людей, он в то же время, если захочет, умеет быть ласковым; любовь и обожание он принимает как должное, особенно со стороны женщин, но взаимностью никому не отвечает. Он *«чудовищно эгоистичен»*, иногда позволяет себе поступки настолько сомнительные, что заставляет подозревать его даже в неискренности проповедуемых им идей. И все же, несмотря на все эти недостатки, Чаадаев обаятелен; от него исходит какая-то покоряющая сила, как от носителя высокой мысли; его принимают таким, как он есть, ему ничто не ставится в укор.¹

Про Версилова в одной из записей сказано: «Подросток мучается от Его замкнутости, гордости, загадочности и бесчеловечности, нелюбности к людям... Эгоист и гордец, который никого не любит». С этой чертой крайнего эгоизма проходит Версиров по всему роману; так сказано о нем и в окончательном тексте: «Версиров ни к какому чувству, кроме безграничного самолюбия, и не может быть способен». Это отражается даже на его стиле. «Ужасно как вы любите отвлеченно говорить, Андрей Петрович, — замечает ему Подросток, — это эгоистическая черта: отвлеченно любят говорить одни эгоисты». А в обычной жизни, в быту, «живет лишь один Версиров, и всё остальное кругом него и всё с ним связанное прозябает под тем непременно условием, чтоб иметь честь питать его своими силами, своими живыми соками» (8, 138—139).

Подчеркивается в романе несколько раз, что Версиров «прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупных, всего тысяч на четыреста с лишком и, пожалуй, более. Теперь у него, разумеется, ни копейки!»

¹ См.: «Вестник Европы», 1871, кн. 7. стр. 180—181.

(8, 7). Но он продолжал жить со множеством прежних довольно дорогих привычек. «Он брюзжал ужасно <...> и все приемы его были совершенно деспотические. Но мать, сестра, тетка и все семейство Андроникова, состоявшее из бесчисленных женщин, благоговели перед ним, как перед фетишем». Тетка здесь особенно выделяется. О ней говорится, что она всегда откуда-то появлялась, когда ему только нужно было. Смотрела за его именем. Когда он, прожив три наследства, оказался без копейки, она потратила на него половину из последних своих пяти тысяч. Словом, «она служила ему как раба, преклонялась перед ним, как перед папой». И дальше, его внешний портрет. Он чрезвычайно *красив. Подросток особенно подчеркивает изящные его манеры, его исключительное умение одеваться*. Он — любимец общества. Его оригинальный, проницательный ум, хотя и едкий, делал его украшением известного круга *московского* высшего общества, в котором он с «влиятельными знатными людьми особенно умел во всю жизнь поддерживать связи».

Все это почти детально совпадает с тем, что говорится о Чаадаеве в его биографии. Жихарев с эгоизма и начинается: «*Украшая собою известный круг знакомства*, он в то же время делался в нем довольно тяжелым, давая волю своему эгоизму до несносности». Через страницу: «Этот эгоизм <...> к концу его жизни получил беспощадный, хищный характер, сделал все без исключения близкие, короткие с ним отношения тяжелыми до нестерпимости и был для него самого источником многих зол и тайных, но несказанных нравственных мучений».¹ Биографу это «жестокое, немилосердное себялюбие кажется врожденным, но оно особенно тщательно было в нем возделано, взлелеяно и вскормлено сначала угодливым баловством тетки, а потом и баловством всеобщим». Дальше, в другом месте, сказано, что особенно *его баловали женщины, которые перед ним благоговели*. «Тетка заботилась во всю жизнь о его благосостоянии, поддерживала его, когда он растрачивал свои *три богатые наследства и впадал почти в нужду*».

Чаадаев начал свою молодость как один «из наиболее светских, и может быть, и самых блистательных из

¹ «Вестник Европы», 1871, кн. 7, стр. 181.

молодых людей в Москве»; был очень красив, своенравен и горд. Когда он кончил университет и поступил в *гвардейский* полк (кстати, Версиков тоже по окончании университета поступил в этот же полк), сослуживцы по гвардейскому корпусу его прозвали «le bel Thadajeff». Его охотно принимали в самом высшем свете, где он «пользовался глубоким и безусловным уважением, как человек замечательно образованный, чрезвычайно находчивый в разговоре и гениально-умный».

Рассказывается у Жихарева довольно подробно и об его *крайне изящных манерах*, и об его одежде. «Одевался он, можно положительно сказать, как никто. Нельзя сказать, чтобы одежда его была дорога <...> Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда, ни после, ни прежде, не видел никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы столько достоинством и грацией своей особы придавать значение своему платью». Впрочем, следует примечание: «разным портным, сапожникам, шляпных дел мастерам и тому подобным лицам он платил очень много, и гораздо больше, нежели следовало, беспрестанно переменяя платье, а иногда просто по привычке без всякого толка тратить деньги». «Без всякого толка» он и потратил три наследства, из которых одно, оставшееся от родителей, стоило около полмиллиона ассигнациями, другое тоже довольно ценное.¹

И еще несколько совпадений. Крафт рассказывает Подростку историю Версикова с Лидией Ахмаковой. Это была «болезненная девушка лет семнадцати, страдавшая расстройством груди и, говорят, чрезвычайной красоты, а вместе с тем и фантастичности». В исповеди Версикова дается ее портрет: «лицо худое и чахоточное и, при всем том, прекрасное: задумчивое и, в то же время, до странности лишенное мысли... Похоже было на то, что существом этим вдруг овладела какая-то неподвижная мысль, мучительная именно тем, что была ему не под силу». Она «почему-то особенно привязалась к Версикову. Он проповедовал тогда <...> какую-то новую жизнь, был в религиозном настроении высшего смысла». Болезненная девушка «влюбилась в Версикова, или чем-то в нем поразились, или воспламенилась».

¹ «Вестник Европы», 1871, кн. 7, стр. 182—183.

его речью». Версиров говорит о ней, что ото была не женщина», с глубоким страданием и нежностью называет ее несчастной.

Этот эпизод с Лидией Ахмаковой, в романе совершенно лишний, находит себе полную аналогию в биографии Чаадаева же. Жихарев так об этом рассказывает: когда Чаадаев вернулся из-за границы, одержимый уже своей религиозной идеей, «его полюбила молодая девушка из одного соседнего семейства. Болезненная и слабая, она <...> нисколько не думала скрывать своего чувства, откровенно и безотчетно отдалась этому чувству вполне, и им была сведена в могилу <...> Не знаю, как он отвечал на эту привязанность <...> Но перед концом он вспомнил про нее, как про самое драгоценное свое состояние, и пожелал быть похороненным возле того нежного существа, для которого был всем».¹

Жихарев говорит: «Об этом, как Чаадаев был избалован женщинами, можно было бы исписать несколько страниц». На женщин особенно действовала его речь, внешне холодная, за которой, по выражению Герцена, ощущалась «страсть под ледяной корой».² И к ним он, очевидно, охотнее всего обращался. Из его писем, опубликованных в 1871 году, когда Жихаревым была напечатана его биография, и в том же «Вестнике Европы», Достоевский мог узнать, что первое его «Философическое письмо» с проповедью религиозных воззрений действительно было адресовано женщине, по фамилии Панова, отношения с которой Чаадаева Лонгинов называет «близкой приятнью». «Они встретились нечаянно. Чаадаев увидел существо, томившееся пустотой окружающей среды, бессознательно понимавшее, что жизнь его чем-то извращена, инстинктивно искавшее выхода из заколдованного круга душившей его среды. Чаадаев не мог не принять участия в этой женщине; он был увлечен непреодолимым желанием подать ей руку помощи, объяснить ей, чего именно ей не доставало, к чему она стремилась невольно, не определяя себе точно цели». Дом этой женщины был почти единственным привлекавшим его местом, и «откровенные беседы с ней проливали в сердце Чаадаева ту отраду, которая неразлучна с обществом милой женщины, искренно предающейся чувст-

¹ «Вестник Европы», 1871, кн. 9, стр. 15.

² А. И. Герцен, т. 9, стр. 142.

ву дружбы». Злые языки могли бы и Чаадаева назвать «бабьим пророком», как называют в «Подростке» Версилова.

В окончательном тексте Версиров, его роль проповедника рисуется намеренно пародийно в легкомысленных словах старого князя Сокольского: «Веришь ли, он тогда пристал ко всем нам, как лист: что, дескать, едим, об чем мыслим? Пугал и очищал: «Если ты религиозен, то как же ты не идешь в монахи?» Почти это и требовал <...> Это все после *трех лет его за границей* с ним произошло. И, признаюсь, меня очень потряс... и всех потрясал <...> Он там в католичество перешел <...> *Он вериги носил*» (8, 41—42). В черновиках эта роль проповедника представлена в плане очень серьезном. Катерина Николаевна Ахмакова рисуется там вначале, как и Панова, тоже женщиной, томившейся пустотой окружающей среды, бессознательно понимавшей, что жизнь ее извращена, инстинктивно искавшей выхода. И Версиров, только что обретший «новую истину» (перешел в католичество, стал носить вериги), тоже, как и Чаадаев, был увлечен «непреодолимым желанием подать ей руку помощи, объяснить ей, чего именно ей не доставало, к чему она стремилась невольно, не определяя себе точно цели». По одной черновой записи, проповедь его настолько на нее подействовала, что *она решила уйти в монастырь*.

К факту же из биографии Чаадаева восходит, быть может, отказ Версирова от дуэли с молодым Сокольским, как говорит Подросток, «по каким-то там своим убеждениям» — разумеется, конечно, по этим новым, религиозным, к которым он только что пришел за границей. Жихарев рассказывает, как одно «довольно знатное лицо предложило Чаадаеву дуэль и он отказался от нее... приводя причину отказа *правила религии и человеколюбия* и простое нежелание».

Гордость, пренебрежение к людям; у них обоих (у Версирова, как и у Чаадаева) чудовищный эгоизм при огромном уме и замечательном остроумии; та же роль в обществе, те же манеры; обилие одинаковых фактов биографических, и главное, повторяем, та же основная идея, та же эволюция ее и те же доказательства этой рдеи — при несомненном интересе автора к Чаадаеву как к мыслителю в продолжение всей жизни, а в плане

художественном — как к типу — совсем недавно, в «Житии великого грешника», с которым, как мы видели, «Подросток» связан органически. Все это, вместе взятое, думается мне, является достаточно убедительным.

Разумеется, я и здесь отнюдь не утверждаю *прототипности*. Версилов, конечно, не списан ни с Чаадаева, ни с Герцена. Речь идет только о той высокой сфере мысли, при крайней психической сложности этих двух исторических лиц, о которой безусловно думал Достоевский и на которую ориентировался, когда перед ним стоял вопрос об исторической основе образа Версилова. Герцен и Чаадаев — лишь как материал, в такой же мере художником деформированный, как и другие материалы, претворенные в этом центральном герое, носителе основной смысловой тяжести романа. В *иной* быт, в *иную* обстановку, в *иную* историческую эпоху и совершенно в другой сюжетной ситуации перенесены эти черты и факты из жизни Чаадаева и Герцена, потому, конечно, и функции этих черт и фактов, как и эмоциональная окраска, совершенно другие.

4

От Чаадаева к Герцену — так представляется нам эволюция, которую претерпевает образ Версилова в ходе работы над романом. Эволюция идет главным образом в плоскости идеологической, и идеология у Достоевского всегда влечет за собою психологию, в которую она должна воплотиться. Вначале Версилов наделен идеями Чаадаева и, соответственно, чертами его характера и фактами из его биографии. Черты в основном остаются, но, освещенные новым светом герценовских идей, особенно полно сказывающихся в «Исповеди», они теряют свою прежнюю жесткость. Образ Версилова, при всем «чудовищном эгоизме», становится обаятелен в своей крайней противоречивости, как носитель высокой мысли, русской национальной идеи, объединяющей в себе все частные идеи западных народов. Он — носитель русской мысли. Хотя не в нем ее воплощение, — он только *носитель*; воплощение, как будет вскоре показано, в человеке из народа: но мысль, национальная русская идея, в понимании Достоевского, так высока, так «светоносна», что достаточно одного лишь постижения ее,

одного стремления проникнуться ею, чтобы герой был поднят на большую умственную и нравственную высоту.

Но этот «чудовищный эгоизм» Его как должен теперь проявляться в сюжете? До сих пор Он мог совершать преступления, невероятные по своей жестокости: насилует падчерицу Лизу; молодой князь предлагает Ему продать жену; вместе с Ламбертом Он шантажирует княгиню, жену старого князя; в семье, среди сводных детей, имеется маленький мальчик, которому Он раздирает рот за то, что тот не хочет Ему подчиняться; мальчик, как и Лиза, кончает самоубийством и т. п. Как же согласовать Его умственную высоту, Его высшую идею с такими чудовищными действиями? Точно карточный домик, рушится все это сюжетное построение.

Но художник упорствует. Начинается лихорадочное метание, какая-то дикая путаница; то «Он <Версилов> развратнейший человек», «имел Лизу фактически»; то «Лиза Ему не отдается», и Он «ходит как ужаленный»; жена сбежала к молодому князю и потом умерла; мальчик сбежал и утонул, Лиза «отдалась в бешенстве молодому князю», по этому случаю дуэль; по другой версии — отдалась Подростку; жена или дочь старого князя, будущая Ахмакова, не то была Его, Версилова, любовницей, не то прогнала Его после того, как Он назначил ей свидание в каком-то вертепе; Он мстит ей и опять в интриге против нее вместе с Ламбертом; в интриге участвует и Лиза, ревнуя Его к княгине; участвует зачем-то и Подросток; вся вторая половина августа и начало сентября ушли на это кружение в угаре каких-то диких страстей.

8 сентября среди записей впервые появляется странник Макар Долгорукий — фамилия его пока еще Макаров, — и все начинает меняться. Точно усеиваются больные страсти; герои и героини впервые размещаются твердо по своим социальным категориям и, соответственно, по тем основным идейным началам, которые они должны собою символизировать. Выпадает прежде всего самый главный узел преступлений в прежней сюжетной концепции: Лиза уже не падчерица, а родная дочь — от Макаровой, очевидно официальной жены странника, дворового крестьянина. Точно для того, чтобы оборвать все старые ассоциации, связанные с именем Лизы, она называется теперь Олей, и дается ей такая

характеристика: «Оля — ангельский тип. Запуганная»; раньше о ней в черновиках часто говорилось, что она тоже, как и Он, «хищный тип». Про жену, уже не княгиню, убегающую к молодому князю, а крестьянку Макарову, сказано так: *«Мать — русский тип (огромный характер) и забитые и покорные, и твердые, как святые»*. Это уж совершенно совпадает с образом ее в окончательном тексте.

Найдена, в лице странника Макара, идейная вершина, символ исконной народной правды, с точки зрения которой всё и все становятся на свои места. Это своего рода Платон Каратаев, воплощающий в себе, при всей своей эпизодичности, основу идейной концепции «Войны и мира» Толстого. Как Пьер Безухов устанавливается на Каратаеве, в нем обретает ответ на вопрос о смысле жизни, так и Подросток, ища «благообразия», в страннике Макаре находит его источник, и теперь он знает, к чему стремился и как дальше ему жить.

Точно в гордом сознании найденного наконец верного пути, Достоевский так интерпретирует теперь содержание романа: «В романе *все элементы*: цивилизованный и отчаянный, бездеятельный и скептический, высшей интеллигенции — Он <Версиров>. Древняя святая Русь — Макаровы. Святое хорошее в Новой Руси — тетки». В окончательном тексте тетка, Татьяна Павловна, духом твердая, с чувством собственного достоинства, живущая трудами своих рук. «Захудалый род—молодой князь (скептик и проч.). Высшее общество — *смешной и отвлеченно идеальный типы*. Молодое поколение, Подросток — лишь с инстинктом, ничего не знающий. Васин — безвыходно идеальный. Ламберт — *мясо, материя, ужас*».

Макар Долгорукий все осветил собою.

Но откуда взят, в его специфических чертах, этот образ, этот носитель народной правды в трактовке, для Достоевского вовсе необычной? В «Бесах» он — «архиерей» на «спокое», живет в стороне от монастыря, в скиту; в «Братьях Карамазовых» он — старец Зосима, иеромонах — тоже в скиту. Оба они лица духовные. Лишь здесь, в «Подростке», он — странник, «бродяжка», *из крестьян*, «скитается вот уже тридцать лет».

Всего за несколько дней до первого упоминания о Макаре появился вторично в черновиках туманный об-

лик однажды уже упомянутого швейцара или Швейцарова, того самого, который сжег свою жену на плите: «Елейный швейцар учит Подростка именно презрению богатства и большого ума и указывает счастье и свободу в обладании волею». Про него сказано тут же: «молитель (великий характер)». Это, конечно, отдаленный портрет Макара. Этому Швейцарову дается встреча с Васиным, одним из главных, как мы знаем, идеологов в кружке долгушинцев. «И что же, — читает мы, — Швейцаров вполне подтверждает его учение, кроме того, чтобы все рассыпалось: оно само собою рассыплется». Васин заметил по этому поводу Подростку: «Или он ничего не понял, или он понимает больше, чем я, во всяком случае у него какая-то своя идея. Эти люди самые опасные». Понятие идеи социализма мы находим также и у Макара. Не подлежит сомнению, как уже было указано, что к этой же группе относится и явившийся в самом начале работы над планом идеальный учитель Федор Федорович, о котором было в свое время подчеркнуто, что народ «совершенно и *прямо* признает его за своего». Это все начальные наброски, *еще не лица*, а слабые чертежи.

Когда Версиров впервые говорит о Макаре, то он рисует его так: «Этот Макар чрезвычайно осанист собой и, уверяю тебя, чрезвычайно красив. Правда, стар, но: *«Смуглолиц, высок и прям»*».

Эта строка из некрасовского стихотворения «Влас» взята в кавычках. Так указывает сам автор, к кому восходит его странник. *Восходит*, но не сливается с ним; наоборот, в основном резко ему противопоставлен. Создается образ не по способу уподобления, а по способу отталкивания.

Влас для Достоевского в эти годы фигура колоссальная, неизменный символ встревоженной человеческой совести, ищущей правды. В таком именно смысле он интерпретирует его несколько раз в «Дневнике писателя» за 1876 и 1877 годы.

«Некрасов создал своего *великого Власа*», — пишет Достоевский. Великого именно тем, что все наши «искатели истины и правды, все эти новые люди наши в нем находят свое воплощение». Так Влас вырастает в символ правды уже *всенародной*, как и странничество его — в символ *распространенности* этой правды, ее «разлито-

сти» по всей России: «от Каспия широкого до царственной Невы».

И снова об этом моменте перелома в отношении Достоевского к Некрасову в связи с «Подростком». Года полтора тому назад в «Гражданине», в период наибольшего расхождения с «идеями века сего», Достоевский заговорил о Власе впервые для того, чтобы показать, как Некрасов намеренно испортил эту «величавую фигуру», вызвавшую восторг даже из его «высоколиберальной души», испортил, «страха ради либерального», как и подобает «общечеловеку», русскому *gentilhomme*'у, который не может не «кривляться», когда говорит о простом народе (XI, 31—32). Комментируется стихотворение в таком комическом стиле: «У этого Власа, как известно, прежде «бога не было» <...> «Побоями в гроб жену свою вогнал, промышляющих разбоями, конокрадов укрывал»; даже и конокрадов — пугает нас поэт, впадая в тон набожной старушки. Ух, ведь какие грехи! Ну, и грянул же гром. Заболел Влас и видел видение, после которого поклялся пойти по миру и собирать на храм. Видел он ад-с, ни мало, ни меньше: «видел светопреставление, видел грешников в аду: мучат бесы их, проворные, жалит ведьма-егоза. Ефиопы — видом черные, и как углие глаза <...> Одним словом, невообразимые ужасы, так даже, что страшно читать. «Но всего не описать» <...> «Богомолки, бабы умные, могут лучше рассказать» <...> Вот из-за таких-то, в конце концов, бабьих пустяков «вырастают храмы божий по лицу земли родной». «О, поэт! — восклицает Достоевский, — (к несчастью, истинный поэт наш), если бы вы не подходили к народу с вашими восторгами» (XI, 31).

Так был использован «Влас» для уязвления Некрасова сравнительно недавно. А теперь, в период создания «Подростка» для «Отечественных записок», «Влас» оказывается совершенно и до конца приемлем, и не только вообще, как символ «искателя правды», но и в понимании именно Некрасова. Я разумею второй вариант этого образа в «Подростке», во вставной новелле о купце Скотобойникове, которую рассказывает Макар Долгорукий.

Еще в «Гражданине», несмотря на основную цель свою на «Власе» сводить счеты с Некрасовым как с идейным врагом, Достоевский выделяет курсивом несколько стихотворных строк, особенно прекрасных:

«Смуглолиц, высок и прям» (чудо, как хорошо!)). И дальше: «*ходит он стопой неспешною... сам с собой все говорит и железною веригою тихо на ходу звенит*». Чудо, чудо, как хорошо! Даже так хорошо, что точно и не вы писали», — обращается Достоевский к Некрасову (XI, 32). В «Подростке» эти подчеркнутые места как раз и распределены по этим двум вариантам: «Смуглолиц, высок и прям» — отдано Макару Долгорукому; «сам с собою говорит...» — угрюмость, отъединенность — купцу Скотобойникову.

Макару Долгорукому, непосредственно участвующему в развитии сюжета, нужно дать и внешний портрет. Скотобойников же отодвигается в даль легенды, о нем, предупреждает автор, «рассказывается его слогом», слогом Макара, «материальный» образ его поэтому может быть зыбким. Первый вариант внутренне, психологически резко контрастирует Власу; второй полностью с ним сливается, почти до тождества. Получается, точно Достоевский продолжает и здесь полемику с Некрасовым, но не потому, что образ Власа им испорчен «страха ради либерального». Полемика переносится в иную плоскость: да, Влас прекрасен, «чудо, как хорош» и до конца хорош (Скотобойников), только он не исчерпывает всех типов странников. Есть ему и во всем противоположные, которые не то что тревожно ищут правды, а как бы носят ее в *себе*, носят ее радостно, приемля весь мир, все окружающее (Макар Долгорукий).

Влас — образ суровый, замкнутый, от мира отъединенный. Был он угрюм и жесток до своего перерождения: «нрава был крутого, строгого»; остался он таким и после. «Весь в веригах... полон скорбью — неутешною... сам с собою говорит». Жестокость превратилась в самоистязание, в аскетическое мучительство: не других, а самого себя, но все же *мучает*. В Макаре же Долгоруком прежде и больше всего поражает его улыбка, его тихий смех, «светлый, веселый след» которого остаётся надолго «в его лице и, главное, в глазах, очень глубоких, лучистых, больших <...> окруженных бесчисленными крошечными морщинками». Я встретил в нем, говорит Версилов, «именно то, чего никак не ожидал встретить: какое-то благодущие, ровность характера и, что всего удивительнее, чуть не *веселость*» (8, 145). Веселость — это основа мировосприятия Макара, как бы один из

атрибутов его божества, понимаемого им как любовь, разлитая во всей окружающей жизни. Доктора в присутствии старика называют безбожником: «Ну уж, все вы, докторишки, безбожники!» — «Макар Иванович, — вскричал доктор <...> — безбожник я или нет?» — «Ты-то безбожник? Нет, ты — не безбожник, — степенно ответил старик, пристально посмотрев на него, — нет, слава богу! <...> ты человек *веселый*». — «А кто весел, тот уж не безбожник?» — иронически заметил доктор. — «Это в своем роде — мысль», — заметил Версилов, но совсем не смеясь. — «Это сильная мысль, — воскликнул я невольно, поразившись идеей», — рассказывает Подросток (5, 411—413).

Веселость — радость от людей и всей окружающей жизни, именно полная противоположность аскетизму как идеалу, неотрывная связанность с реальной действительностью. Когда Подросток развивает перед странником картину полезной деятельности ученого, медика или вообще «друга человечества в мире», то приводит его в сущий восторг: «*так* милый так, благослови тебя бог, поистине мыслишь». И в еще больший восторг приходит странник от идеи о будущем счастливом общественном строе. Излагает их ему «с величайшим жаром» тот же Подросток и после записывает: «До сих пор вспоминаю с удовольствием о чрезвычайном впечатлении, которое я произвел на странника. Это было даже не впечатление, а почти *потрясение*. При сем он страшно интересовался историческими подробностями: «Где? Как? Кто устроил? Кто сказал?» (8, 426). Скажем, между прочим, здесь очень характерен вопрос Макара: «Кто устроил?» Разумеется, конечно, Кабэ, один из властителей умов все тех же людей сороковых годов, социалистов-петрашевцев.

Нет надобности останавливаться здесь подробно на всем своеобразии концепции христианства у Достоевского, которую, как и концепцию Льва Толстого, Константин Леонтьев назвал иронически «розовым христианством» — в противоположность аскетическому, именно жестокому, «пустынному», монашескому, византийскому христианству. Можно примирить противопо-

¹ К. Леонтьев. Наши новые христиане. Собрание сочинений, т. 8. М., 1912, стр. 151—217.

ложности. Смысл здесь ясен: народнические идеи «новых людей», стремящихся к общественной правде, вполне согласуются с идеалами в духе неохристианства утопических социалистов сороковых годов. И пусть будут принесены в жертву традиции, сложившиеся в течение всей истории христианской церкви, особенно восточной. По К. Леонтьеву, считавшему себя, как и Победоносцева, поборником истинного православия, это даже не христианство. Так и подчеркивает он, что «святые» в романах Достоевского никогда не молятся, не бывают ни на каких церковных службах. Именно — народный идеал, в страннике воплощенный, вовсе *не вне жизни*, забота и дума *не только о себе, о своем спасении, а о спасении всего мира, всего человечества, об его благоустройстве*. В этом, самом идеальном, образе странника Макара из народа признание — принципиальное — большой доли правды за тем самым лагерем, который до сих пор был до конца враждебен; это правда потому, что, оказывается, о том же мечтает и крестьянство, народ, хотя и не приемлет он «путей насилия и крови». Да, Влас Некрасова — «великое создание»; странник Долгорукий—тот же Влас, но психологически и идейно совершенно иначе осмысленный, перенесенный из узкой и тесной сферы угрюмой сосредоточенности на широкий простор восприятия и любви ко всему и всем. Получается, как будет дальше сказано об этом подробно, полемика в недрах самих «Отечественных записок», с использованием в этой полемике образа, созданного самим же Некрасовым.

Но странник Макар Иванович как символ — это верхушка, наиболее передовая часть крестьянства, наиболее культурная в исторически сложившихся условиях. Он «науки уважает очень, — говорит о нем Версилов, — и из всех наук любит больше астрономию». И еще: «При совершенном невежестве, он вдруг способен изумить неожиданным знакомством с иными понятиями, которых бы в нем и не предполагал» (8, 427).

В народной толще, еще не поднявшейся до того уровня, на котором должно произойти слияние интеллигенции с народом, высшей европейской мысли с народной правдой, по Достоевскому с коммунизмом, но христианским, — там глубже всего стремление к *личной* святости, к покаянию, к искуплению своих грехов жерт-

вой, мученичеством. В отличие от славянофилов, по Аполлону Григорьеву, купечество старое, не порвавшее еще с народным бытом, — тот же народ. В эту среду и переносится образ угрюмого Власа, раскрываясь в целой новелле о купце Скотобойникове. Кулак, мироед превращается в мелкого фабриканта, соответственно этому несколько меняются и грехи.

Влас «побоями в гроб жену свою вогнал... у всего соседства бедного скупит хлеб, а в черный год не поверит гроша медного, втрое с нищего сдерет»... пугает нас поэт, впадая в тон набожной старушки», — издевался тогда, в «Гражданине», Достоевский.

И вот грехи Скотобойникова: про супругу его «был слух, что усахарил он ее будто еще на первом году <...> А народ рассчитывал произвольно: возьмет счеты, наденет очки: «Тебе. Фома, сколько?» — «С рождества не брал, Максим Иванович, тридцать девять рублей моих есть». — «Ух, сколько денег! Это много тебе; ты и весь таких денег не стоишь <...> десять рублей с костей долой, а двадцать девять получай»... И молчит человек <...> все молчат...» И вот он, как и Влас, тоже в конце дней своих кается, раздает все свое имение и «подвизается в странствиях и терпении...».

Превращение Власа было внезапное, заболел и видел видение. «Видел он ад-с, ни мало, ни меньше»: эфиопов, видом черных, ведьму-егозу... и тому подобные «бабьи пустяки». Только здесь отступил Достоевский от Некрасова, отказался от его «лубка». Но это его отступление уже не идеологическое, а художественное. Видение Скотобойникова гораздо тоньше и глубже: погибший из-за него отрок стал приходить к нему, являться во сне; тут-то он и начал «сам с собой все говорить» и решился наконец на власовский подвиг: на то же самоистязание, на «странствия скорби великие».

Глава VI. Симптомы разложения

Началось с идеального учителя, Федора Федоровича, атеиста, мечтающего о разрушении современного буржуазного строя, закончилось образом странника из на-

рода, Макара Долгорукого. В нем нашла свое завершение центральная тема романа о Востоке и Западе, о роли России в грядущих судьбах человечества. Так своеобразно воплотился в художественном воображении писателя давнишний его лозунг с самого начала шестидесятых годов — будущее нашей страны в слиянии интеллигенции с народом. И никогда еще так не ощущалась необходимость этого слияния, как сейчас, когда явно обнаружились симптомы разложения всего современного общества.

Роман и должен быть весь проникнут этой современностью. Идеи, которые в нем раскрываются, должны освещать факты из окружающей действительности. Хождение в народ революционно настроенной молодежи, процесс долгушинцев; Парижская коммуна; разговоры о разваливающейся государственной машине, о социализме и коммунизме — все это отражение того, что там, внизу: «хаос зашевелился». Больны духом все общественные классы.

Объявились — в эти голы формирования замысла романа — зловещие признаки страшной болезни, охватившей все слои общества. В черновых записях неоднократно читаем: «во всем разложение». Вместе со старым феодально-патриархальным строем стали быстро разрушаться и прежние нравственные устои. Ослабела сила жизни, особенно заметно — у тех, кто еще вчера занимал господствующее положение. Началась эпидемия самоубийств, и самое страшное — не только среди дворян и интеллигенции; стрелялись, топились и вешались купцы, крестьяне, рабочие. Это особенно тревожило.

8 апреля 1874 года стало известно, что покончил самоубийством камер-паж пажеского корпуса. Он вел буйный образ жизни, кутил, и его из корпуса исключили. Отец прислал ему из Москвы «сердитое письмо», после этого юноша застрелился. В Тифлисе покончила самоубийством дочь полковника, «богатая, образованная, любимица семьи». В Шавлях «умертила себя любимая жена» заседателя Тельшевской полиции. В Петербурге девушка покончила самоубийством от безнадёжной любви к человеку, с которым не была даже знакома.

¹ «Гражданин», 1874, № 13—14.

Она знала о невозможности когда-либо сойтись с ним и «решилась покончить со своими страданиями и с жизнью».¹

Журнал «Гражданин» сообщал подобные сведения преимущественно о дворянах. «Русский мир», либеральный «Голос» — и о других сословиях. В Тифлисе «лишил себя жизни» учитель математики Владиславлев. Он имел на своем попечении двух братьев и родителей и крайне нуждался.² В Пскове повесился молодой человек двадцати одного года. В его бумагах найдена записка: «Если справедливо, что ты меня так любишь, как говорил вчера вечером, то докажешь это тогда, когда найдется в тебе решимости удавить себя».³ Он доказал свою любовь и повесился.

В «Голосе» эти случаи самоубийства регистрируются почти из номера в номер. В Пскове, в гостинице «Париж», остановился молодой человек с девушкой. Через некоторое время она уехала и отвезла письмо его к родителям, в котором он извещает их, что через два часа застрелится.⁴ Служанка генеральши Р—ской, Екатерина Сиверцева, шестнадцати лет, вдруг, без всякой причины, 26 августа отказалась от места и ушла, оставив для сестры тетрадь, в которой было написано, что жизнь ей надоела и она решила покончить самоубийством.⁵

1 октября застрелился какой-то поручик, по фамилии Моровой, сорока лет. Осталась записка: причина моей смерти — азартная игра.⁶

«10-го октября, вечером, был найден повесившимся в своей комнате сын тайного советника Сергей Фанстель 15 лет».⁷

Отставной унтер-офицер Васильев женился на вдове, у которой была дочь шестнадцати лет. Он влюбился в падчерицу, но та не ответила ему взаимностью. В ночь на 11 октября Васильев выстрелил в нее из револьвера и сам застрелился.⁸

¹ «Гражданин», 1874, № 23.

² «Русский мир», 1874, № 192.

³ Там же, № 210.

⁴ «Голос», 1874, № 240.

⁵ Там же, № 273.

⁶ Там же, № 309.

⁷ Там же, № 282.

⁸ Там же, № 297.

В ночь на 6 ноября, в 11 часов, покончил жизнь самоубийством бывший лакей крестьянин Амосов. Самоубийство совершено из ревности. Амосов находился в близких отношениях с кухаркой Адамовой. У нее от него был ребенок. В последнее время она к нему охладела и перестала его принимать. 5 ноября он купил на Александровском рынке нож, написал на клочке бумаги стихи: «Сей локон дорог для меня, и с ним пойду в могилу я», завернул в эту бумажку локон ее волос и пришел к ней проститься. Но Адамова и на этот раз его не приняла, и он перерезал себе горло.¹

В ночь на 22 ноября найден повесившимся тринадцатилетний мальчик, сын отставного поручика. Он учился в гимназии и последнее время очень грустил, что ему не удалось сдать экзамен для перевода в следующий класс.²

Ученик сапожного мастера был вынут из петли и отправлен в Петропавловскую больницу. Когда он поправился, решили препроводить его через полицию к хозяину. Но в участке мальчик снова пытался удавиться. Причина двойного самоубийства — он разбил ламповое стекло и боялся наказания.

Крестьянская девочка, четырнадцати лет, в няньках, совершив какой то проступок, из страха наказания бросилась в «люк ретирадного места».³

Самоубийств становится все больше и больше. В «Русском календаре» на 1875 год Суворина, на основании сведений, доставленных А. Ф. Кони, помещена на эту тему большая статья, написанная в «бесстрастном. научном тоне» и потому тем более жуткая.

Автор начинает с описания разных петербургских увеселений, чтобы противопоставить им эти пугающие факты, которые «происходят там, в глубине, под этим легким блестящим покровом». «Комедии, драмы, оперы, оперетки, балы и вечера... Словом, все обстоит благополучно; «комедия» кипит, «событий» бездна! И вдруг, среди этого беззаботного веселья и разгула, словно погребальный, зловещий аккорд на последнем пире в «Лукреции», раздаются, чуть ли не ежедневно, печальные известия, что N пустил себе пулю в лоб, NN уто-

¹ «Голос», 1874, № 324.

² Там же, № 335.

³ Там же, № 340.

пился или зарезался, NN приняла яду... Убивают себя из-за ничего, так себе, без всякой видимой причины; лишают себя жизни — взрослые и юные, мужчины и женщины, люди, надломленные жизнью, усталые, и люди, еще не начавшие жить, юноши, почти дети. Особенно усилились самоубийства в Петербурге в последние годы. Петербург может занять в этом отношении одно из первых, если не первое место после Парижа...»

И дальше в «Календаре» зловещие цифры погодам, начиная с 1868, о безостановочном росте самоубийств за последние пять лет (1868—1873). Приводятся такие данные: «Самоубийства в Петербурге стали видимо увеличиваться с 1864 г. До тех пор число их колебалось между 40 и 60 случаями в год. Так, в 1856 г. было 50 самоубийств и покушений на них; в 1859 г.—58; в 1860 г.—46; в 1861 г.—43; в 1862 г.—50; в 1863 г.—41. Таким образом, в течение 6 лет самоубийства не только не увеличивались, но даже уменьшались, несмотря на значительный прирост населения в Петербурге и на огромное изменение экономических отношений в России, не могущее, конечно, не отразиться и на Петербурге... А с 1864 г. рост самоубийств безостановочен: в 1864 г.—57 случаев; в 1865 г. — 59; в 1866 г.—61, в 1867 г.—78; в 1868 г.—89; в 1869 г.—102; в 1870 г.—125; в 1871 г.—152; в 1872 г.—167. Явление становится особенно грозным, если сравнить увеличение числа самоубийств за последние 5 лет с ростом населения и с увеличением цен на предметы первой необходимости. Население увеличилось всего на 15%, а самоубийства больше чем на 300%; цены на хлеб и муку увеличились на 18%; на сахар — на 9%; на сапожный товар на 20%; более резко увеличилась только плата за квартиру — на 35—40%. Но в это же время заработная плата тоже увеличилась более чем на 10%. Психическая неустойчивость — вот, очевидно, главная причина». Автор поэтому ставит самоубийства в тесную связь со случаями умопомешательства: в 1869 г. было освидетельствовано 329 умалишенных; в 1870 г. — 365; в 1871 г. — 414; в 1872г. — 438.

«Календарь» Суворина распределяет самоубийц и по «сословиям»: в 1873 г. лишили себя жизни 17 мещан, трое купцов, 41 крестьянин и столько же дворян, хотя по отношению ко всему населению Петербурга дворяне

составляют всего 14,2%. К этой «скорбной статистике» А. Ф. Кони газета «Голос» прибавляет еще сведения и за 1874 г.: они еще более ужасающие: до 1 октября было уже 127 самоубийств.

Так отразилось в этой эпидемии самоубийств то, что в России «все перевернулось», — разложение, под натиском капитализма, крепостническо-дворянского строя.

Эпидемия самоубийств особенно тревожила ум и воображение Достоевского.

В «Подростке», в окончательном тексте, четыре самоубийства: долгушинца Крафта, оттого что у него «такая Россия в голове», учительницы, напечатавшей в «Голосе» объявление, в котором сказалось все ее отчаяние: «дает уроки по всем предметам и по арифметике», маленького семилетнего мальчика, запуганного суровыми ласками купца Скотобойникова, и большого сильного Андреева, le grand dadais, плачущего по ночам от угрызений совести: «он проел и пропил приданое своей сестры, да и все у них проел и пропил... и мучается» (8, 481). В последней сцене романа Версиков пытается стрелять в Ахмакову: Подросток «изо всей силы схватил его за руку... но он успел вырвать свою руку и выстрелить в себя. Он хотел застрелить ее, а потом себя». В черновиках, по первому плану, должна была покончить с жизнью и Лиза, и маленький ее брат, которому Версиков «раздирает рот», и молодой князь Сокольский, а после обвинения в краже решил застрелиться и Подросток. В одном месте в черновиках имеется такая запись, точно вывод обобщающий: «Пьяные на улицах. Никто не хочет работать. Убил себя гимназист, что тяжело учиться. Дряблое, подлое поколение. Никаких долгов и обязанностей».

«Убил себя гимназист», — это уже прямо из газетной хроники. На факты из хроники ссылается автор и в следующей большой записи, в разговоре трех героев романа, Версикова, Васина и Подростка, на ту же тему о самоубийцах. Подросток задает вопрос: «Какие причины заставляют, перед последними мгновениями, чуть не всех (или очень многих) писать *исповеди*. Самолюбие, мелкое тщеславие (неверие)?» И в ответ он слышит: «Недостаток общей руководящей идеи, затронувший все образования и все развития, например кухарка,

повесившаяся из-за того, что потеряла барские 5 руб. И все это общая черта только нашего времени, ибо никак нельзя сказать, что самоубийства были в точно таком же числе и с таким характером и прежде, до гласности. Напротив. Именно теперь усилились, и именно эта черта только нашего времени. Потеряна эта связь, эта руководящая нить, это что-то, что всех удерживало... Истребляют себя от многочисленных причин, пишут исповеди тоже от сложных причин. Но можно отыскать и общие черты, например, точно в такую минуту у всех потребность писать.

«Голос»: зарезавшийся ножом в трактире: *«образ милой К. все передо мной»*. Уж тут-то, кажется, никакого тщеславия, да и наконец зарезаться тупым ножом из одного самолюбия! Но вот что опять-таки общая черта: тут же, в этой же оставленной им записке (несмотря на милую К., которой образ *уж конечно* не мог давать ему покоя, если из-за нее же зарезался), — тут же у него и примечание: «удивительно пусто в голове, думал, что в такую минуту будут особые мысли». Умно или глупо подобное замечание — важно то, что все они чего-то ищут, о чем-то спрашивают, на что ответа не находят. чем-то интересуются совершенно вне личных интересов. О каком-то общем (деле) и вековечном, несмотря даже на образ милой К., который без сомнения мог бы прогнать всякую общую идею и потребность самоуглубления и обратить действие *совершенно* в личное».

Этих идейных, ищущих самоубийц, беспокоящихся «о каком-то общем деле и вековечном», Достоевский и представил, на фоне современных социальных вопросов, в образе Крафта. Крафт оставил после себя дневник, из которого видно, что он застрелился из револьвера уже в полные сумерки. Он затеял «этот предсмертный дневник <...> еще третьего дня <...> и вписывал в него каждые *четверть часа*; самые же последние три-четыре заметки записывал *в каждые пять минут*». Записи оказались «без всякой системы, о всем, что на ум взбредет». Примерно за час до выстрела — о том, «что его знобит»; «что он, чтобы согреться, думал было выпить рюмку, но мысль, что от этого, пожалуй, сильнее кровоизлияние, — остановила его». В последней отметке Крафт замечает, «что пишет почти в темноте, едва разбирая буквы; свечку же зажечь не хочет, боясь оставить

после себя пожар. «А зажечь, чтоб пред выстрелом опять потушить, как и жизнь мою, не хочу», — странно прибавил он чуть не в последней строчке» (8, 181)).

Из газеты взят материал и для этого предсмертного дневника Крафта. В № 46 «Гражданина» от 18 ноября 1874 года было перепечатано сообщение из «Тифлисского вестника» о том, что в Пятигорске какой-то А. П. найден мертвым в своей квартире, на постели, в полусидячем положении, в правой руке карандаш, в левой открытая книга, тут же часы и бумага, исписанная карандашом. На бумаге:

«В половине 1-го принял яд.

55 минут первого. Начинаю чувствовать шум в ушах и головокружение.

Час. В глазах темнеет; пишу с трудом; начинается нервная дрожь; хладнокровие покидает меня; желания пить нет.

10 минут 2-го. Глаза смыкаются. Немного тошнит.

1 ч. 20 минут. Странное явление: начинает сильно чесаться нос.

1 ч. 30 минут. Теряю голос, вместо обыкновенных звуков с трудом вырываются звуки глухие и хриплые. Мысли путаются, закрываются глаза; начинаю бредить; в ушах звенит.

1 ч. 35 минут. Закурил папиросу; тошнота увеличивается. Не могу читать написанное, потому что пишу буквы как бы в тумане.

1 ч. 45 минут. Время тянется, как кажется мне, идет чрезвычайно медленно.

Пишу на память, и чтоб не онеметь и не забыть потушить свечу и тем не сделать пожара, тушу свечу. Предметы двоятся, память, руки, глаза отказываются служить.

1 ч. 55 минут».

Затем следуют еще две строки, которые совсем нельзя разобрать.

«Для чего ему понадобилось это наблюдение? — спрашивает редакция журнала. — Зачем этот человек, пожелавший умереть, пожелал вместе с тем проследить ощущения при приближении смерти?»

Так, в сущности, относится к предсмертному дневнику Крафта и Васин. А Подросток, как и сам автор, возмущен такой «холодной логикой»: «И это вы назы-

ваете пустяками! <...> Ведь последние мысли, последние мысли!» (8. 181).

Пятигорский самоубийца писал свои предсмертные заметки уже обреченный; яд уже был принят, и смерть должна была наступить неминуемо. Мысль, овладевшая Крафтом, логический вывод, что «русские — порода людей второстепенная <...> и что, стало быть, в качестве русского совсем не стоит жить» (8, 182), ранила его насмерть, и он уже больше не властен над своей жизнью. Спускаясь по ступеням все ниже к той пропасти, которая должна поглотить их навсегда, они оба каждые 5—10 минут останавливаются на мгновение, чтобы записать свои последние мысли, столь «мелкие и пустые».

Замечательно, что к газетному же материалу восходит и последняя сцена романа: покушение Версилова на убийство Ахмаковой и на самоубийство. В начальных записях это должен был сделать Подросток, после того как «в несчастные дни кутежа» княгиня, в которую он страстно, влюблен, оскорбляет его «ужасно, безмерно, придавленно». «Револьвер в заговоре на месте отбирает у него Он», то есть Версиров, «и в ее же стреляет». И следует за этим: «О том, что застрелить женщину, если она не соглашается, фельетон Суворина, ноябрь 3, № 303». Суворин («Незнакомец») написал в «Петербургских ведомостях» свой фельетон, полный страстного гнева и возмущения по поводу студента, который пытался застрелить девушку, сказавшую ему, что его не любит, потом сам застрелился.

«Я знаю четыре подобных случая, происшедшие в течение года, — пишет «Незнакомец», — в трех героями являлись молодые люди, окончившие курс в университете, и я смею сказать, что это дрянная молодежь, не возбуждающая к себе ни малейшей жалости, это эгоисты, ставящие *свое* я выше всего на свете, тогда как они на самом деле медного гроша не стоят... Они поступают точно так же, как бывшие крепостники, которые наказывали своих крепостных девок, если они отказывались удовлетворить любовь своих помещиков. И пусть не говорят, что это исключение. Нет, это злое симптомы страшной болезни, охватившей все молодое поколение. Мы о ней обыкновенно не думаем; мы вообще мало думаем; мы ищем легкости и шуток... бежим от трагедии в буффонады, хотя трагедия преследует нас

по пятам, и чем больше мы бегаем от нее, тем настойчивее она гонится за нами...» И дальше «Незнакомец» так характеризует это «дряблое поколение», у которого «никаких долгов и обязанностей»: «Мы начинаем терять всякую разборчивость; подняв голову кверху, мы идем, сами не знаем куда, не заботясь о том, давим ли мы кого или нет, и выбираем только торную дорогу... Собственная особа еще дорога нам, но посторонних мы даже не просим, чтоб они посторонились.

Живется — сбираешь цветы и незаметно захлебываешься всеми подонками жизни; надоело жить — пулю в лоб; трусишь расстаться со своей грошовой жизнью — убьешь того, кто возле стоит, или того, кто, по вашему мнению, сделал бы эту жизнь более отрадною, — и затем уже легче разделаться со своей жизнью».

Вот в каких страшных отклонениях от «нормального человека», переставших быть уже «исключениями», проявляется этот «недостаток общей руководящей идеи», которым ныне «затронуты все образования, все развития». «Моровая язва, вселившаяся в тела людей» (эпилог в «Преступлении и наказании»), распад общества на отдельные атомы принял форму катастрофическую. Кто же и что же спасет от окончательной гибели, где же та идея, которая снова может стать «общей руководящей»? В печатной редакции Версиров, «цивилизованный, высшей интеллигенции», носитель великой идеи о будущем русского народа, так и остается до конца «бездейственным»; «холодный и спокойный» Васин, лучший из дергачевцев, «безвыходно идеален», то есть безнадежно оторван от живой жизни. Только в страннике, Макаре Долгоруком, в его «благообразии» — единственный путь спасения. По этому пути и пойдет наконец «молодое поколение». Подросток, в своих поисках полного знания: что такое «добро и зло».

2

Использован в «Подростке» газетный материал и по другим побочным линиям романа. В феврале 1874 года в Петербургском окружном суде слушался громкий процесс о подделке акций Тамбово-Козловской железной

дороги.¹ Обвинителем был А. Ф. Кони. Обвинялись врач-акушер Колосов, его не то служащий, не то компаньон А. Ярошевич и библиотечарь Военно-медицинской академии, по происхождению дворянин старинного рода, Никитин. Отец Ярошевича, несколько лет назад осужденный по делу организованной шайки «письмоносцев», вынимавших деньги из почтовых пакетов, бежал за границу и там, в Брюсселе, устроил на деньги Колосова типографию, в которой стал печатать поддельные акции Тамбово-Козловской железной дороги. В январе 1871 года Колосов, молодой Ярошевич, его невеста Ольга Семеновна Иванова и жена библиотечаря Никитина ездили за границу, где пробыли около трех месяцев, и вернулись обратно, захватив с собой несколько сот фальшивых акций. В эти три месяца, отослав от себя Ярошевича, Колосов сошелся с его невестой, подчинив ее всецело своей воле. По его приказанию она скрывала от жениха свою связь; уверяя Ярошевича в любви, она настраивала его против Колосова, рассказывая о своих обидах и оскорблениях, умоляла о защите и требовала мести. В результате компания вся перессорилась, и Ярошевич вместе с Никитиным решили убить Колосова. Они боялись, что он их предаст, несмотря на то что его роль в подделке акций была самая главная. Колосов казался им всемогущим, он выдавал себя за важного агента III Отделения, которое поручило ему вступить за границей в сношения с Марксом, выведать у него тайны Интернационала, а также захватить там Нечаева и Серебрякова и привезти их в Россию. О том, что Колосов имел сношения с III Отделением и ему действительно было что-то поручено, компания, очевидно, знала. За границей Колосов казался ей тем таинственнее, что он часто пропадал, куда-то уезжал, будто бы для свиданий с какими-то революционерами, и, возвращаясь в Россию, вез с собою нелегальную литературу. Ярошевич рассказал о задуманном убийстве Ольге Ивановой, спрашивая ее совета; она дала свое согласие и сейчас же передала обо всем Колосову. Колосов начал судебное дело по обвинению компаньонов в покушении на его жизнь, а те уже раскрыли всю историю с фальшивыми акциями.

¹ См. судебный отчет в «Голосе» начиная с № 43, 1874.

На предварительном следствии и на суде выяснились следующие любопытные факты из прошлого Колосова. В 1860 году он подвергся уголовному преследованию за ложное обвинение валдайского городничего в подделке фальшивых кредитных билетов. Сам же составил ложное завещание помещицы Павловой, по которому имение ее перешло к нему. В 1866 году он вместе с молодым Ярошевичем стал заниматься отдачей денег под заклад пенсионных книжек, а с 1869 года открыл кассу ссуд с основным капиталом в 5000 рублей. Кассу он назвал *Mont de piete*¹ и утверждал, что устроил ее с целью «благодетельствовать бедному люду». Среди молодежи он играл обыкновенно «роль человека, угнетенного судьбою, несчастного страдальца, пострадавшего за правду». За границей выдавал себя за беглеца из Сибири, как он объяснял на суде, для того, «чтобы приобрести доверие революционеров и получить от них бумаги».

В обвинительной речи А. Ф. Кони дал Колосову такую характеристику: «Может быть, он обладает большою опытностью и некоторым житейским тактом; в нем есть очевидная сметка и находчивость. Но ловкость и сметливость еще не делают человека умелым и умным: *мелкая хитрость* и обыденный опыт составляют, по словам поэта, „ум глупца”». «Ум глупца», сметку и находчивость Колосов проявил и на процессе. Упорно отрицая свое участие в подделке акций, он, при всем своем крайнем невежестве, ловко отвечал на вопросы обвинения, держа себя гордо и независимо, нахально разыгрывая роль «спасителя отечества». В судебном отчете приводятся следующие вопросы и ответы: *Вопрос.* «Зачем ездили в Лондон?» *Ответ.* «В Лондоне устраивался страшный заговор... Меня ждала честь, слава, если открою: разве этого мало? Это счастье». На *вопрос*, бывал ли он в Брюсселе у Ярошевича, Колосов ответил, что бывал и «видел у него многие личности, в числе которых были кинжалисты, вешатели». *Вопрос.* Была ли у него ссора с Ярошевичем? *Ответ.* Да, ссора произошла за то, что «Ярошевич написал Нечаеву, чтобы тот смотрел на меня как на подозрительного человека». На *вопрос:* «Писали ли в Брюссель письмо, в котором вы

¹ Ссудная касса (франц.).

напоминали о срочных уведомлениях», — последовал *ответ*: «Да, писал; это относится до Интернационалки. Ярошевич разъезжал по всей Европе, был у некоего Маркса — это председатель Интернационалки, а в Брюсселе ее заседания; об этом я и просил его уведомить». Характерен особенно ответ на вопрос по поводу портфеля, в котором были перевезены в Россию фальшивые акции. Прокурор спрашивает, что в нем находилось, и Колосов, не моргнув глазом, отвечает: «В нем находилась коммуна хуже Парижской и план Нечаевского заговора». Никитин, меньше других причастный к делу (он только хранил акции у себя), предложил Колосову денег «за поправку репутации Ярошевича». Прокурор спрашивает Колосова: «Какая помощь требовалась от вас?» — и он отвечает: «Они знали, что я очень хорошо поставлен в полиции. Мое слово много значит». И это была правда. Ему, очевидно, действительно верили в полиции и в III Отделении. На поручении «проследить эмиграцию» Колосов и строил все свои объяснения. Когда его спрашивали, сам ли он предложил свои услуги или его просили, он, в присутствии свидетеля, большого жандармского чина, ответил: «Я пришел, объявил, что еду за границу, мне поручили...»

На Достоевского этот судебный процесс произвел очень большое впечатление. В письме к В. П. Мещерскому от 4 марта 1874 года он пишет: «Ужась как хотел написать про Ольгу Ивановну из процесса о подделке тамбовских акций».¹ Ольга Ивановна, дочь статского советника, его особенно поразила «как знамение времени» и рядом с ней Колосов, которого правительство «потянуло в суд и осудило <...> в вышеупомянутом процессе». В черновых записях к «Подростку» Колосов несколько раз упоминается под своей фамилией в той же роли, в какой в окончательном тексте выведен Стебельков! На некоторых страницах фамилия колеблется: то Колосов, то Стебельков. *Колос* — *стебель*; вместо зерна—солома; фамилия снижается и фонетически и семантически.

В судебном отчете о Колосове сказано скупое: «Колосов высокого роста, брюнет с усами; лекарь-акушер». В романе его портрет детализирован и несколько изме-

¹ Письма, т. III, стр. 93.

нен: внешние черты осложняются, отражая его душевные качества. Он появляется впервые в восьмой главе первой части, на квартире у Васина: «В коридоре, у самой двери Васина раздался громкий и развязный мужской голос. Кто-то схватился за ручку двери и приотворил ее настолько, что можно было разглядеть в коридоре какого-то *высокого ростом мужчину*». Мужчина нахально самоуверен. Черта эта сразу воспринимается в его движениях и голосе. «Держась за ручку двери, он чрез весь коридор продолжает разговаривать с хозяйкой, и уже по тоненькому и веселенькому голосу ее слышалось, что посетитель ей давно знаком, уважаем ею и ценим и как солидный гость, и как веселый господин. Веселый господин *кричал и острил*; наконец вошел, *размахнув дверь на весь отлет*».

И дальше такой портрет: «Волосы его, темно-русые с легкой проседью, черные брови», вместо усов (по судебному отчету) «большая борода»; хорошо одет, «очевидно, у лучшего портного, как говорится, по-барски»; «он был не то что развязен, а как-то натурально нахален». Еще не успел этот человек сесть, как Подростку, находившемуся тогда в комнате Васина, вдруг померещилось, что «это, должно быть <...> некий г. Стебельков, о котором он уже что-то слышал <...> что-то нехорошее». Подросток запомнил только, что «у этого Стебелькова был некоторый капитал и что он какой-то даже спекулянт и вертун». Стебельков заговаривает с Подростком, подмигивает ему, нарочно его сбивает какой-то косноязычной нелепой болтовней и вдруг переходит на тему о *железнодорожных акциях*: «Брест-Граевские-то ведь *не шлепнулись*, а? *Ведь пошли, ведь идут!*» И тут же о Версилове, о грудном ребенке от m-lle Лидии Ахмаковой... «Прелестная дева ласкала меня...» «Фосфорные-то спички—а?» На восклицание Подростка: «Что за вздор, что за дичь! У него никогда не было ребенка от Ахмаковой!» — Стебельков отвечает: «Вона! Да я-то где был? Я ведь *и доктор, и акушер-с* <...> Правда, я и тогда уже не практиковал давно, но практический совет в практическом деле я мог подать».

Во второй главе второй части Стебельков снова появляется — в квартире молодого князя Сокольского. У князя важный гость, «с аксельбантами и лентой», один из представителей высшего петербургского света,

Дарзан. На вопрос к нему другого гостя: «Вы, кажется, были в военном?» — Дарзан отвечает: «Да, в военном, но благодаря... А, Стебельков уж тут? Каким образом он здесь? Вот именно благодаря вот этим господчикам я и не в военном, — указал он прямо на Стебелькова и захохотал. Радостно засмеялся и Стебельков, вероятно приняв за любезность». По уходе. Дарзана, «чуть он вышел, Стебельков вскочил с места и стал среди комнаты, подняв палец кверху: «Этот барчонок следующую штучку на прошлой неделе отколол: дал вексель, а бланк надписал фальшивый <...> Векселек-то в этом виде и существует, только это не принято! Уголовное. Восемь тысяч».

Подросток зверски взглянул на него: «И наверно этот вексель у вас?»

«У меня банк-с,—ответил Стебельков,—у меня Mont de piété а не вексель. Слыхали, что такое Mont de piété в Париже? Хлеб и благодеяние бедным: у меня Mont de piété». О том, что у него Mont de piété, он говорит и в главе третьей, когда предлагает денег Подростку, чтобы он не препятствовал князю Сокольскому, от которого беременна сестра Лиза, жениться на сестре Анне Андреевне. Подросток еще не знает об истории Лизы с Сокольским и, думая, что Стебельков хочет дать ему взаймы, говорит: «Но вы, я слышал, дерете проценты невыносимые». — «У меня Mont de piété, а я не деру. Я для приятелей только держу, а другим не даю. Для других Mont de piété». И автор дальше поясняет, что «этот Mont de piété был самая обыкновенная ссуда денег под залоги, на чье-то имя, в другой квартире, и процветавшее» (8, 257). Касса ссуд Колосова была на имя Ярошевича и действительно процветала.

Из судебного отчета видно, что из всей компании по подделке тамбовских акций Никитин, «*дворянин старинного рода*», был менее других виновен. Такую же роль автор дает князю Сергею Сокольскому. В главе седьмой второй части Сергей Сокольский, исповедуясь перед Подростком, говорит: «А главное, кажется, теперь уж все кончено, и последний из князей Сокольских отправится на каторгу... Я — уголовный преступник и участвую в подделке фальшивых акций М-ской железной дороги». Участие его заключалось в том, что он за 3000 рублей дал Стебелькову рекомендательное письмо

к одному русскому эмигранту, «не *русского, впрочем, происхождения*», который в России однажды уже был замешан в подделке бумаг. Стебелькову нужен был артист, *рисовальщик, гравер, литограф* и прочее, *химик, и техник* — и с известными целями, и о целях он высказался с первого раза довольно пространно. Стебельков теперь пугает князя Сокольского. Он, конечно, не донесет, чтобы себя не предать. Но акции, которые «давно в ходу и еще будут пущены в ход, кажется, где-то уже начали попадаться»... И в случае, если дело откроется, то... то они и его, Сокольского, втянут.

Этот русский эмигрант «не *русского, впрочем, происхождения*» — конечно, Ярошевич, по происхождению поляк. Из России он бежал, как мы знаем, после суда над ним по делу «письмоносцев». Он действительно был мастер на все руки: и *гравер, и литограф, и рисовальщик, и техник*; и тамбовские акции были подделаны очень неплохо.

Использована из судебного отчета и близость Колосова к III Отделению. Стебельков каждый раз пытается говорить с Подростком на темы революционные. Он знает про кружок Дергачева и хочет туда втереться. Подростку он однажды делает предложение «познакомить его с господином Дергачевым», так как он там бывает. На вопрос Подростка, для чего ему это нужно, Стебельков прямо отвечает; что «у Дергачева, по подозрениям его, *наверно что-нибудь из запрещенного, из запрещенного строго, а потому, исследовав, я бы мог составить тем для себя некоторую выгоду*» (8, 343—344).

Как уже было выше указано, наименее виновным из этой компании подделывателей фальшивых акций был библиотекарь Военно-медицинской академии Никитин. В судебном отчете приведено следующее письмо его к жене:

«Я положительно никогда не признаюсь, ни на следствии, ни на суде. На суд я не попаду, ибо до суда умру, но умру не ради общества, а ради самого себя, жены и родных. Да, я умру еще не осужденным. Я *не могу, я не хочу, я не должен жить*. Быть ссыльным или каторжником — это почти все равно... Дело ясное, думать и надеяться не на что, и чем скорее умереть, тем лучше. Я и оправдание-то не перенесу, если б оно и

было возможно. Все равно мошенник на целый свет, помилованный присяжными. Меня могут спасти две вещи: 1) Если я буду иметь паспорт, *уеду в Галицию*, где русский язык, или пошляюсь по России в отдаленных ее местностях с каким-нибудь русским паспортом... Нет, лучше не слушаться, а прямо умереть, и умереть не осужденным, а только находящимся под стражею... *Родные все опозорены и унижены мною навеки...* Голова моя очень дурна. Я теряю силы, смысл и разум. Равнодушие, апатия, тоска, отчаяние и ужас ни на одну минуту не оставляют меня...»

В черновиках несколько раз говорится об «отдаленных местах России», о Ташкенте, куда можно спастись Сергею Сокольскому от преследований Стебелькова. Но мысль о самоубийстве не покидает его ни на минуту. Перед тем как донести на себя, он, как и Никитин, тоже решает, что «лучше не слушаться, а прямо умереть, умереть неосужденным, чтобы *не опозорить свой княжеский род*». В письме к Подростку он так и пишет: «Я виновен перед отечеством и перед родом моим и за это сам, последний в роде, казню себя <...> Я <...> нашел в себе наконец настолько твердости или, может быть, лишь отчаяния, чтоб поступить так, как поступаю теперь...» (8, 381).

3

Самоубийства во всех слоях общества — как грозный симптом его разложения. Крафт лишает себя жизни по мотивам высокоидейным. Прежде был хотя какой-нибудь порядок, по выражению Глеба Успенского, «гармония, хоть и свиная». Теперь же устои все пошатнулись, люди бродят во тьме, без веры в будущее. Учительница, дающая уроки «по всем предметам и по арифметике», «покончила свой жизненный дебют» по причинам более простым — автор привел ее к могиле как жертву крайней нужды и глубочайших оскорблений. В этих двух образах и обобщен преимущественно тот газетный материал, на фоне которого тем глубже должен быть воспринят основной смысл романа: блуждания Подростка в поисках «благообразия».

Но разложение охватило больше всего верхние слои

общества. Смысл судебного процесса по поводу фальшивых акций Тамбовской железной дороги, использованного в романе для роли Стебелькова, чрезвычайно углублен тем, что показана та социальная среда, в которой Стебельковы неминуемы, как неминуемы черви возле гниющего трупа. Посетители князя Сергея Сокольского — «важный гость с аксельбантами и лентой», представитель высшего света Дарзан — подделыватель векселей; Нащокин, молодой человек из аристократической семьи, в прошлом году еще служивший «в одном из виднейших кавалерийских гвардейских полков», — мот и кутила, о котором «родные публиковали даже в газетах, что не отвечают за его долги». И сам князь Сокольский, принявший участие в подделке акций, потому что нуждался в деньгах и — «мне было весело в Париже, и я ни о чем не думал». О них-то обо всех Стебельков и говорит; у меня *Mont de piété* для приятелей. Они достают «деньги по десяти процентов в месяц, страшно играя в игорных обществах», выигрывают иногда «в один вечер тысячу двенадцать», тысячи и проигрывают.

«Игорные общества», частные, на вид приличные дома, где собиралась «гремящая» молодежь из высшего света играть в банк и в рулетку, — это тоже было одной из злободневных тем тогдашней петербургской прессы.

В «Гражданине», № 11 от 18 марта 1874 года, в отделе «Петербургское обозрение», так рассказывается об обыске у некоего отставного штаб-ротмистра Колемина, содержавшего заведение для запрещенной игры в рулетку; «Петербургская полиция занялась *болезнью* Петербурга, игрой в рулетку, и в лице товарища прокурора с жандармским офицером пожаловала неожиданным образом в квартиру офицера К., где застала рулетку и человек 15 игроков». Дом Колемина казался настолько «порядочным», а среди посетителей было столько высокопоставленных лиц, что «Гражданин» тут же сообщает о ропоте, который поднялся, очевидно, в высшем свете по поводу этого события. Событие это породило толки в городе: «Имела ли право полиция ворваться в частный дом?» «А домов таких, — добавляется дальше, — где играют в рулетку и проигрывают *тысячи*, в Петербурге очень много».

О том, что это «болезнь Петербурга», говорил и

А. Ф. Кони в своей обвинительной речи по делу Колемина: «Мы знаем, что азартных игр в Петербурге развелось в последнее время очень много... В разных закоулках Петербурга существуют притоны, где играют в азартные игры». В судебном отчете¹ приведены следующие любопытные подробности из дела Колемина: во время обыска перед банкометом Колеминым, против которого сидел *подполковник* Бендерский, обнаружена сумма в 2896 рублей золотых и 11050 рублей кредитными билетами. Игравшие были между собою очень мало или вовсе не знакомы. Хозяин не знал даже фамилии очень многих, а имени-отчества почти никого. Из книг, взятых при обыске, оказалось, что заведение для игры открылось еще с ноября 1872 года; вначале играли два раза в неделю, а с августа 1873 года стали играть три — по понедельникам, четвергам и воскресеньям в одни и те же часы. Вход был свободен для всякого — *по рекомендации какого-нибудь из игроков*. На вопрос обвинителя, как велика была ставка, один из свидетелей, кандидат прав Петербургского университета Ломновский, ответил, что самая большая была в 1000 рублей, а самая меньшая — в 25 рублей. Другой свидетель, который состоял при банкомете Колемином счетчиком, показал, что «ставка на шанс» колебалась от 1 рубля до 500 рублей. Кстати, фамилия этого свидетеля Тебеньков; созвучность ее с фамилией Стебелев наводит на мысль: не она ли послужила толчком к изменению фамилий *Колосова* в *Стебелева*? Во время процесса выяснился точнее и социальный состав игроков. Один из свидетелей, Никитин, показал, что у Колемина бывали люди «самого высокого общества»: «Я видел там сенаторов, министра видел, посланника». Фигурировал на процессе, тоже в качестве игрока-свидетеля, штаб-ротмистр Дубельт.

Нравственное падение Подростка, обольщенного блеском «гремящей молодежи из высшего света», Достоевский и связывает теснее всего с игорными домами. Так Подросток и говорит о себе: «Я уже тогда развратился: мне уже трудно было отказаться от обеда в семь блюд в ресторане, от Матвея <т. е. собственного рысака>, от английского магазина, от мнения моего парфюмера, ну

¹ «Голос», 1874, № 120, 121.

и от всего этого». Судебный процесс Колемина используется в романе не как частный случай, а именно как факт, свидетельствующий о широко распространенной «болезни» аристократического Петербурга. В шестой главе второй части романа рассказ о рулетке Зерщикова начинается с того, что вначале молодой князь Сокольский «вводил» Подростка в такие дома, где «преимущественно *шел банк и играли на очень значительные деньги*». Там-то и собиралась публика из высшего света, и князь «хоть и входил иногда со мной <с Подростком> вместе рядом, но от меня как-то, в течение вечера, отдалялся и ни с кем «из своих» меня не знакомил». Подросток вскоре бросил этот дом, где «хорошо при больших деньгах», и «пристрастился ездить *в один клоак*», где «все было ужасно нараспашку», «все происходило с грязнотой». Но и тут он бросил «после одной омерзительной истории <...> и стал ездить к Зершикову». Зершиков, как и Колемин, тоже отставной штаб-ротмистр. Тон на его вечерах был «весьма сносный, военный, щекотливо-раздражительный к соблюдению форм чести» (8, 310). Держал себя и на суде очень прилично. Использован в романе и сидевший против Колемина подполковник Бендерский. «Напротив меня, через стол, — рассказывает Подросток, — сидел один пожилой офицер <...> Решайтесь, полковник! — крикнул я, ставя новый куш. — Прошу оставить меня в покое, без ваших советов, — резко отрезал он мне. — Вы очень здесь кричите...» (5, 313—314).

В восьмой главе той же части романа рассказывается, как пропали деньги в банке, под носом у Зерщикова, — пачка в четыреста рублей. Подростка обвиняют в краже; лакеи хватают его за руки, он кричит, вырываясь: «Я не дам себя обыскивать, не позволю!», но его тащат в соседнюю комнату, там, среди толпы, обыскивают всего до последней складки и выталкивают вон. Но он как-то успел стать в дверях и с бессмысленной яростью прокричал на всю залу: «Рулетка запрещена полицией. Сегодня же донесу на всех вас!» (5, 363). В судебном отчете по делу Колемина точно не указано, по чьему доносу нагрянула в его квартиру полиция вместе с товарищем прокурора. Воображение художника создало здесь вполне правдоподобную ситуацию.

И дальше так описывается душевное состояние Подростка после «катастрофы». Вытолкнутый на улицу, он бежит, страшно торопится, но — совсем не домой. «Зачем домой? разве теперь может быть дом? В доме живут, я завтра проснусь, чтоб жить, — а разве это теперь возможно? Жизнь кончена, жить теперь уже совсем нельзя». И вот он бредет по улицам, совсем не разбирая, куда идет, да и не знает, хотел ли куда добежать... «Теперь уже никакое действие, казалось мне в ту минуту, не может иметь никакой цели <...> Все как-то отчудилось, все <...> стало вдруг *не мое*». И город, и прохожие, и тротуар, по которому он бежал, — все было уже не его. «У меня мама, Лиза — ну, что ж, что мне теперь Лиза и мать? Все кончилось, все разом кончилось, кроме одного: того, что я — вор навечно». И всеми чувствами Подростка овладевает на мгновение мысль: пойти на Николаевскую дорогу, положить голову на рельсы, там ее оттяпают. Это все психологическая интерпретация тоже одного газетного сообщения из Казани: капитан Ландсберг, играя в клубе, был заподозрен одним из партнеров, что он ведет нечестную игру. Капитан пишет записку, что он не в силах выносить такое оскорбление и «пускает себе пулю в лоб».

Подросток остался жить. Он «мигом и с болью прогнал ее <эту мысль>: положить голову на рельсы и умереть, а завтра скажут: это оттого он сделал, что украл, сделал от стыда, — нет, ни за что!» (8, 364—366).

У Подростка «румяные щеки», ему и «трех жизней мало». «Живучесть» спасла его от гибели, и он может дальше продолжать свой путь в поисках «благообразия». Умирает в романе молодой князь Сокольский, психически и нравственно разлагаясь. Участник в подделке фальшивых акций Тамбовской железной дороги, безвольный мот и кутила, доносчик на революционный кружок дергачевцев, — он наиболее яркий символ того «хаоса и беспорядка», с которым сливаются с неудержимой силой «уже множество таких несомненно родовых семейств русских» (8, 624—625). С ним-то, как мы уже знаем, с князем Сокольским, и связаны сюжетно все эти нравственные уроды: и Колосов — Стебельков с его *Mont de piété*, и подделыватель векселей Дарзан, и молодой развратник Нащокин, недавно еще служивший в самом аристократическом конногвардейском полку, а

по черновикам —с ним же и мошенник Ламберт, о котором сказано: «материя, ужас!» Вся нравственная грязь тяготеет к этому высшему обществу, уже потерявшему свои прежние «законченные формы чести и долга».

«Раздвоением своих чувств и воли» кончает и Версилов, как говорит Подросток в заключении — кончает тем «серьезным уже расстройством души, которое может повести к довольно худому концу» (8, 612). У Версилова старший сын, флигель-адъютант, тоже принадлежит к аристократическому кругу; идеальный воспитатель Николай Семенович, формулирующий в эпилоге нравственные идеи самого писателя, о нем даже «и говорить не хочет»: «да и не стоит он этой чести. Те, у кого есть глаза, знают заранее, до чего дойдут у нас подобные сорванцы, а кстати и других доведут» (8, 624). Так же говорится и об Анне Андреевне, старшей дочери Версилова от первой жены, Фанариотовой, женщины «из высшего света»: «Лицо в размерах матушки игуменьи Митрофании», громкий процесс которой о подделке ею в пользу монастыря завещаний разных богачей только что разбирался (в октябре и ноябре 1874 года).¹ Так еще и еще раз иллюстрируется основная мысль романа: только в страннике из дворовых, в Макаре Долгоруком, — источник «благообразия», которое ищет и находит Подросток. Сын Версилова и крестьянки, Подросток носит в себе, с одной стороны, порочность высшего света (отсюда его нравственные падения), а с другой — чистоту и «святость» простого народа, и в этом с самого начала был залог того, что он один уцелеет, выберется из этого «хаоса и беспорядка».

«Мой метод реалистический» — так постоянно твердил о себе Достоевский. И к фактам из повседневной жизни, воспроизведенным в текущей прессе, обращался он за материалом, на котором строил свои сложнейшие идеологические концепции.

¹ В «Гражданине» (1874, № 43) дается портрет игуменьи Митрофании: «У нее лицо умное, энергическое, ясное и спокойное; она садится на кресло и как будто готовится слушать о ком-то интересный процесс».

Говорилось до сих пор о том, как ставились и решались Достоевским в этом романе, в плане художественном и идеологическом, его исконные «мировые вопросы»: о Востоке и Западе, о роли русского народа в грядущих судьбах человечества, о «золотом веке» на заре человеческой истории и в будущем как о «самой высокой мечте, без которой человек и жить не захотел бы», и о возможных путях осуществления этой мечты. Два поколения — «отцы и дети, дети и отцы». К сфере идей Герцена и Чаадаева сделал Достоевский прикосновенным старшее поколение в лице Версилова. С высоты же философско-исторической мысли Версилов и смотрит на современность, в которой для него европейская Парижская коммуна и русское «хождение в народ» как предвещание того, что «сроки приближаются».

И в свете этих же проблем мирового характера нашли свое художественное выражение грозные симптомы разложения современного общества — эпидемия самоубийств и нравственный распад высшей аристократии. Но аристократия — это ведь только верхушка дворянского класса. «Сегодня», после освобождения крестьян, когда «все в России перевернулось», жизнью остро поставлен вопрос о роли и судьбах этого класса в целом, — класса, который недавно еще так нераздельно господствовал, при всем своем эгоизме все же если не был, то во всяком случае казался главным участником в создании общенациональных культурных ценностей, нередко выделяя из себя лучших людей, умевших подниматься выше своих узкоклассовых интересов.

В «Анне Карениной» несколько раз ставится вопрос об идее «аристократизма», и Константин Левин высказывает свои «ретроградные мысли».¹ Стива Облонский продает купцу Рябинину лес на сруб и легкомысленно дарит ему 30 000 рублей. Левин возмущен, с мошенником Рябининым обращается очень грубо. И дальше такой разговор: Облонский спрашивает Левина, отчего он не подал руки купцу Рябинину, и получает в ответ: «Оттого, что я лакею не подам руки, а лакей во сто раз лучше его». — «Какой ты, однако, ретроград! А слияние

¹ Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 18. М.—Л., ГИХЛ, 1934, стр. 179—180.

сословий?» — сказал Облонский. — «*Кому приятно сливаться — на здоровье, а мне противно*». И дальше выясняется, что у Левина «зуб против этого Рябинина». «Мне досадно и обидно видеть это, со всех сторон совершающееся обеднение дворянства, к которому я принадлежу, и, несмотря на слияние сословий, очень рад, что принадлежу... И обеднение не вследствие роскоши — это бы ничего; прожить по-барски — это дворянское дело, это только дворяне умеют. Теперь мужики, около нас скупают земли, — мне не обидно. Барин ничего не делает, мужик работает и вытесняет праздного человека. Так должно быть. И я очень рад мужику». Но «обеднение происходит по какой-то <...> невинности», скупают землю и разоряют дворян купцы и кулаки, — вот это-то и «обидно» Левину.

Барин, землевладелец, рад мужику, который работает и вытесняет праздного человека, однако он и с ним не сливается. Левин считает аристократами только себя и людей ему подобных, «которые в прошедшем могут указать на три-четыре честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования». Мужику же образование вовсе не нужно, а с точки зрения барина — даже и вредно: «грамотный как работник гораздо хуже. И дорог починить нельзя, а мосты, как поставят, так и украдут».¹

В «Подростке» вопрос о дворянстве и его роли ставится иначе; принадлежность к дворянству определяется не «прошедшим», не *«тремя-четырьмя поколениями»*, в *прошлом* «находившимися на высшей ступени образования», а делами и помыслами человека в *настоящем*, независимо от его происхождения. Причем Достоевский опять исходит из факта злободневного, который вызвал тогда в текущей прессе оживленную полемику.

25 декабря 1873 года появился царский рескрипт, обращенный к дворянству с призывом «стать на страже народной школы».² Наиболее реакционная часть помещичьего класса усмотрела в этом «новом призвании дворянства к заботам о просвещении сословную привилегию». Московским дворянством составлен был адрес,³

¹ Л. Н. Толстой, т. 18, стр. 259.

² Рескрипт был опубликован во всех газетах, и сразу же началось его толкование в передовых статьях и фельетонах.

³ «Московские ведомости», январские номера за 1874 г.

в котором было указано, что этим «призывом русского дворянства к участию в великом деле народного образования одновременно полагается и начало обновлению самого учреждения о дворянстве», иными словами, это только первый шаг к восстановлению прежних дворянских прав. Рескрипт прямо ставился в связь с грамотой Екатерины II о вольности дворян. «Московские ведомости», напечатав этот адрес, так именно и истолковывали смысл рескрипта. Либеральствующий «Голос» возражал трусливо и туманно, пока не появился на помощь «Вестник Европы» со статьей в февральской книжке за 1874 год.¹

«Вестник Европы» резко выступает против адреса московского дворянства и против «Московских ведомостей» с основным положением, что дело здесь не в сословной привилегии, — рескрипт обращен к дворянству лишь как к более культурной части общества. Доказывается это прежде всего тем, что самый-то класс дворянский у нас *очень нестойк*, поскольку уже издавна двери в него раскрыты для всех сословий. А с падением крепостного права уничтожен и последний политический оплот его. Кроме того, роль старых родов в землевладении все более и более слабеет, земля переходит в руки других сословий. В этом отношении, если и можно говорить о какой-то дворянской идее, то только как о силе *нравственной, о силе духовной*, но отнюдь не политической. Дворянские вожеления в связи с царским рескриптом, высказанные столь обнаженно в московском адресе и в «Московских ведомостях», показались настолько нетактичными, что даже такие консервативные органы печати, как «Русский мир»² и «Гражданин»,³ склонялись скорее к точке зрения «Вестника Европы» — внешне во всяком случае.

В черновиках романа разговор на эту тему ведется у Версилова с Крафтом, с явной ссылкой на газетную и журнальную полемику по поводу рескрипта. И слышится при этом тот же голос возмущения, как и у Константина Левина по поводу продажи леса Рябинину. «Теперь, — говорит Крафт, — безлеса Россию, истощают в ней почву, обращают в степь и приготавливают ее

¹ «Вестник Европы», 1874, № 2, стр. 846—856.

² «Русский мир», 1874, № 194.

³ «Гражданин», 1874, № 12.

для калмыков. Кто это делает? Купечество, скупающее землю, и старинное дворянство — помещики, прежние бойцы за землю, пока их не лишили крепостного права. Явись новый хозяин с надеждами, посади дерево — и над ним расхохочутся: «разве, дескать, ты до него доживешь?» Идея о детях, идея об отечестве, идея о целом, о будущем идеале — все эти идеи не существуют, разбиты, подкопаны, осмеяны... Дворян уничтожили и требуют, от них воскресения и обновления — в духовном попечительстве о России, в ношении высшей идеи. обращаются к нему с манифестом о воспитании. Но человек, истощающий почву с тем, чтоб «с меня только стало», потерял духовность и высшую идею свою».

В окончательном тексте эта же тема поставлена несколько абстрактно, факты злободневной действительности. очевидно, намеренно затушеваны. Вскрыть их нетрудно. Беседа о роли дворянства происходит у Версилова с князем Сергеем Сокольским в присутствии Подростка. «Эта идея, — замечает Подросток, — очень волновала иногда князя», и он даже подозревает, что многое дурное в его жизни произошло и началось из этой идеи: «цня свое княжество и будучи нищим, он всю жизнь из ложной гордости сыпал деньгами и затянулся в долги». Версиров несколько раз намекал князю, что не в этом сострит княжество, и хотел внушить ему «более высшую мысль». Подростку слова Версирова показались сначала «ретроградными», но потом он «поправился». Версиров говорит, что «слово честь — значит *долг*», что «исповедание чести» всегда имеется у «главенствующего сословия» и это «всегда почти служит связью и крепит землю». Но когда господствует одно сословие, то теряют все другие, не принадлежащее к этому сословию. «Чтоб не терпели — сравниваются в правах. Так у нас и сделано, и это прекрасно». Теперь дворянство наше, потеряв привилегии, могло бы оставаться высшим сословием в смысле только духовном, «в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи и, что главное, не замыкаясь уже в отдельную касту, что было бы смертью идеи. Напротив, ворота в сословие отворены у нас уже слишком издавна; теперь же пришло время их отворить окончательно. Пусть всякий подвиг чести, науки и доблести даст у нас право всякому примкнуть к верхнему разряду людей. Таким образом, со-

словие само собою обращается лишь в собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном, а не в прежнем смысле привилегированной касты» (8, 241— 242).

Князь в высшей степени недоволен этой идеей; ему она кажется чем-то в виде масонской ложи, полным отрицанием дворянства как класса. На что Версилов отвечает: «Ну, если уж очень того хотите, то дворянство у нас, может быть, *никогда и не существовало*», очевидно в том смысле, что никогда оно не было собранием действительно «лучших людей» (8, 243). Как видим, мысль «Вестника Европы» выражена здесь гораздо резче, радикальнее. Версиловское дворянство напоминает скорее власть интеллигенции в системе Сен-Симона. Никаких привилегий, никакого «обновления самого учреждения о дворянстве». Речь идет только о силе нравственной, о силе духовной, об аристократизме ума и высших душевных качеств. Это, конечно, утопия, «огненная точка», которая тут же гаснет, никому ничего не осветив «в глубокой тьме» (8, 242). От этой «идеи чести и просвещения» князь Сокольский и другие из высшего круга, действующие в романе, не только отрекаются, а просто ее не понимают.

Так утверждается еще раз мысль, что спасение только в страннике из народа, Макаре Долгоруком, единственном носителе истинного «благообразия». Будущее России — народ, точнее, крестьянство и все те, которые к нему тяготеют, неся в себе хоть малую часть его сущности.

5

В черновиках несколько раз появляется еще одна тема, которая тоже восходит к явлениям злободневным, нашедшим свое отражение в тогдашней периодической печати. Разумею стремление среди молодежи в Америку, в эту, по словам Герцена, «усовершенствованную форму того же европейского буржуазного строя». В предыдущем романе, в «Бесах», тема эта понадобилась как одна из причин разочарования Кириллова и Шатова в передовых идеях Запада; была использована книга Огородникова, под заглавием «От Нью-Йорка до Сан-Франциско и обратно в Россию», вначале печатавшаяся отдельными статьями в № 4, 5, 6, 9, 11 и 12-м «Зари»

за 1870 год. Огородников рассказывает в одном месте о своей встрече со студентом Я. в гостинице Чикаго. Студент Я. попал в Америку по «идейным соображениям»: «воспользовавшись вакацией, он решился с самыми скудными средствами ехать в Америку, чтобы испытать жизнь американского рабочего и, таким образом, личным опытом проверить состояние человека в самом тяжелом его общественном положении». Шатов и Кириллов тоже ездили в Америку «на последние деньжонки», причем цель поездки точно передается словами студента Я. Достоевский берет их в кавычки, как цитату; они поехали в Америку, «чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего и таким образом *личным* опытом проверить на себе состояние человека в самом тяжелом его общественном положении».

У Огородникова есть рассказ о том, как в вагоне один «сухой и молчаливый янки занял его место, подставив под себя его же пальто и облокотившись на его же подушку». Этот же янки, «заметив его головную щетку, взял ее, снял свою шляпу и, небрежно причесав свои волосы, положил ее на подушку». Огородников говорит по этому поводу: *«искренность этой американской бесцеремонности мне понравилась»*. Эту историю с головной щеткой Шатов так пародирует: «Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться, мы только переглянулись с Кирилловым и решили, что *это хорошо и что это нам очень нравится*».

Студент Я. описывает Огородникову те ужасные условия, в которых живут наши эмигранты в Америке: их там беспощадно *эксплуатируют и обсчитывают*; работу им дают не по силам; они бросают одну и хватаются за другую, но та еще тяжелее. Работа чаще всего *сезонная*, и по целым месяцам ютятся они в трущобах в ожидании сезона. Шатов так конкретизирует это: «Ну и работали, мокли, мучились, уставали, наконец я и Кириллов ушли, — заболели, не выдержали. Эксплуататор-хозяин нас при расчете обсчитал, вместо тридцати долларов по условию заплатил мне восемь, а ему пятнадцать; тоже и бивали нас там не раз. Но тут-то без работы мы и пролежали с Кирилловым в городишке на полу четыре месяца рядом, он об одном думал, а я о другом» (7, 147—149).

В «Подростке» этих «идейных» соображений у молодежи, стремящейся в Америку, уже нет. Лишь в самом начале, в черновиках, появляется дважды идея об Америке: Подросток приехал в «Петербург, отыскал Витю, тот свел его с гимназистом *бежать в Америку*». И вскоре еще раз, опять в связи с Витей: «На их <передовой молодежи> проекты (*Америка, подметные письма*) смотрит свысока». В романе, в окончательном тексте, эта тема осталась неиспользованной, — у Подростка только на мгновение мелькнула мысль об Америке после того, как в игорном доме его обвинили в воровстве. Получается как будто, что в Америку отправляются теперь только люди, потерявшие честь.

Идеологическая концепция Достоевского ясна: есть только две формы общечеловеческой культуры — европейская и русская, самая свободная, еще собирающаяся сказать свое слово, в котором должны объединиться синтетически все частные идеи западных народов. И если *Макар Долгорукий*, странник из народа, — символическая фигура для этого будущего «слова»; он-то и есть один из лучших, избранных людей, истинный «князь», в романе он гордится своей фамилией, в то время как неустановившийся еще Аркадий, вращающийся среди аристократов, «главенствующих» не по идее, а по «привилегии», ненавидит свою «княжескую» фамилию, — то к нему, к Макару, должны восходить и русские частные идеи, идеи долгушинцев, коммунизм в русском понимании. «Бесах» основная группа революционеров, «коноводы», привезли свои идеи *из Европы или из Америки*, и все они, за исключением неуловимого Петра Верховенского, гибнут. Здесь же гибнет только Крафт, не верующий в Россию.

«Проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни, — и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира» (XI, 423). Так утверждал постоянно Достоевский свой реализм, как метод построения своих образов на фактах из окружающей реальной действительности, всюду ища этих фактов и раскрывая идею, в них заключенную. В № 211 «Голоса» от 1 августа 1874 года он прочитал изумительное известие: «315 семей менонитов, числом до 1500 человек, уехали через Гамбург в Америку. Все эти переселенцы

продали свой дома и хозяйства и отправились в другую Часть света искать лучшей жизни». Это уже не беспочвенная интеллигенция, а самый коренной русский народ, крестьянство, такие же странники, как Макар Долгорукий. На этот раз художник не вдумался в глубину этого факта; помешала, должно быть, все та же идея борьбы с революцией, все та же проповедь смиренного «благообразия».

И в том же «Голосе», в № 253 от 13 сентября 1874 года, письмо русского священника из Нью-Йорка о русских переселенцах: «Не проходит почти одной недели без того, чтобы русские, которые проживают в здешней стране, не обращались ко мне с просьбами о помощи или о приискании для них какого-нибудь занятия, чтоб обеспечить их существование от голода и бесприютности; при этом они постоянно высказывают горькие жалобы на то, что обманулись в своих надеждах, и сердечное сожаление, что оставили свое отечество». И вывод такой: «Всякому вообще русскому я могу лишь только отсоветовать переселяться в Америку. Еще могут найти в Америке работу ремесленники, а учителя, писцы, счетчики и т.п. ничего не найдут». «Голос» печатает это письмо «с целью обратить внимание всех намеревающихся переселиться в Америку».

Достоевский использовал из этого письма только одну поразившую его деталь, казалось бы самую несущественную. Фамилия автора этого письма, *русского священника*, — *Биоринг*. Фамилия-то его и поразила, она не только не священническая, но даже не русская. Достоевский передал ее «по принадлежности» — аккуратному, спесивому немцу из балтийских баронов, жениху Ахмаковой.

Глава VII. Биографические материалы в «Подростке»

1

В нашем исследовании мы пытались осветить тот материал, литературный и общественно-политический, который непосредственно использовал Достоевский, когда

строил свое идеологическое здание или по крайней мере упорно думал над этим материалом, прежде чем от него отказаться. Целого ряда фактов, в черновиках упоминаемых лишь вскользь, попавших в поле зрения писателя на данный короткий момент и сейчас же отброшенных, мы здесь не касаемся. Но есть среди этих «малых» записей такие пометки, которые, при всей своей отрывочности, заслуживают особого внимания, побуждая к пересмотру некоторых взглядов на творческий метод Достоевского, считавшихся до сих пор установленными.

Тургенев, Толстой, создавая своих героев, почти всегда исходили от конкретных лиц — знакомых, более или менее близких или родных, всегда имели перед собой некие живые прототипы. У Достоевского же, сходились на этом почти все критики, его герои большей частью создание художественного воображения, лишь в малой мере опиравшегося на людей из окружавшей его действительности. Они носители определенных идей, характеры их идеями и формируются. В этом их сила — сила широкого обобщения; в этом и слабость — в недостаточной конкретности.

Материалы к «Подростку», встречающиеся среди них беглые, коротенькие упоминания об именах и лицах явно этому противоречат. И портреты героев Достоевский рисует на надежной реальной основе.

В черновиках рядом с именем Ахмаковой четыре раза стоит имя какой-то Е. П. или Ел. Пав—на.

«У него <у младшего князя, Сергея Сокольского> с княгиней было вроде как у меня с Е. П. еще при жизни мужа». И в другом месте: «Обман в том, как Ел. П.—но»; смысл тот: Ахмакова обманула молодого князя, как Е. П., очевидно, его, Достоевского. И в третий раз: «У него <у князя> с княгиней, вроде как у меня с Е. П.». И наконец, такая запись: «Подросток разъясняет Анне Андреевне историю Е. П.—ны. Это была шалость. Я знаю из первых рук».

Не подлежит сомнению, что здесь речь идет о Елене Павловне Ивановой (невестке сестры Федора Михайловича, Веры Михайловны). Об ее отношениях с Достоевским рассказывает, не совсем точно, Анна Григорьевна в своих «Воспоминаниях»: «Все Ивановы очень любили свою тетку по отцу, Елену Павловну, муж которой уже

много лет был *безнадежно болен*. В семье решили, что по смерти его Елена Павловна выйдет замуж за Федора Михайловича и он навсегда поселится в Москве».¹

Анна Григорьевна вообще стремилась создать легенду о том, что все увлечения Федора Михайловича до брака с нею не были глубокими. Так рассказывает она и об Анне Васильевне Корвин-Круковской, что не Круковская отказала Достоевскому, а «ей вернул данное слово он», так как они были «диаметрально противоположных убеждений и уступить их она не могла, слишком уж она была прямолинейна». Под разницей в убеждениях нужно понимать, конечно, то, что Круковская, в 1871 году принимавшая горячее участие в восстании парижского пролетариата, была революционно настроена и в 1864—1865 годах, в этот период наиболее близких отношений ее с Достоевским, Достоевский же резко повернул вправо уже в самом начале 1864 года, в «Записках из подполья» открыв свою борьбу с идеями Чернышевского. Но повести Коуковской, печатавшиеся в «Эпохе» у Достоевского в 1864 году («Сон» и «Монах» в книжках 8 и 9), этому явно противоречат, как и противоречат всему характеру и тону рассказа Анны Григорьевны воспоминания сестры Круковской, Софии Ковалевской,² — они кажутся несравненно более убедительными, поскольку образ Федора Михайловича обрисован в них гораздо правдивее; во всяком случае без той несколько слащавой сентиментальности, которую мы находим у Анны Григорьевны, стремящейся создать из истории своей жизни с Достоевским некую идиллию в духе английских семейных романов.

Достоевский так писал Анне Григорьевне, еще до женитьбы, о своих прежних отношениях с Еленой Павловной:³ «Спросил ее <племянницу Сонечку>, что Елена Павловна в мое отсутствие вспоминала обо мне? Она отвечала: «О как же, непрерывно». Но не думаю, чтоб это могло назваться любовью. Вечером я узнал от сестры <Веры Михайловны> и от самой Елены Павлов-

¹ А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 85.

² См.: С. В. Ковалевская. Воспоминания и письма. М., изд-во Академии наук СССР, 1951, стр. 103—123.

³ Письма, т. I, стр. 451.

ны, что она все время была несчастна. Ее муж ужасен; ему лучше. Он не отпускает ее ни на шаг от себя. Сердится и мучает ее день и ночь, ревнует. Из всех рассказов я вывел заключение: что ей некогда было думать о любви. (Это вполне верно.) Я ужасно рад, и это дело можно считать поконченным». В следующем письме, от 2 января 1867 года, Достоевский снова пишет Анне Григорьевне на эту тему: «Елена Павловна приняла все весьма сносно и сказала мне только: «Я очень рада, что летом не поддалась и не сказала вам ничего решительного, иначе я бы погибла».¹

Когда Ахмакова познакомилась с князем Сергеем Сокольским, муж ее, «еще не старый человек», тоже, как и муж Елены Павловны, «имел уже, от невоздержанной жизни, удар». В черновиках отношения Ахмаковой с князем Сокольским даны в двух вариантах: в одном — они страстно влюблены друг в друга; в другом — Ахмакова только «кокотничала» с ним, и обещание ее выйти за него замуж после смерти безнадежно больного мужа было лишь шуткой. В окончательном тексте, как известно, принят второй вариант. Подросток говорит, что «раз там, за границей, в одну шутливую минуту она действительно сказала князю: «может быть» в будущем, когда овдовеет, но что же это могло означать, кроме лишь легкого слова?» Елена Павловна тоже, очевидно, сказала Достоевскому только: «может быть».

О характере Елены Павловны мы знаем очень мало. В опубликованных материалах о роде Достоевского не приведена переписка с ней семьи Ивановых, с которой она всю жизнь поддерживала близкие отношения. Но не подлежит сомнению, образ ее мелькал перед Достоевским, когда он рисовал фигуру Ахмаковой. Судя по письмам Достоевского к Ивановым, в частности к племяннице Софье Александровне, Елена Павловна была добра, проста и естественна, относилась ко всем одинаково равно, с любовью, но без страсти. Человеку почти незнакомому, брату Анны Григорьевны, она дала 2000 рублей, когда просил об этом Достоевский. Давала она денег и Паше, пасынку Достоевского, поддерживала всегда Ивановых. Когда Достоевский бывал в Москве, то обычно у нее и останавливался.

¹ Письма, т. I, стр. 454.

«Княгиня — довольно мрачный, сильно впечатлительный характер, хотя и с чрезвычайно светлыми проблесками. Светская заносчивость, нестерпимая гордость, английское упрямство и щепетильность (жена Байрона), мелкое самолюбие» — так сказано о будущей Ахмаковой в ранних записях о ней. Но тут пока еще у нее к молодому князю, будущему Сергею Сокольскому, действительно любовь, «какое-то материнское обожание, так что она прощает ему даже измены». *Лично-биографическое*, взаимоотношения с Еленой Павловной еще не всплыли на поверхность сознания. Но чем дальше, тем образ Ахмаковой все более и более смягчается. Сергей Сокольский — легкий эпизод, «как у меня с Е. П.», и Ахмакова мало-помалу приобретает ее черты.

«Живая жизнь» — сказано про нее, «простая русская красота», воплощение мягкости и доброты. В черновых набросках в сцене свидания с ней Подростка она говорит ему о своих «скверных пороках». «Какие это?» — спрашивает он. — «Открытость желания тотчас победить, привлечь, осчастливить. Как можно? Так женщина не бывает откровенна, как я. Она не должна привлекать без любви. А я — я ведь никого не люблю... Я всех люблю... Я назначена *всех* любить, стало быть, *никого*». В одном месте ей дается такая характеристика: «Катерина Николаевна есть редкий тип светской женщины — тип, которого в этом кругу, может быть, и не бывает. Это тип простой и прямодушной женщины в высшей степени».

Из области воспоминаний взял Достоевский некоторый материал и для образа отца Ахмаковой, старого князя Сокольского. В окончательном тексте его имя-отчество Николай Иванович, в черновиках же Александр Алексеевич. В одной ранней записи про жену Версилова сказано так: «Она чтит старого князя, как благодетеля их семьи (*Ал. Алексеевич*)», — это, конечно, дядя Достоевских, *Александр Алексеевич* Куманин, о котором Андрей Михайлович Достоевский говорит: «Он сделал очень много доброго нашему семейству, а по смерти папеньки он, приютил нас пятерых сирот и сделался истинным нашим благодетелем».¹ Было у него

¹ А. М. Достоевский. Воспоминания. Л., Издательство писателей в Ленинграде, 1930, стр. 37

без конца племянниц, и всем он «при замужестве давал большие приданые». Так известно — каждая из сестер Федора Михайловича получила от А. А. Куманина по 25 000 рублей и столько же, наверное, получили и дочери его родных братьев.

Эта куманинская забота о племянницах и дальних родственниках в «Подростке» несколько пародируется:

«У него <у князя> была, сверх того, одна странность, с самого молоду, не знаю только, смешная или нет: *выдавать замуж бедных девиц*. Он их выдавал уже лет двадцать пять сряду — или отдаленных родственников, или падчериц каких-нибудь двоюродных братьев своей жены, или крестниц, даже выдал дочку своего швейцара. Он сначала брал их к себе в дом еще маленькими девочками, растил их с гувернантками и француженками, потом обучал в лучших учебных заведениях и под конец выдавал с приданым» (8, 27—28).

Не знаем относительно других родственников, — сестер Достоевского Александр Алексеевич действительно взял в дом еще маленькими девочками, растил их, воспитывал и обучал в лучших пансионах.

В 1856 году Куманин был разбит параличом. В письме от 18 апреля того же года к брату Михаил Михайлович Достоевский писал: «На дядю плохая надежда. Он безвыходно живет в креслах и стал как ребенок, а братья его и племянники овладели тетужкой. Просто взяли целый дом в опеку. Каждую неделю тетужка отдает им отчет в каждой истраченной копейке».¹

Со стариком Сокольским случился не удар, а только припадок: соответственно этому смягчены и последствия; он не стал «совсем как ребенок», а сделался только уже чересчур легкомысленным, и с тех пор «*старика сторожили со всех сторон*». Его дом тоже взяли как бы в опеку: вся эта «бездна разных отдаленных родственников, преимущественно по покойной его жене, которые все были чуть не нищие», питомцев и питомиц, «которые все ожидали частички в его завещании, а потому все и помогали <...> в надзоре за стариком» (5, 27).

¹ Письма, т. I, стр. 529—530.

Из глубины далекого прошлого извлекается на мгновение еще один образ из тех, которые запомнились Достоевскому на всю жизнь: казах Валиханов Чокан Чингисович (Достоевский называет его «Чеккан Чолканович»), известный этнограф, в 1858 году совершивший смелое путешествие в Кашгар, которое чуть не стоило ему жизни.¹ Достоевский познакомился с ним, по всей вероятности, еще в Омске, где Валиханов по окончании в 1853 году Омского кадетского корпуса поступил младшим офицером в Сибирское линейное казачье войско. В 1856 году Валиханов был в Семипалатинске, и там они подружились. Человека с крайне сложной, изломанной психикой потянуло к простоте и ясности здоровой и цельной натуры, сохранившей нетронутым свой душевный строй и «достигшей образования европейского». Валиханову было тогда всего двадцать один год. Талантливый, остроумный, с пылкой фантазией, он пленял всех своим обаятельным простодушием, необычайной мягкостью сердца при крайне смелом и решительном характере. «Я никогда и ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к вам», — пишет ему Достоевский в письме от 14 декабря 1856 года.² Он называет его «дорогим, милым другом»; «судьба сделала вас превосходнейшим человеком, дав вам душу и сердце». И в таком же тоне о нем через три года, в письме к Врангелю от 31 октября 1859 года,³ когда Валиханов, по возвращении (в 1859 году) из кашгарского путешествия, очутился в Петербурге с целью поступить в университет. «Валиханов премилый и презамечательный человек <...> Я его очень люблю и очень им интересуюсь». В 1860 году они опять стали лично встречаться: литературный кружок Достоевских, образовавшийся вокруг журнала «Время», принял Валиханова очень радушно.

В Валиханове произошла за эти пять лет, что они не видались, большая перемена. Вот как об этом рас-

¹ См. новейшую работу о нем: В. А. Мануйлов. Друг Ф. М. Достоевского Чокан Валиханов. Труды Ленинградского государственного библиотечного института им. Н. К. Крупской, т. 5. Д., 1959, стр. 343—369.

² Письма, т. I, стр. 200.

³ Там же, стр. 279.

сказывает один из первых его биографов, Н. М. Ядринцев: «Валиханов много обещал сделать по истории своего народа, им было собрано большое количество материалов по киргизской мифологии и устной поэзии, а также исторических преданий о прошедших временах киргизского ханства, о борьбе партий в киргизском народе перед потерей независимости»; его «остроумные комбинации фактов и планы будущих сочинений заставляли только желать, чтобы он скорее издал свои труды». Но все это оказалось тщетным, «ожиданий, какие возлагали на него люди, коротко его знавшие», он не оправдал. Его погубила та военная среда в Омске и в Петербурге, в которой он вращался: «светский лоск, праздная гусарская жизнь, баклушество, кутежи душили в нем его самородные таланты». Н. М. Ядринцев говорит здесь о скверном влиянии на Валиханова некоторых членов из кружка Достоевского, в частности Всеволода Крестовского, которому Валиханов «во время гусарских разговоров давал шутя темы для его испанских стихотворений, а сей поэт, питаясь крохами его остроумия, немедленно строчил свои романсы». «Нам нет дела, — продолжает гневно Ядринцев, — до происхождения этих киргизско-испанских мотивов, но мы указываем на них как на образчик темных сторон даровитого киргиза, находившегося под влиянием пустой жизни <...> quasi-образованные писатели, подобные Вс. Крестовскому, потакали страстям молодого инородца; он сходил с ними, ища в них цивилизованных людей, а находил людей, проводивших в *поэтической форме разврат*».¹

Не подлежит сомнению, у Ядринцева краски крайне сгущены. Заслуги Валиханова как просветителя казахского народа и как ученого-географа весьма значительны. Какова бы ни была перемена, происшедшая в нем в последние годы его жизни, характер его оставался до конца обаятельным. Об этом свидетельствует переписка его с Ап. Майковым как раз в этот период. Нас интересует именно связь с кружком Достоевского.

«Гусарские разговоры», «темные страсти», «разврат в поэтической форме» — это те же «физические изли-

¹ «Сибирский вестник», 1866, № 3.

шествия и отступления от нормального порядка»,¹ о которых говорит Н. Н. Страхов, когда характеризует кое-кого из кружка Достоевских в первый период его формирования. Именно тогда, когда в него входил и Валиханов, эти «темные страсти», «эта странная эманципация плоти» действовали, по словам Страхова, соблазнительно и в некоторых случаях повели к последствиям, о которых больно и страшно вспоминать. «И погибали вовсе не худшие, а часто те, у кого было слабо себялюбие и жизнелюбие, кто не расположен был слишком бережно обходиться с собственной особой». Валиханов и принадлежал к этим «вовсе не худшим» и погибал действительно оттого, что не умел бережно обходиться с собою. С Крестовским он вел в присутствии других членов кружка «гусарские разговоры»; люди, очевидно, «оголялись», рассказывая о своих похождениях. Но в самих этих «гусарских разговорах» ощущалась разница между психическим строем человека, еще не потерявшего до конца свою прежнюю душевную чистоту, и человека, в основе своей нравственно нечистоплотного, каким был Всеволод Крестовский.

На перепутье между дурным равновесием ставрогинской маски и Версиловым — носителем великой идеи о будущем счастливом человечестве, когда начальный его образ «хищного типа», пребывающего во зле, начинает понемногу смягчаться и младший брат, вскоре сын (будущий Подросток), подпадает под Его обаяние, несмотря на все Его дурные поступки, о которых Он сам же постоянно рассказывает, — в воображении художника всплывает именно *поздний* Валиханов.

«Главное желание Его <будущего Версилова>, — читаем мы в одной из черновых записей, — это толковать, что порок вовсе не отвратителен. Он ненавидит *жениевские идеи* <человеколюбие> и не признает в добродетели ничего натурального». Казалось бы, это подходит больше всего к образу еще «хищного типа». Но тут же, через несколько строк, такая запись: «Его самоубийство — Подросток заступает его место на земле... О Нем Подросток говорит надгробное слово: «Он был слишком совестлив». И следует такое пояснение:

¹ Н. Страхов. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском.—В кн.: «Биография, письма и заметки из записной книжки». СПб., 1883, стр. 273—274.

«Если б я был чиновник или буржуа, говорит Он, я бы желал порядка, спокойствия, чтоб покомфортнее прожить... Мало того: сам бы поддерживал порядок. Но так как я честен и совестлив, то я (с атеизмом) хочу откровенно разрушения и злодейства...» Но, добавляется дальше, «не справился о злодейством и загрызла совесть».

О «злодействе», о своих порочных поступках Он и рассказывал Подростку в двойственном своем ощущении — было покаяние, «совесть грызла», но сказывалась и основа «хищного типа»: «Как Руссо находил наслаждение, заголиваясь, так и Он находил сладострастное наслаждение заголиваться перед юношей, даже развращать его полною своею откровенностью. Наслаждается его недоумением и удивлением». И тут же еще раз о «заголивании»: «Он сам говорит юноше. Жена его тоже все знает, до юноши Он заголивался при ней». Но нужно сделать еще один шаг, удаляясь от образа «хищного типа»; сладострастное наслаждение в «заголивании», в откровенном высказывании своих грехов заслоняется в нем его стремлением к «благообразию». Дается поэтому последний вариант: «Потом, в конце, когда жена умерла, Лиза повесилась, а мальчик сбежал: Он исповедуется сыну и говорит, что вынести не может образов; все рассказывает, как заголивался (*страшное простодушие, Валиханов, обаяние*)». (Курсив мой.— А. Д.)

Простодушие, обаяние этого простодушия — черта эта проносится через все черновики вплоть до окончательного текста, где Он рассказывает Подростку дважды о своем прошлом — как началась история с матерью Подростка и с «уездным Урием», Макаром Долгоруким.

3

Мелькал перед Достоевским в это же время еще один образ из запомнившихся ему на всю жизнь — Надежды Прокофьевны Сусловой,¹ с которой он позна-

¹ О ней см.: «Женский вестник», 1867, № 8, и Л. Ф. Змеев. Русские врачи — писатели. СПб., 1886, вып. 11, стр. 122.

комился в самом начале шестидесятых годов, по всей вероятности, одновременно с ее сестрой Аполлинарией Прокофьевной, оставившей в его личной жизни и в целом ряде его литературных произведений — след очень большой.¹

Это первая женщина — доктор медицины в России. Она была вольнослушательницей Петербургского университета, потом Военно-хирургической академии. Весною 1863 года, из академии исключенная, она уехала в Швейцарию, поступила в Цюрихский университет, окончила его в 1867 году, блестяще защитив докторскую диссертацию, которую признали весьма ценной в научном отношении. Убеждений крайне левых, Сулова печатала рассказы в «Современнике» Некрасова, участвовала в революционном движении и долго находилась под надзором полиции. Достоевский был с ней очень дружен. В письме от 19 апреля 1865 года он пишет ей: «Я в каждую тяжелую минуту к Вам приезжал отдохнуть душой, а в последнее время исключительно только к Вам одной и приходил, когда уж очень, бывало, наболит в сердце. Вы видели меня в самые искренние мои мгновения...» И дальше: «Я вас высоко ценю, Вы редкое существо из встреченных мною в жизни, я не хочу потерять Вашего сердца. Я высоко ценю Ваш взгляд на меня и Вашу память обо мне <...> У Вас теперь юность, молодость, начало жизни — экое счастье! Не потеряйте жизни, берегите душу, верьте в правду. Но ищите ее пристально всю жизнь, не то — ужасно легко сбиться. Но у Вас есть сердце, Вы не собьетесь <...> Вы мне как молодое, новое дороги, кроме того, что я люблю Вас как самую любимую сестру».²

Это единственное письмо Достоевского к ней, которое сохранилось. Но есть основание думать, что они состояли в переписке довольно долгое время. В этом же

¹ См.: А. С. Долинин. Достоевский и Сулова. — Сб. «Достоевский. Статьи и материалы», П. Л.—М., «Мысль», 1924, стр. 153—283. Также: А. П. Сулова. Годы близости с Достоевским. М., Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1928. Интересная характеристика А. П. Суловой имеется в письме Н. И. Утина Н. П. Огареву от 23 ноября 1863 г. — «Литературное наследство», т. 62. М., 1955, стр. 628—631.

² Письма, т. I, стр. 403—405.

письме Достоевский писал ей: «Вы мне всегда будете очень памяtnы». И почти через три года он так говорит О ней своей племяннице С. А. Ивановой-Хмыровой: «На днях прочел в газетах, что прежний друг мой, Надежда Сулова <...> выдержала в Цюрихском университете экзамен на доктора медицины и блистательно защитила свою диссертацию. Это еще очень молодая девушка <...> *редкая личность, благородная, честная, высокая.*»¹

Когда замысел уже окончательно устанавливается на Подростке как на главном герое: «Вообще в *лице* Подростка выразить *всю теплоту и гуманность романа*, все теплые места, заставить читателя «полюбить его», — то сразу же подчеркивается и финал романа, «последняя его страница», ее нужно «выработать знаменательнее и поэтичнее». Кончается роман вопросом Подростка: «где правда в жизни?» (которую он ищет на всем протяжении романа). И когда на последней странице он похоронил Его, посетив Долгушина и прочих, то грустная, торжественная мысль: «Вступаю в жизнь», «Гимн — быть правым человеком. Знаю, нашел, что добро и зло» — говорит он».

Но к правде Подросток должен прийти через «муки». «Он вращается в разных средах, и всюду разочарование. И с оскорбленной душой со всех сторон не знал, к кому пойти». И вот следует: «NB. Однажды, пошел к Надежде Прокофьевне, запомнил ее по симпатическому ее взгляду. Сидел у ней вечер. Та занималась; вышла: «никогда, никогда не откажусь от этой светлой идеи». И следует дальше: «Подросток вышел с умилением». Именно умилением перед теми же высокими качествами ее души и украшен тот сложный комплекс чувств, который Ахмакова вызывает в Подростке. Черты студента шестидесятых годов придает ей автор, снимая с нее маску великосветскости. Как студент со студентом говорили они часто, «читали «факты» <...> По целым часам говорили про одни только цифры, считали и примеривали, заботились о том, сколько школ у нас, куда направляется просвещение. Мы считали убийства и уголовные дела, сравнивали с хорошими известиями... хотелось узнать, куда это все стремится и что с нами

¹ Письма, т. II, стр. 73. (Письмо от 1 января 1868 г.)

самими наконец будет» (8, 282). Совсем как студентка Надежда Сусллова, активная работница в знаменитых тогда воскресных школах. В одном месте в черновиках есть об Ахмаковой такая запись: «*Ахмакова увлечена идеями социализма, которые проповедует ей Васин*».

Разумеется, здесь речь идет не о прототипности в узком смысле этого слова. Этим сопоставлением Ахмаковой с Сусловой еще раз подтверждается лишь тот факт, что в состав того материала, из которого Достоевский строил свои *громоздкие* здания, входили реальные, живые лица, черты их характера, *так*, как они им воспринимались, события из личной жизни этих лиц — не только идеи и их носители, не только проблемы, связанные с текущей действительностью, а люди, с которыми он встречался, ставил себя к ним в определенные отношения.

В одном месте в черновиках намечается такой мотив: Подросток едет из Москвы в Петербург с падчерицей «хищного типа», с Лизой, и говорит ей сначала, что отец его (будущий Версилов) домашним секретарем у министра, «у какого—позвольте мне умолчать», «жена министра—княгиня». Автор прибавляет здесь: «тон фатишки (Паша)». Это, конечно, его, Достоевского, пасынок, Павел Александрович Исаев, которому он однажды писал: «У тебя на уме хвастовство, задать шику, тону». Хвастался Исаев близостью своей с Достоевским и с начальниками тех учреждений, в которых он служил, тратил нередко последние деньги на галстуки, манишки, чтобы пофорсить. Таким он был в молодости, таким он оставался и женившись, имея уже несколько детей.

В черновых записях к третьей части Подросток говорит о кружке Дергачева: «Дергачев... разве это не благородно? Они заблуждались, они мелко понимали, но они жертвовали собою *на общее великое дело...*» И дальше: «Я заметил, что в русских юношах потребность жертвовать собой. Я же так мало сделал». И тут же добавление от автора: «А то, что в тех юношах, что аблакатишки или инженеры с дистанции (*Александр Александрович*)». Мысль, очевидно, была — молодежи, идущей в революцию, этим благородным юношам, жертвующим собою «на общее великое дело», противопоста-

вить мелких карьеристов, инженеров и адвокатов, продающих себя господствующему классу. *Александр Александрович* — это, конечно, племянник Достоевского, сын сестры Веры Михайловны, по мужу Ивановой. Он учился вначале в Московском университете, оставил его и занялся, по выражению Достоевского в одном из писем к С. Ивановой,¹ «таким неблагодарным делом, как инженерство путей сообщения». Этот Александр Александрович служил в Кременчуге в управлении Харьково-Николаевской железной дороги, дослужился до большой пенсии, был трижды женат, постоянно мечтал стать хозяином на своей ферме. «Все мы Ивановы большие эгоисты и при этом гордецы!» — так он сам однажды охарактеризовал себя.²

К реальному лицу восходит и хозяин квартиры Подростка, Петр Ипполитович, рассказывающий анекдот о камне: как «один мещанин, и еще молодой, ну, знаете, русский человек, борода клином, в долгополом кафтане и чуть ли не хмельной немножко», «утер нос» мудрым англичанам. Чтобы снести камень возле Павловских казарм, англичане потребовали пятнадцать тысяч рублей серебром, а мещанин взял всего сто рублей. В этой страсти Петра Ипполитовича рассказывать подобные анекдоты Версиров видит «стремление о чем-нибудь общечеловеческом, поэтическом поговорить», удовлетворить свое «чувство патриотическое, свою любовь к ближнему: ведь он и нас хотел осчастливить».

В черновиках этот рассказчик носит фамилию *Маркус*. Маркус, рассказывающий, «как на лодке дали знать купцы в Англию в три дня... О видении шведского короля» и т. д. И то же объяснение: «хочется сообщить, и для того чтоб наградить счастьем слушателя, и для того, чтобы быть достойным всего прекрасного и высокого». Летописец семьи Достоевских Андрей Михайлович Достоевский вспоминает добрым словом эконома в больнице на Божедомке, где состоял лекарем отец Достоевских Михаил Андреевич, — Федора Антоновича Маркуса: «Его квартира была в том же каменном флигеле, как раз над нашею квартирой и такого же расположения. Как ближайший сосед, он хаживал к нам

¹ Письма, т. II, стр. 178.

² См.: М. В. Волоцкий. Хроника рода Достоевского. М., «Север». 1933, стр. 203.

и часто проводил вечера, разговаривая с папенькой и маменькой». Рассказывал он, очевидно, действительно очень «интересные анекдоты» в соответствии с культурным уровнем родителей Достоевского, умственно ограниченного отца и наивно-сентиментальной матери. На мальчика восьми — десяти лет, Андрея Достоевского, рассказы эти производили огромное впечатление: «Я, бывало, уставлю на него глаза, только и смотрю, как он говорит, и слушаю его».¹

Глава VIII Литературные позиции

1

До сих пор наше внимание было сосредоточено преимущественно на материалах из русской действительности — из области ли литературы, или из окружающей общественной жизни. На них главным образом строил Достоевский свою широкую базу, на которой происходят идеологические состязания героев романа. Но шире должны быть раздвинуты рамки, за пределы национальные. В сложнейшие системы его художественных концепций вовлекается ряд сцен и эпизодов из творчества величайших мировых писателей. И не только как реминисценции или скрытые намеки, угадываемые по близким или далеким ассоциациям, как это было отчасти с «Исповедью» Ж.-Ж. Руссо и «Давидом Копперфильдом» Диккенса. Авторы названы, и заимствованные места прямо указаны. Они большей частью переделаны Достоевским по-своему, согласно своему методу, — видим как бы намеренное соизмерение сил.

Мы разумеем образы и сцены, использованные в «Подростке», из Шекспира, Гете, из «Лавки древностей» Диккенса, из Виктора Гюго и из «Книги песен» Гейне. Они сосредоточены в трех главах последней части романа, где получают свою развязку все главные сюжетные узлы, идея его достигает полноты своего выражения. В главе пятой приводятся сцены из «Фауста» Гете и «Лавки древностей» Диккенса, в седьмой — сти-

¹ А. М. Достоевский. Воспоминания, стр. 31.

хотворение Гейне «Покой», в восьмой — последний монолог Отелло у Шекспира, встреча беглого каторжника с ребенком, с девочкой, в холодную ночь у колодца в романе Виктора Гюго «Отверженные». О последних двух сценах сказано Версиковым, что это «такие больные сцены, которые всю жизнь потом с болью припоминаются <...> Это раз пронзает сердце; и потом навеки остается рана» (8, 524. Курсив Достоевского).

Шекспир для Достоевского неприкосновенен. Его он никогда не изменяет, тем более не переделывает. И вряд ли только потому, что свят его авторитет, — сказывается в этом, быть может, их *конгенитальность*, одинаковость их мировосприятия, трагическая его основа. В таком смысле слова Горького о Достоевском: «По силе изобразительности его талант равен может быть только Шекспиру»¹ — были бы не только мерой величины таланта Достоевского, а и указанием на то, что, по выражению Герцена, «ход», через который они проникают в окружающий мир и в сердца людские, у них один и тот же.

В последней сцене пятого действия Отелло произносит свой последний монолог у трупа убитой им Дездемоны. Трагедия достигает здесь своей вершины в понимании Достоевского именно как трагедия «самоказни» человека потерявшего лучшее, что только возможно на земле. «Отелло не для того убил Дездемону, а потом убил себя, что ревновал, а потому, что у него отняли его идеал» — так сказано здесь же, в «Подростке», в четвертой главе второй части. Высокий дух, истинный герой, великодушный, доверчивый, наивный, как дитя, стал жертвой «полудьявола», коварного, мстительного Яго; Отелло собственными руками убил свой идеал, «высшее совершенство красоты, ума и непорочности, какое только возможно на земле», и должен тут же сам погибнуть — ему больше нечем и не для чего жить: «Кто преодолеть судьбы веленье может? Моя пора минула, мой путь свершен, и здесь его конец, здесь пристань та, где мой корабль спускает все паруса». Мужественное сердце охвачено печалью, «из очей, к слезливым ощущениям непривычным, текут струей обильной слезы». Он обращается к трупу Дездемоны: «Несчастливая, как изменилась ты! Бледна, как ткань твоей со-

¹ А. М. Горький. Собрание сочинений, т. 27, стр. 314.

рочки <...> Ты холодна, ты холодна, подруга, как чистота твоя... Дездемона мертва. О, Дездемона! О! О! О!» И Последние его слова, когда, умирая, падает на труп: «С поцелуем я убил тебя, и с поцелуем я смерть свою встречаю близ тебя».¹

Этой последней сцены Отелло с Дездемоной Достоевский не переделывает, но она явно ощущается как фон, как скрытый план в сцене Версилова с Ахмаковой, тоже последней. Катерина Николаевна Ахмакова, как Дездемона, тоже идеал нравственного совершенства, целомудрия, красоты, веселого ума, — «живая жизнь». Она в глубоком обмороке, точно мертвая. Версильов «пристально с минуту смотрел ей в лицо и вдруг, нагнувшись, поцеловал ее два раза в ее бледные губы» (8, 610), и после этого сейчас же следует его покушение на самоубийство. Как и Отелло, дается дальше пояснение, Версильов «хотел застрелить ее, а потом себя». Но катастрофы не произошло. Хотел, но не застрелил себя, а только ранил. Не обладая душевной цельностью Отелло, «рефлексер» Версильов оказался героем трагедии лишь отчасти.

Вершиной художественного совершенства для Достоевского является и эпизод из пятой главы второй книги романа Виктора Гюго — встреча беглого каторжника с ребенком. «Les Misérables я очень люблю сам, — пишет он в одном из писем к С. Я. Лурье за 1877 год. — Они вышли в то время, когда вышло мое «Преступление и наказание» <...> Покойник Ф. И. Тютчев, наш великий поэт, и многие тогда находили, что «Преступление и наказание» несравненно выше «Misérables». Но я спорил со всеми и доказывал всем, что «Les Misérables» выше.. моей поэмы, и спорил искренно, от всего сердца, в чем уверен и теперь, вопреки общему мнению всех наших знатоков <...> Прелестна фигура Вальжана, и ужасно много характернейших и превосходных мест <...> Там, где у него эти падшие люди истинны, там везде со стороны Виктора Гюго *человечность, любовь, великодушные*».² Именно в этой встрече беглого каторжника с ребенком, в холодную зимнюю ночь, у колодца, сказала «человечность» Гюго с особой силой.

¹ В. Шекспир. Собрание сочинений, т. III. СПб., Брокгауз — Ефрон, 1903, стр. 360—362.

² Письма, т. III, стр. 264.

Он передает страдания загнанной восьмилетней девочки совершенно на манер Достоевского в первом его романе «Бедные люди» (сцена с бедной девочкой Горшковой у гроба своего брата) — не жестами отчаяния, не истерическими рыданиями, а тихими, сдавленными стонами, невольно вырывающимися из ее израненного детского сердца.

В глухую, темную декабрьскую ночь Козетту посылают далеко в лес за водой, она испытывает ужас, на нее надвигается густой мрак страшного леса, ей мерещатся звери, привидения, притаившиеся под каждым деревом; бросить ведро, бежать скорее обратно, будь что будет. Но она не смеет, призрак хозяйки постоялого двора, ее пославшей, «отвратительной, страшной, с пастью гиены и сверкающими от ярости глазами»,¹ еще страшнее привидений, и она бежит к колодцу. Она делает огромное усилие над собой, наполняет водой громадное ведро и, усталая от напряжения, как сноп падает на землю. Обратный путь еще страшнее, ведро тяжело, тащить его ей не под силу; идет нагнувшись, с опущенной головой, совсем как старуха; костенеют ее руки от тяжести... Восьмилетняя девочка, одна-одинешенька в лесу, ночью зимой! И вот, в этот самый момент, когда рыдания сжимали ей горло и у нее невольно вырвалось восклицание: «Ах, боже мой, боже мой!», она вдруг почувствовала, что кто-то отнимает у нее ведро и с силой тащит его кверху. Это была первая встреча с ней беглого каторжника Вальжана.

Вот она, одна из тех сцен, ради которых Иван Карамазов готов «уменьшить размеры своей аргументации раз в десять», остановиться на страданиях одних детей, чтобы «не дать уму-подлецу вилять и прятаться» (9, 296, 298), когда дело доходит до отчаяния в горестных размышлениях человека над трагедией мировой истории. Достоевский эту сцену оставляет неприкосновенной.

Но кардинально перестраивается сюжет из «Фауста» — двадцатая сцена из первой части трагедии, где Гретхен, мучимая совестью, приходит в собор молиться. Для Достоевского, как и для Герцена, Гете великий поэт, мыслитель, но не трагик: он слишком «олимпиец»,

¹ В. Гюго. Собрание сочинений в пятнадцати томах, т. 6. М., Гослитиздат, 1954, стр. 442.

сладком равнодушен к судьбам человеческим. Картины у него пышные, но холодные. Обстановка богата зрительными и слуховыми эффектами; «внутренний портрет», психология передается обычно скупо, слабо раскрывается.

Вот как у Гете представлен этот «сюжет»:¹ невинная Гретхен должна быть осуждена на смертную казнь за гибель матери и брата, и она молится в последний раз. Но «злой дух» Мефистофель смущает ее молитву: «На душе твоей какой тяжелый грех?.. Мать <...> тобой для долгих-долгих мук усыплена. Чья кровь у дома твоего?» И думы теснятся отовсюду к ней и в душу проникают. И дальше начинаются такие эффекты: к Мефистофелю присоединяется в готическом соборе могучий хор, он сурово гремит:

Dies irae, dies illa
Solvat sadeculum in favilla

(День гнева, этот день испепелит мир.) Злой дух раскрывает смысл этих слов, грозя ей вечным наказаньем: «Гнев неба над тобою. Труба звучит, заколебались гробы; душа твоя из бездны праха для мук ужасных огня и ада, дрожа, встает!»

Гретхен в ужасе: «О, если б мне уйти отсюда! Мне грозный гром органа дышать мешает, меня терзает это пенье до глубины сердечной!»

Judex ergo cum sedebit
Quid quid lacet adparebit.
Nil inultum remanebit

(Когда воссядет высший судия, все, что скрыто, станет явным, никто от возмездия не спасется).

Тогда Гретхен в отчаянии кричит: «Как душно мне! Как эти арки, эти своды теснят меня! Воздуха, воздуха больше!»

А злой дух издевается над ней: «Беги! Но грех и стыд не будет скрыт. Что? Воздуха? Света? Горе тебе!»

И в третий раз хор:

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Quem vix justus sit securus?

¹ Гете. Фауст. Перевод с немецкого Н. Холодковского. М., Гослитиздат. 1956, стр. 202—204.

(Что скажу я тогда, несчастный? Кого упрошу защитить меня, когда даже праведник вострепещет?)

И опять злой дух, чтобы усилить ужас Гретхен: «Свой лик пресветлый отвращают святые от тебя, и руку протянуть им, чистым, страшно! Увы!»

Тогда хор продолжает:

Quid sum miser tunc dicturus?

(Что скажу я тогда, несчастный?)

И Гретхен падает в обморок со словами: «Соседка, ваш флакон!»

Достоевский всю эту сцену интерпретирует по-своему, согласно своему художественному методу: злой дух Гете теряет облик Мефистофеля, циника, всегда только издевающегося над своей жертвой; это голос «внутренний» самой Гретхен, голос терзающей ее совести; «тенор, непременно тенор», — следует ремарка Достоевского. И «начинает он тихо, нежно» — с светлых воспоминаний ее невинного детства; и в нотах его «слезы, тоска, безустанная, безвыходная, и, наконец, отчаяние: «Нет прощения, Гретхен, нет здесь тебе прощения!». И, точно отвергая все дальнейшие сцены у Гете, вплоть до последней — они только вредят трагической целостности картины, — Достоевский берет из финала первой части «Фауста» только два момента и ими кончает — молитву Гретхен и слова Мефистофеля «она навек погибла!». Причем *дважды*, подчеркивает свое несогласие с Гете. У Гете *вначале* ее молитва и потом слова Мефистофеля. Нет, не так надо: песня сатаны, голоса внутреннего, вдруг обрывается почти криком: «Конец всему, проклята!» «И вот *тут* ее молитва», — *тут*, а не раньше, не до проклятия. И всего только четыре стиха, а не пять, как у Гете. Последняя строка: «Ты, Генрих, страшен мне» — нарушает весь характер ее молитвы, «наивной, без всякой отделки, в высшей степени средневековой».

«Суд божий, предаюсь тебе я! Спаси меня, господь! О, боже, я твоя! Вы, ангелы, с небес ко мне слетите, меня крылами осените!»¹ И вот когда с Гретхен обморок — *после молитвы*, не как у Гете, в двадцатой сцене

¹ Гете. Фауст, стр. 234.

после хора. У Гете она падает в обморок со словами: «Соседка, ваш флакон!» Это звучит почти комически, настолько они неуместны, — сплошная безвкусица. Никаких слов: «Смятение. Ее поднимают, несут». И тут торжественный финал: «хор вдохновенный, победоносный, подавляющий <...> восторженный, ликующий, всеобщий возглас: «Hosanna!» (8, 482—483). У Гете же один только холодный намек: «Голос свыше: спасена!».

Место из «Лавки древностей» Диккенса, о котором говорит Тришатов сейчас же после сцены из «Фауста», является особенно ярким примером того, как Достоевский властно распоряжается заимствованными картинами, перестраивает их своим художественным методом, по своей идеологии, и они становятся органическими частями в системе его собственных образов. Характерно здесь уже само слово «*в конце*» («помните вы там одно место в конце»). В «Лавке древностей» об этой прелестной тринадцатилетней девочке, Нелли, когда она очутилась в храме, рассказано в главе пятьдесят третьей, за которой следует еще целых двадцать глав о дальнейшей судьбе всех действующих лиц романа.

Но, по Достоевскому, это место — вовсе не эпизод, а самое значительное в произведении, оно «ввек не забудется, осталось во всей Европе»; оно именно должно быть «*в конце*», в финале романа, как *основной его символ*.

И вот как оно переделано. У Диккенса эта сцена в христиански-пиэтическом стиле покорности, примирения с несчастьями человеческой жизни, утешения в скорбях. Действие происходит вовсе не на паперти готического средневекового собора, как у Достоевского, а на скромной башне старой деревенской кладбищенской церкви. И никто девочку не видит, никто не глядит на нее «страшным остановившимся взглядом». Сверкает солнце благодатное, утреннее, молодое, символ вечно обновляющей силы. Перед глазами великолепная картина: зеленые поля и леса до самого горизонта; на лугах пасутся коровы; между деревьями поднимаются струйки дыма; дети играют внизу. Все так прекрасно, так полно мирного счастья! Несколькими минутами, раньше, до того, как девочка поднялась на башню, старая церковь со своими сгнившими дубовыми брусьями,

сдающими арками, разваливающимися стенами и истертыми надписями на горделивых памятниках казалась девочке символом разрушения: всему предстоит один конец — обратиться в прах. Успокоила ее несколько тогда «вечная священная книга». Библия. Когда она стала ее читать, то вдруг представилось ей, как здесь, должно быть, хорошо весной — вокруг храма распевают птицы, распускаются цветы... И сколько бы поколений ни сменилось, здесь все останется по-прежнему. Каждую весну будут повторяться те же сцены, будут слышаться те же звуки. Но все же это не полное успокоение. Только теперь, стоя на башне, на высоте, она окончательно успокоилась, перешла от смерти к жизни и приблизилась к небесам.

Для Достоевского этот сентиментальный диккенсовский оптимизм, очевидно, неприемлем. У Диккенса весь роман-то построен так, что торжествует в нем одна добродетель, а порок сурово наказан. И нужно, чтобы утешилась в конце своего короткого, обрывающегося жизненного пути и девочка Нелли, наиболее страдающая в романе; она должна *рассуждать*, найти оправдание в своей личной трагедии и трагедии всего окружающего в духе христианского оптимизма.

Но разве можно примириться с муками ни в чем не повинного ребенка? Здесь все загадка, все тайна. И неизмеримо раздвигаются пределы во времени, сближаются века — не обыденная деревенская церковь, а готический средневековый собор, мрачный и суровый. И не радостное утреннее солнце, навевающее сладостные мысли о вечно повторяющейся весне, а последние лучи закатающегося солнца. И смотрит девочка на закате «с тихим задумчивым созерцанием в детской душе, удивленной душе» (8, 483). Именно без всяких слов, без всяких размышлений, одно только тихое созерцание. А чтобы еще резче подчеркнуть эту задумчивую печаль, не приобретшую еще слова для своего выражения, появляется на ступеньках храма сумасшедший старик, дед; он глядит на девочку остановившимся взглядом.

Помнил ли Достоевский хорошо в деталях пятьдесят третью главу, когда он рисовал эту свою картину? Если помнил, то почти лукавыми кажутся его слова здесь: «Знаете, тут нет ничего такого, в этой картинке у Дик-

кенса, совершенно ничего» (8, 483). Именно нет *такого*, нет того, что создано здесь *целиком* Достоевским.

Использовано здесь в «Подростке» очень своеобразно и стихотворение из Гейне «Видение Христа на Балтийском море» (5, 520).¹ Название неточное. У Гейне оно названо «Frieden» («Покой») и входит в цикл песен его «Das Buch der Lieder» («Книга песен»), озаглавленный «Nordsee» (Северное, а не Балтийское море).

Рисуется у Гейне фантастическая картина, как Христос вновь появляется к людям, полный любви и страдания, и сияние, исходящее от него, от его «пылающего как солнце» благодного сердца, совершает чудо — человек перерождается, снова становится совершенным. Скажем мимоходом: не подлежит сомнению, в этом виде, как волшебный сон, как фантазия, видение должно занять свое место среди источников «Легенды о великом инквизиторе» в «Братьях Карамазовых». Может быть, именно сюда-то и восходит первоначальный ее замысел, в особенности если принять во внимание тот смысл, который придается этому вторичному появлению Христа Версиловым в его мечте о финале человеческой истории, о «золотом веке».

Идеален образ Христа для неверующего Гейне, как и для Достоевского, и тоже не как «богочеловек», а как «человекобог», каким его воспринимали французские утописты, у нас — петрашевцы: «нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа».² Таким Христос и является в этом «Видении»:

«Высоко в небе стояло солнце среди белых облаков.

Море было тихим, и я задумчиво лежал у корабельного руля в мечтания погруженный, и в полуяви, в полусне видел я Христа, спасителя мира.

В реющем белом одеянии он величественно шествовал над сушей и над морем <...> И в груди, как сердце, нес он солнце, красное, пылающее солнце.

И это пламенное солнце-сердце лило свои лучи бла-

¹ См.: В. Л. Комарович. Достоевский и Гейне. — «Современный мир», 1916, № 10, стр. 97—107.

² Письма, т. I, стр. 142. (Письмо к Н. Д. фон Визиной от двадцатых чисел февраля 1854 г.)

гие, свой милый и блаженный свет, сияющий и греющий, на землю и на море.

Колокольные звоны влекли торжественно, как лебеди, за розовые ленты, скользящий корабль; играя, влекли его к зеленому берегу, где люди живут в нагроможденном высокими башнями городе.

О чудо покоя! Как тих этот город!

Замолкли все шумы глухие ремесл болтливых, удушливых.

И по чистым и глубоким улицам двигались люди в белых одеждах с пальмовой веткой в руке.

И когда двое встречались, они глядели друг другу в глаза, с сочувствием, и, дрожа в любви и отречении сладком, целовали в лоб друг друга.

И взор поднимали вверх, к солнцу-сердцу Спасителя, что вниз посылает лучи примирения и радости, — свою красную кровь.

И трижды блаженные, они восклицали: «Хвала Иисусу Христу!»

Но дальше у Гейне крутой поворот к современности. Величавый образ Христа как символ нравственного совершенства нужен ему главным образом как контраст отвратительному лицемерию немецкого филистера, этой воплощенной пошлости, уже давно потерявшего веру в какие бы то ни было идеалы:

«Столь слабый головой и суставами, но в вере столь сильный!

Ты, в душевной простоте почитающий Троицу и ежедневно целующий моську, и крест, и ручку высочайшей покровительницы!

Ты, ханжой пробиравшийся в надворные советники, потом в советники юстиции и наконец в члены правительства благочестивого города, где дает всходы песок и вера и где вода терпеливая священной реки Шпре смывает души и разбавляет чай; если б только мог ты выдумать такой сон, о милейший! Ты понес бы его на продажу высшим мира сего, и твой. кроткий моргающий лик весь бы расплылся в благоговении и смирении.

И вот уж ее сиятельство, в восторге и трепете сладком с тобой молясь, опустилась бы рядом на колени, и глаза ее, в блаженстве сверкая, обещали бы прибавку тебе в сто прусских талеров золотом.

А ты бы, руки сложив, лепетал: «Хвала Иисусу Христу!»¹

Опошлены в жизни высокие идеалы первоначального христианства; его проповедь истинной любви и братства между людьми — сон, фантазия. Погасла великая идея в опустошенном сердце немецкого мещанина, лепечущего хвалу Христу только «за сто прусских талеров».

Таков действительный ход истории; Христос отодвигается в далекое прошлое. Здесь же, в «Подростке», у Версилова Христос снова воскресает в конце пути европейского человечества, когда идеалы Христа оказались полностью осуществленными. Размеры картины расширяются.

Гейневский поцелуй в лоб превращается во всезахватывающую любовь, одинаково простирающуюся на всех людей и на всю природу. Осуществилась наконец мечта, «самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть» (8, 514).

Так Христос как символ высшего нравственного идеала появляется у Достоевского не для контраста, не для обличения низменности стремлений современного человека, а по завершении, согласно терминологии Достоевского, «дела Христа-человекобога», в финале человеческой истории, когда будут осуществлены на земле истинное братство, любовь и свобода.

Сходятся начала и концы истории.

2

«Чтобы написать роман, надо запастись, прежде всего, *одним* или *несколькими* сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. *В этом дело поэта*. Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое. Тут дело уже художника, хотя художник и поэт помогают друг другу и в том и в другом — в обоих случаях». Так, помним мы, разграничил До-

¹ Г. Гейне. Полное собрание сочинений, т. I. М., Гослитиздат, 1938, стр. 171—173.

стоевский, еще в самом начале работы над «Подростком», *момент возникновения* художественного замысла и *процесс дальнейшего его развития*. Этих впечатлений, действительно пережитых сердцем автора — от фактов, событий, идей и лиц из окружающей современной действительности и из далекого и близкого прошлого (Как видно из предыдущих глав), — было у него слишком много. И в этом, очевидно, источник того «недостатка», на который указал ему Страхов: что он «не управляет своим талантом», чересчур загромождает свои произведения, чересчур их усложняет: «вместо двадцати образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен».¹ Достоевский сам признавал этот свой «главный недостаток». «Да, — отвечал он Страхову, — я страдал этим и страдаю; я совершенно не умею, до сих пор, (не научился), совладать с моими средствами. Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии».² Из каждого пережитого впечатления вырастала своя тема, свой план; «дело поэта», *сила «поэтического порыва»* мешали «делу художника», созданию «стройного целого», оказывались, как он говорит, «сильнее средств исполнения». Достоевский писал Страхову, что он «страдал от этого сам уже многие годы», но осознал ясно, осознал это после «Бесов», по поводу которых и было «суждение» Страхова.

Сиял перед Достоевским идеал «гармонии», полное согласие между «делом поэта» и «делом художника», — творчество Пушкина, и к нему-то он и обратился, когда встал, в связи с «Подростком», тот же вопрос: как устранить этот «главный недостаток», избежать ту ошибку в «Идиоте» и в «Бесах», где «второстепенные происшествия <...> второстепенные эпизоды затемняли главную цель, а не разъясняли, и читатель, сбитый на проселок, терял большую дорогу, путался вниманием». Еще летом 1874 года стало сказываться это губительное многообразие «пережитых сердцем» впечатлений; планы к «Подростку» расплзались в разные стороны. И вот он — какой уж раз! — снова и снова перечитывает Пушкина. «После кофе утром, — пишет он

¹ «Шестидесятые годы». Л., изд-во Академии наук СССР, 1940, стр. 271. (Письмо Страхова от 12 апреля 1871 г.)

² Письма, т. II, стр. 358

жене из Эмса 16 июня, — я что-нибудь делаю; до сих пор читал только Пушкина и упивался восторгом, каждый день нахожу что-нибудь новое».¹ И, на Пушкина опираясь, Достоевский дальше в разработке сюжета смелее делает свои неожиданные повороты.

Когда в черновиках Достоевский дает впервые Подростку его идею «стать Ротшильдом», «первым человеком, царем всем и каждому», который «может *отметить* всем обидчикам... Отметить или сделать бесконечно много добра», то он сразу дает ему черты Скупого рыцаря: «система же его — копление, сила воли, характер, уединение и тайна». И тут же: «NB. Поражает его нищий, имевший в подкладке 20000». Этот нищий во всем себе отказывал; силу воли, характер он проявил в том, что ставил себя выше обычных человеческих страстей; мог бы наслаждаться в жизни, как и все люди; наслаждаться сладострастно их рабским преклонением. «Все-то меня не хотят и приметить, высокомерно проходят мимо, а чуть обратятся ко мне, то непременно свысока и даже презирая. А если б знали, что я уже сила, что еще несколько времени и я вдруг явлюсь, даже теперь могу явиться!» Но — следует цитата из Пушкина — «С меня довольно сего сознания». В окончательном тексте, в пятой главе первой части, где подробно развивается идея Подростка, «Скупой рыцарь» прямо и указан как первоисточник: «Я еще в детстве, — говорит Подросток, — выучил наизусть монолог Скупого рыцаря у Пушкина: выше этого, по идее, Пушкин ничего не производил! Тех же мыслей я и теперь» (8, 100).

Первоначально идея Подростка «стать Ротшильдом» должна была пройти по всему роману, быть одним из основных композиционных факторов. Когда же ее отодвинула идея «благообразия», то вновь открылись широко двери для всех «тем и планов», развивающихся из «пережитых сердцем впечатлений». «Благообразию» должно быть противопоставлено «безобразие» в разных формах и видах. Подросток должен вступить на правильный путь после долгих борений и нравственных исканий. И вот тогда вопрос о «средствах», о создании «стройного целого» снова встал с той же остротой. И снова автор обращается к Пушкину. 12 августа, как

¹ Письма, т. III, стр. 108.

мы знаем, появилась впервые мысль: «писать *от себя*. Начать словом Я». Все события должны быть рассказаны в виде «исповеди великого грешника», то есть Подростка. «Начать прямо и *сжато*: как и почему захотел быть богатым. Когда явилась идея... И уже после о том, что у него отец в Петербурге и кто его отец, и как он туда поехал» и т. д... «*Исповедь необычайно сжата (учиться у Пушкина)*».

Форма исповеди, рассказ Подростка «от Я» — это нечто вроде компромисса со своим «главным недостатком»: можно «множество отдельных романов и повестей втискивать в один», в центре будет Подросток; все должно быть передано сквозь призму его души, как ступени его нравственного восхождения. Следует запись (уже раз приведенная нами): «В конце романа (исповеди) смысл тот, что он. Подросток, воем виденным и пережитым поражен, раздавлен, собирается с духом и мыслями и готовится переменить на новую жизнь. Гимн всякой травке и солнцу (финальные строки)».

Таким образом, сам собою вырисовывается тип юноши: и в неловкости рассказа, и в том, «как жизнь хороша», и в необыкновенной серьезности характера. «(Как в повестях *Белкина* важнее всего сам Белкин, так и тут прежде всего обрисовывается Подросток)». Но само собою разумеется, это сближение с Белкиным намечает отдаленно лишь некую тенденцию, оправдывает в какой-то мере самую форму «от Я». Пушкинскую прозу, в частности «Повести Белкина», воспринял как устарелую Толстой, при всей новизне своего художественного метода гораздо более приверженный к старым литературным традициям, чем Достоевский: «Теперь справедливо в новом направлении *интерес подробностей чувства* заменяет интерес самых событий. Повести Пушкина голы как-то».¹ «Интерес подробностей чувства», уход «извне вовнутрь», глубина и тонкость психологического анализа — это ведь и есть преимущественно область Достоевского, его «средства» к познанию окружающего мира.

Вторая ориентация на повести Белкина формулирована уже более ограниченно: «Вообще в лице Под-

¹ Л. Н. Толстой, т. 46, стр. 188. Дневниковая запись 1 ноября 1853 г.

ростка выразить всю теплоту и гуманность романа, все теплые места (И. П. Белкин), заставить читателя полюбить его». Это уже следование Пушкину не столько в смысле композиции, сколько *эмоционального* освещения главного персонажа. Остается все же вопрос: как быть с этим «главным недостатком», с этим множеством тем и планов, десятками образов и сотнями сцен? И прежде всего можно ли, естественно ли это будет — передать девятнадцатилетнему подростку, как автору, эту манеру свою: событие из внешнего мира представлять всегда как «последний» акт драмы, где «полем битвы является сердце», внутренний мир человека?

«*Форма, форма!*» — восклицает Достоевский. — (Простой рассказ а la Пушкин)». «Т. е., — поясняется через несколько строк. — Тон таков. Рассказ, например Его <Версилова> отношений к княгине <Ахмаковой>... Они расстались врагами. И вот в каком положении застал дело Подросток и т. д., т. е. а la Пушкин — рассказ обо всех лицах *второстепенно: первостепенно* лишь о Подростке, т. е. поэма посвящена ему. Он *герой*». И не только в этом отношении подражать Пушкину. Важнее всего придерживаться пушкинской *последовательности* в ходе развития действия, сжимать себя в тиски его мудрой словесной и сюжетной сдержанности: «Писать *по порядку*, короче а la Пушкин», «Короче писать. (*Подражать Пушкину*)». И крупно: «Совершенным быстрым рассказом *по-пушкински*». (Курсив мой.—Л. Д.).

Так мечтал Достоевский в первой стадии работы над «Подростком», что Пушкин будет служить ему опорой в его стремлении избавиться от «главного недостатка». Но осилил, конечно, «*недостаток*». Страхов был прав, когда писал Достоевскому: «Недостаток этот, разумеется, находится в связи с Вашими достоинствами». «Ослабить творчество, понизить тонкость анализа», остановиться на одном образе и десятке сцен вместо двадцати образов и сотен сцен Достоевский органически не мог.

Отошли от пушкинской прозы очень далеко все крупнейшие современные писатели: и Тургенев, и Гончаров, и Лев Толстой. С Тургеневым Достоевский был связан еще с сороковых годов и часто сравнивал свою литературную судьбу с его судьбой, как и с судьбой

Гончарова, о котором всегда отзывался как о замечательнейшем нашем романисте. Но оба они «чужие» по своему художественному методу. В частности, про Тургенева сказано так в одной из черновых записей к «Подростку»: «Слишком сильная *бесспорность* признания иных писателей значительными и даже великими свидетельствует отчасти о неглубокости этих писателей, о том, что они «по плечу» золотой середине (Тургенев)».

Достоевский упрекает Тургенева в элементарнейшем незнании человеческой души. «Momento, — пишет он о нем в другом месте, — Тургенев в суждении об убийце... только тупость воображения и соображения». Это по поводу слов. в «Казни Тропмана»: «Сдавалось, мы не в 1870 году — а в 1794; мы не простые граждане — а якобинцы, и ведем на казнь не вульгарного убийцу — а маркиза-легитимиста» («Сдавалось» ему, Тургеневу, *так*, ударился в фальшивую романтику, оттого, что человеческой души не знает). Тургенев пишет дальше: «Замечено, что осужденные на казнь по объявлении им приговора либо впадают в совершенную бесчувственность и как бы заранее умирают и разлагаются; либо рисуются и бравируют; либо, наконец, предаются отчаянию, плачут, дрожат, умоляют о пощаде... Тропман же не принадлежал ни к одному из этих трех разрядов». И вот Тургенев никак не может объяснить «этого спокойствия, этой простоты и как бы скромности» Тропмана: «то ли, что <...> он «фигурировал» перед зрителями <...> врожденное ли бесстрашие, самолюбие ли <...> гордость борьбы <...> или другое еще неразгаданное чувство».¹

Никакого «неразгаданного чувства» здесь не было, все это «из книжки», из «литературы», утверждает Достоевский. (Тургенев же сам пишет дальше, что «отвернулся от зрелища».) «Тупостью воображения и соображения»² — вот чем нужно объяснить спокойствие Тропмана.

Нет, Тургенев ему, Достоевскому, совершенно чужд.

¹ И. С. Тургенев. Собрание сочинений, т. 10. М., Гослитиздат, 1956, стр. 410-411.

² См.: А. С. Долинин. Тургенев в «Бесах». — Сб. «Достоевский. Статьи и материалы», стр. 119—138.

А Гончаров еще в пятидесятых годах был охарактеризован Достоевским как «блестящий талант», но «с душою чиновника, без идей и с глазами вареной рыбы».¹ Гончаров слишком спокоен, слишком далек от волнующих вопросов сегодняшнего дня. А про «Обрыв» сказано позднее Достоевским: «Экая старина! Экая дряхлая пустенькая мысль!»²

Здесь речь не о том, прав ли. Достоевский в своих суждениях и каким чувством продиктованы его суровые оценки. Важно его сознание, что с Тургеневым и Гончаровым ему совершенно не по пути. Среди названных здесь трех крупнейших писателей только Толстой, о котором, по поводу его «Анны Карениной», Достоевский сказал: «Такие люди <...> суть учителя общества, наши учителя, а мы лишь ученики их» (XII, 233), — только Толстой тоже отличался тонкостью анализа, строил свои сюжеты очень сложно, тоже вводил в них множество образов и сцен. Вот с кем можно себя сравнивать. Намекает на это и Страхов, когда пишет Достоевскому о «главном его недостатке»: «Очевидно — по содержанию, по обилию и разнообразию идей Вы у нас первый человек, и сам Толстой сравнительно с Вами однообразен».³

В устах Страхова, писавшего тогда свои знаменитые статьи о «Войне и мире» как о великом русском «новом слове», равного которому нет не только в русской, но и мировой литературе, это звучит, может быть, не совсем искренне, — важен факт: когда думаешь о Достоевском, о чрезвычайном богатстве его идей и образов, то на память приходит именно Лев Толстой.

И Достоевский во всех стадиях работы над «Подростком» о Толстом думает неустанно. Детство Аркадия Долгорукова — и детство Николиньки Иртеньева; Левин — и Версилов; «Анна Каренина» начала печататься одновременно⁴ с «Подростком». И главное, вся галерея образов из «московского средне-высшего круга» у Толстого, наиболее рельефно показанная в «Войне и ми-

¹ Письма, т. I, стр. 199. (Письмо к Врагелю от 9 ноября 1856 г.)

² Там же, т. II, стр. 170.

³ «Шестидесятые годы», стр. 271.

⁴ «Русский вестник», 1876, № 1.

ре», — и его, Достоевского, растерзанные люди из «подполья». И здесь особенно характерна его крайняя заинтересованность. Не с тем, чтобы следовать Толстому в умении создавать «стройное целое», проводит он параллель между собою и им. Он идет преимущественно, так сказать, *по содержанию*, в полном убеждении, что «средства» содержанием и определяются. На нем, на творчестве Толстого, он стремится осознать свое своеобразие, утвердить законность *своего* пути. Еще больше — свое единственное право на всеобъемлемость; он и только он, а не Толстой понимает Россию, создает истинно широкие типы.

Еще с самых первых набросков к роману, когда Лиза еще не дочь Его (Версилова), а падчерица и Подросток впервые знакомится с нею в поезде, по дороге из Москвы в Петербург, мы встречаем такую фразу: «Нет, — говорит она Подростку, — это вы поэт мелкого самолюбия, а не граф Толстой». Смысл этих слов поясняется в другом месте, в черновиках ко второй части романа, там, где Достоевский, как будет показано дальше, пытается выступить с возражением против критиков, отрицательно отзывавшихся о первой его части. «Представителями мелкого самолюбия» кажутся ему все «герои, начиная с Сильвио <в «Выстреле» Пушкина> и «Героя нашего времени» до князя Болконского и Левина». Николинка Иртеньев в «Детстве» тем более герой самолюбия — «маленький герой большого самолюбия».

Князь Болконский и Левин — Достоевский называет его в одном месте «грустный Левин» — люди неудовлетворенные, в какой-то мере тоже ненужные, страдающие. Посмеиваясь над ними, Достоевский в то же время мимоходом задевает всю старую литературу, как бы себя одного ей противопоставляя. Сильвио, «Герой нашего времени», Болконский и Левин «дурно воспитаны»;

они «могут исправиться, потому что есть прекрасные примеры (Сакс в «Полиньке Сакс», тоже немец в «Обломове», Пьер Безухов, откупщик в «Мертвых душах»)». Пьер Безухов рядом с «немцем», неудачным Штольцем и гоголевским «идеальным откупщиком» во втором томе «Мертвых душ» — это звучит почти издевательски. Другое дело — Ростов, туповатый, самоуверенный, корнями сидящий в старых дворянских традициях; здесь креп-

кая, установленная форма, полная душевная гармония, «*нажитые Ростовы*», нажитые всей прошлой дворянской культурой; это ее венец, тип, который она выработала.

В окончательном тексте об этом законченном типе Ростовых пишет Подростку его бывший воспитатель Николай Семенович, появляющийся в эпилоге романа в роли резонера, высказывающего взгляды самого Достоевского. Этот «воспитатель» воображает себе некоего «идеального русского романиста», который хочет представить «хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для *изящного воздействия* на читателя». Положение такого романиста было бы совершенно определенное: «он не мог бы писать в другом роде, как в *историческом*, ибо красивого типа уже нет в наше время... О, и в историческом роде возможно изобразить множество ещё чрезвычайно приятных и отрадных подробностей! Можно даже до того увлечь читателя, что он примет *историческую* картину за возможную еще и в *настоящем*». Это, конечно, «Война и мир», и преимущественно семейство Ростовых, — Болконский и Пьер Безухов уже «выступают из этого красивого порядка». И тут же Николаем Семеновичем дается и оценка всей эпопее и всему творчеству Толстого: «Такое произведение, при великом таланте, уже принадлежало бы *не столько к русской литературе, сколько к русской истории*». Смысл ясен — к русской литературе относится то, что изображает современность, теория натуральной школы Белинского запомнилась Достоевскому навсегда. Толстой с его «Войной и миром», при всей великости его таланта, — это уже *прошлое*, «ушло в область истории». «Это была бы картина, художественно законченная, *русского миража*, но существовавшего действительно, пока не догадались, что это мираж».

И дальше уже переход от «Войны и мира» к «Анне Карениной»; внук тех героев, которые были изображены в картине *миража*, в картине, изображавшей «русское семейство средне-высшего культурного круга в течение трех поколений сряду и в связи с историей русской, этот потомок предков своих уже не мог бы быть изображен в современном типе своем иначе, как в несколько *мизантропическом, уединенном и несомненно грустном виде*». Это уже конечно Левин, «*грустный Левин*», как

он уже однажды назван в черновиках. И нечто как бы от злорадства звучит в следующих словах: этот потомок «даже должен явиться каким-нибудь *чудаком*, которого читатель, с *первого взгляда*, мог бы признать как за сошедшего с поля и убедиться, что *не за ним осталось поле*». С первого ли только взгляда? Ясно предвидится: «Еще далее — и исчезнет даже и этот внук мизантроп; явятся новые лица еще неизвестные и *новый мираж*» (5,622—624).

Удивительные слова: «явятся новые лица» и «новый мираж». Что это? Заранее оценка будущих творений Толстого как самого талантливого представителя дворянской литературы — какие бы типы он ни создавал, все будет мираж, а не действительность? Очевидно, так.

Кончается дворянский период в истории, вместе с ним и вся помещичья литература. У Толстого «великолепно», но это уже «последнее помещичье слово». Даже Решетников гораздо интереснее, хотя бы как предвестник нового уже слова в литературе. Это из письма к Страхову тех же лет.¹

Нет надобности гадать о том, что именно внушило Достоевскому столь пристрастное отношение к Толстому, почему он так субъективен в оценке его творчества, что не учел даже, насколько он противоречит самому себе, своим же словам: «Такие люди, как автор «Анны Карениной» — суть учителя общества, наши учителя, а мы лишь ученики их» (XII. 233). Примем как факт, в высшей степени ценный, самое противопоставление Толстого себе с точки зрения именно социальной — там литература дворянская, его же, Достоевского, область — жизнь «случайных семейств», «разночинцев».

Эту литературную позицию свою Достоевский подчеркивает еще более резко в одной черновой записи с набросками ответа некоторым критикам, поспешившим высказаться по поводу первой части «Подростка», напечатанной в январской и февральской книжках «Отечественных записок». Запись точно датирована: 22 марта 1875 года.

¹ Письма, т. II, стр. 365.

Глава IX. Критика о «Подростке»

1

К этому времени поиски формы уже давно окончились; выяснены основные сюжетные узлы и следующих двух частей; центральные лица романа, Версиков и Аркадий Долгорукий, успели уже обнаружить основные черты своих сложных, изломанных характеров, критика увидела в них лишь новые вариации на старые темы. Я разумею главным образом две рецензии: Авсеенко и «Заурядного читателя» — Скабичевского.

Авсеенко за подписью «А. О.» напечатал в «Русском мире»¹ две статьи о «Подростке» под общим заглавием «Очерки текущей литературы» и с таким ядовитым подзаголовком: «Чем отличается роман г. Достоевского, написанный для журнала «Отечественные записки», от других его романов, написанных для «Русского вестника». Нечто о плевках, пощечинах и т. п. предметах». Реакционный критик, постоянный сотрудник Каткова, уже одним этим сопоставлением двух журналов явно намекает на ту «идею», которую, как пишет Достоевский в письме к жене от 6 февраля 1875 года,² «распространял» о нем Майков, то есть что он, Достоевский, вновь предался радикалам из «гнезда Некрасова». Говоря о крайнем натурализме «Подростка», где «изображается грязь и нечистые явления без соблюдения границ приличия и вкуса» и «все это маскируется мнимой глубиной психологического анализа и морализацией а la Жан-Жак Руссо», Авсеенко делает такой вывод: «Если считать ядовитыми для общества сладострастные изображения французских романистов, то еще более ядовитою надо считать литературу, которая держит читателя в смрадной атмосфере «подполья». И добавляется, в пику «Отечественным запискам», что Катков такой грязи не допустил бы — намек на историю с «Исповедью Ставрогина», которая была из «Бесов» изъята по велению Каткова.³

¹ «Русский мир», 1875, № 27, 55.

² Письма, т. III, стр. 148.

³ См.: А. С. Долинин. «Исповедь Ставрогина». — «Литературная мысль», 1923, № 1, стр. 139—162.

Достоевский на эту брань здесь не отвечает. При случае он вспомнит о ней и напишет через год (в апрельском номере «Дневника писателя» за 1876 год) (XI, 249—253) уничтожающую статью об Авсеенко, не столько как о романисте, сколько именно как о критике, который решительно ничего не понимает в русской литературе и в русской жизни — он испытывает сладострастный трепет, когда шуршит шелковое платье на теле возвращающейся с бала аристократки. Достоевский называет его лакеем.

Но у Авсеенко имеются еще и другие обвинения, ставшие уже общими местами по отношению к творчеству Достоевского, и на них отвечать следует, — это обвинения в незнании реальной действительности и замене ее фантастическим изображением душевнобольных, людей из «подполья». «Автор, — пишет Авсеенко, — снова вводит читателя в душное и мрачное подполье, где копошатся недоучившиеся маньяки, жалкие выскребки интеллигенции, безвольная и бездельная желчь, люди, «съеденные идеей», спившиеся фразеры и тому подобная тля, возможная только при условиях подпольного, трущобного существования». Причем, говорит дальше Авсеенко, слабые стороны таланта автора выступают в этом романе особенно ярко. Мы снова слышим эти «бесконечные разговоры между лицами одного и того же типа, выражающимися одним и тем же языком», видим «отсутствие всякого действия... невыясненность и, так сказать, недействительность большей части лиц».

Все это в первой статье Авсеенко. Во второй — отсутствие у Достоевского чутья действительности подчеркивается еще резче. «В художественном таланте Достоевского есть стороны, где он является мастером, но есть нечто, постоянно мешающее ему попасть на эти стороны... Это фатальное нечто — *полное незнание действительной жизни*, привычка смотреть на многие явления жизни сквозь призму какого-то особенного, в высшей степени странного мирозерцания, *не имеющего места в живой действительности*.

И еще в другом месте статьи: «Было много раз сказано, что г. Достоевскому удаются наиболее изображения тех болезненных явлений жизни, которые стоят на черте, отделяющей действительность от мира призраков». Следует дальше вопрос: «Зачем нужно было Олю

(самоубийцу) бросить в дом терпимости? Автора просто *покинуло чувство действительности*, как покидает оно его каждый раз, когда он задается идеей — показать читателю всю глубину человеческого падения и ввести его в самые тайные гнездилища порока и разврата... Читатель продолжает чувствовать себя в нестерпимой атмосфере *грязного и мрачного подполья*. Делается намек (для чистоплотного аристократического читателя), что это объясняется биографией Достоевского: «Его <читателя> обступает какая-то *каторжная* жизнь, где на каждом шагу имеют место явления, *присущие острогу* или дому терпимости, — явления, изображаемые с тем отпечатком искренности, от которого под конец несказанно гадко становится на душе...» И еще раз: «Действуют *не люди*, а какие-то *выродки* человеческой расы, какие-то *подпольные тени*; часто одной чертой, очень простой по-видимому, и — целая бездна, отделяющая этот мир от действительности, в которой мы живем». Так утверждается, что эти люди — порождение больной авторской фантазии. Достоевский не реалист, *действительности* он не рисует и не знает ее.

Любопытно, что в какой-то мере соглашается с Авсеенко и «Заурядный читатель», радикальный Скабичевский, в своей статье «Мысли по поводу текущей литературы», напечатанной в № 35 «Биржевых ведомостей». Если у Авсеенко руки оказались развязанными, чтобы ругать Достоевского, поскольку «Подросток» печатался не в «Русском вестнике», то Скабичевский, постоянный сотрудник «Отечественных записок», одно время даже один из редакторов этого журнала, должен был, наоборот, взять тон благожелательный по отношению к автору романа.

Скабичевский открывает свою статью цитатой из «Благонамеренных речей» Салтыкова-Щедрина, напечатанных в январской книжке «Отечественных записок» рядом с первыми главами «Подростка»:

«Саваны, саваны, саваны! Саван лежит на полях и лугах, саван сковал многоводную реку; саваном окутан дремлющий лес; в саван спряталась и русская деревня. Саваном покрылась наша русская жизнь, саваном окуталась и литература». «Ввиду такого общего савана, — продолжает критик, — я нахожу, что никогда романы г. Ф. Достоевского не были столь современны, как

именно в настоящее время. Прежде могло казаться, что у г. Ф. Достоевского слишком исключительный и односторонний взгляд на жизнь, что слишком странно и смешно смотреть на свет как на дом умалишенных и каждый психический процесс представлять непременно в *преувеличенном* или искаженном, патологическом виде, как это делает г. Достоевский. Прежде вас могло поражать, что в произведениях Ф. Достоевского буквально нет ни одного действующего лица, которое являлось бы перед вами вполне в здравом уме и не было так или иначе поврежденным в рассудке. Вы могли видеть в этом *полнейшую неестественность*, потому что где же в *действительности*, кроме разве одних сумасшедших домов, может случиться, чтобы целые кружки людей... состояли сплошь из полупомешанных?»

И дальше идет очень интересное рассуждение о том, почему, «когда читаешь романы г. Достоевского, вы сами участвуете в галлюцинациях его героев и переживаете вместе с ними все их нравственные муки». Объясняется это следующим: «В искусстве должен быть *предел*, за который оно не должно переходить в своем действии на сердце читателя, иначе оно перестает быть искусством, а делается уже самой жизнью, производя впечатление не образов творчества, а как бы *самих фактов жизни*... Вообразите, — продолжает Скабичевский, — что искусство не ограничивалось бы только тем, чтобы представить перед вами на сцене грозу как можно натуральнее и заставить вас почувствовать всю прелесть этой картины, но поставило бы себе целью произвести над вашими головами *настоящую* грозу и заставить вас подвергнуться всем ее неприятностям. Представьте себе, что на сцене герои драмы убивали бы друг друга в самом деле, а в представлении сражения над вашими головами свистели бы пули. Очевидно, что вам было бы не до эстетических восторгов и вы бежали бы из театра. Мне казалось всегда, что г. Достоевский переступает этот предел искусства и не ограничивается только тем, что представляет вам ряд своих поэтических образов, но самих вас заставляет участвовать в нравственных страданиях его героев». Это оттого, что он сам «на всю жизнь человеческую смотрит как на ряд патологических явлений, весь мир у него является завешанным каким-то сумрачным флером тоскливой меланхолии». Но

теперь всё это нужно оставить в стороне. «Саваны, саваны!» — жизнь действительно стала какой-то больной. Приводятся в доказательство многочисленные факты самоубийства, те самые, которые, как мы помним, использованы и в черновых записях к «Подростку».

У Скабичевского, как видим, подчеркнута не столько оторванность от действительности, незнание реальной жизни, сколько ее *искажение*. И то же «*подполье*», люди, галлюцинирующие, пребывающие постоянно в каких-то нравственных муках. Тон, конечно, другой, чем у Авсеенко, но сущность все та же. Новым лишь кажется то обвинение, что Достоевский *переступает предел искусства*: гроза, ливень, свистящие пули у него *слишком натуральны*. Это значит, что у него не типы, не обобщения, а сплошь исключительности, ибо сам он смотрит на мир слишком исключительно, вся жизнь для него «ряд патологических явлений». Для Достоевского это должно было быть самым страшным укором. Основные элементы эстетики реализма, согласно которой искусство должно обобщать жизнь, оставались для него истиной непреложной и в годы разрыва с идеологией сороковых годов.

На все эти обвинения и пытается отвечать Достоевский, утверждая в литературе свое место и свою художественную манеру, свои «*средства*». Скабичевский объясняет патологию своей эпохи тем, что «все наше историческое прошлое и настоящее прямо были направлены к тому, чтобы развить эти явления <болезненные> до последней крайности. Начать с того, что целый слой общества и, заметьте, самый интеллигентный, в продолжение двух столетий был изъят вполне от всяких мускульных упражнений и развивал в себе одни только нервы, за счет всего организма. Болезненная чуткость и раздражительность нервов, в эпоху сентиментализма и романтизма, считались признаками высшей натуры, были предметом моды, щегольства, так что половой подбор был устремлен главным образом на приобретение этих качеств. Вместе с этим все воспитание было направлено к развитию самолюбия до крайних пределов, до болезненной щепетильности. В каждом ребенке воспитывали не честного и полезного гражданина, а непременно великого человека. Но условий для достижения цели не было; крепостное право мешало развитию

воля». До тех пор, пока существовала прежняя, хотя и плохая, гармония, все было спокойно. Но вот «ворвались новые идеи, и начались рефлексии, копания, раздвоение». В шестидесятых годах шумные события отвлекли от самокопания, казалось, что Рудины кончились. «Теперь — когда те времена прошли, опять появились Рудины. Таков и Подросток».

Достоевский с этого «объяснения» Скабичевского и начинает. Изъятие «физкультуры» из системы воспитания на протяжении целых двух столетий и крайняя нервозность в эпоху сентиментализма и романтизма как главные причины современной общественной патологии — это должно было казаться по меньшей мере наивным. Достоевский утверждает прежде всего максимальную *типичность* своих героев. Обвинение в том, что он не знает доподлинной жизни, Достоевский возвращает своим критикам. Это они не замечают фактов: «Проходят мимо. Не замечают. Нет *граждан*, и никто не хочет понатужиться и заставить себя думать и замечать, Я не мог оторваться, и все крики критиков, что я изображаю ненастоящую жизнь, не разубедили меня».

Мысль дальше идет в указанном уже нами русле идей Чаадаева: «Нет *оснований* нашему обществу, не выжито правил, потому что и жизни не было. Колоссальное потрясение — и все прерывается, падает, отрицается, как бы и не существовало. И не внешне лишь, как на Западе, а *внутренне, нравственно*». Вот где истинная причина болезни нашего общества, именно большинства его. *Жизни не было* — жизни, в которой участвовало бы большинство народа. Разумеется, конечно, при крепостном праве. И следует за этим такая запись: «Талантливые писатели наши высокохудожественно изображали жизнь средне-высшего круга (семейного), Толстой, Гончаров думали, что изображали *жизнь большинства*, по-моему, они-то и изображали *жизнь исключений*». На полях это противопоставление себя Гончарову и Толстому как писателям «средне-высшего круга» получает еще более резкое выражение: «Напротив, *их* жизнь есть жизнь исключений, а *моя* жизнь есть жизнь общего правила. В этом убедятся будущие поколения, которые будут беспристрастнее, *правда будет за мною, я верю в это*».

Так переходит Достоевский ко второму, для него са-

тому главному пункту обвинения Скабичевского — в голом натурализме, в нарушении того предела между искусством и действительностью, когда получается впечатление «не образов творчества», а как бы самих фактов жизни. «Говорили, что я изображал *гром настоящий, дождь настоящий* <не> как на сцене. Где же? неужели Раскольников, Степан Трофимович (главные герои моих романов) подают к этому толки? Или, — следует приписка на полях, — в «Записках из Мертвого дома» Акульский муж, например».

Но скажут: Степан Трофимович и Акульский муж тем и хороши, что они взяты не из «подполья». А «подполье» и «Записки из подполья»! В ответ на это Достоевский так раскрывает основной идейно-психологический смысл своего творчества, вместе с этим и свои основные художественные приемы и тяготение свое, при отборе материалов для общего фона, ко всякого рода «ненормальностям»:

«Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека *русского большинства* и впервые разоблачил его *уродливую и трагическую сторону*. Трагизм состоит в сознании уродливости... Только я один вывел *трагизм подполья*, состоящий в *страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его* и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться. Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды не от кого, веры не в кого. Ещё шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство). Тайна». И, точно имея в виду на этот раз главным образом Авсеенко, Достоевский продолжает: «Подполье, подполье, *поэт подполья!* фельетонисты повторяют это как нечто унизительное для меня. Дурачки, *это моя слава, ибо тут правда*». (Курсив мой.—Л. Д.)

«Трагизм подполья», человека, страдающего в своей раздвоенности, самого себя казнящего, в душе своей осуждающего и других: «все таковы, и незачем исправляться», ибо он ни в кого и ни во что не верит и ни от кого не ждет награды, — такова самая нужная тема в современной литературе, если ее назначение изображать действительную жизнь русского большинства, а не доставлять эстетическое удовольствие.

И это самая нужная тема не только потому, что они

теперь, эти люди «подполья», составляют большинство, — обобщение идет гораздо дальше. Мы читаем здесь такие изумительные строки: «Это то самое *подполье*, которое заставило Гоголя в торжественном завещании говорить о последней повести, которая выпелась из души его и которой совсем и не оказалось в действительности. Ведь, может быть, начиная свое завещание, он и не знал, что напишет про последнюю повесть». И следует такой вопрос: «Что ж это за сила, которая заставляет даже *честного и серьезного* человека так врать и паясничать, да еще в своем завещании?.. Сила эта русская, в Европе люди *более цельные*, у нас мечтатели и подлецы».

Гоголь «врал и паясничал» в своем завещании, которым «Выбранные места из переписки с друзьями» и открываются. Суровая оценка этой книги Гоголя в письме к нему Белинского перенесена здесь в плоскость *психологическую*. Получается, что «трагизм подполья» — исконная русская болезнь, в Европе ее нет, «там люди более цельные». И утверждается уже окончательно: «Подпольный человек есть главный человек в русском мире».

Что это? В порицание русскому человеку? Опять концепция, напоминающая чаадаевскую? Контекст как будто бы говорит за это: «у нас *подлецы, и мечтатели*». Но кто же тогда его «подпольные», эти люди, ищущие, страдающие, «самоказнящиеся»? Чувством глубокого раздражения против тех, которые намеренно или невольно искажают его мысли, не подымаясь выше ходячей пошлости в интерпретации его образов, продиктованы эти жесткие слова о русском человеке.

Меньше всего ценилась Достоевским эта *цельность*, законченность психического склада европейца. Еще в «Зимних заметках о летних впечатлениях» стал он твердить вслед за Герценом, что там, в Европе, выработалась у людей «форма уже навеки», окончательная, там ни к чему не стремятся — мертвенность покоя навсегда установившегося мещанства.

Да, «сила эта русская» — это сознание русским человеком своей уродливости, его самоказнь, его сознание лучшего и невозможность достичь его — *сейчас*, в современных условиях общественного строя. В виде мечты о «золотом веке» — в отдаленном прошлом или

в предстоящем будущем — во всех произведениях Достоевского противостоит издерганному человеку сегодняшнего дня чарующий образ воплощенной «красоты», истинной и полной гармонии. Только русский человек знает в настоящее время эту трагедию душевной раздвоенности, «трагизм подполья».

3

«Трагизм подполья» — так, видели мы, определил Достоевский свою общую тему, по отношению к которой каждый из его романов, начиная с «Преступления и наказания», есть только новая своеобразная вариация — соответственно новым условиям общественной жизни, новым «съедающим идеям» эпохи. Когда «Подросток» был закончен печатанием,¹ о нем критики снова заговорили, и наиболее авторитетные из них, критики из лагеря радикального, Ткачев и Скабичевский, — особенно первый, Ткачев, — сочли нужным сосредоточиться не столько уже на борьбе с его «эксцентрическими» идеями, сколько на разъяснении того типического, что действительно имеется в его «странных, больных» героях. Эти критики заговорили именно о тех условиях, которые порождают этих людей, страдающих в своей раздвоенности, «самоказнящихся». Стало быть, путь его «психиатрический» не так уж далек от реальной действительности, он *исторически* законен, за образами его нужно признать объективную ценность.

Очень может быть, на изменение отношений к этому роману повлияло еще то, что радикальная критика имела перед собою замечательный прецедент — попытку подойти к Достоевскому без «страстей и пристрастий», по крайней мере по тону, со стороны самого авторитетного публициста того времени, Н. К. Михайловского.²

При оценке «Подростка» радикальная критика в лице Ткачева пошла по пути выяснения тех условий, которые неминуемо должны были породить все эти уродливые явления. Точно критика и ставила своей главной задачей выяснить, насколько Достоевский, при

¹ Последние (IX—XIII) главы третьей части в декабрьской книжке «Отечественных записок» за 1875 г.

² Об этом подробно в первой главе данной работы.

всем своеобразии его таланта, правильно разработал тему, указанную ему Михайловским, — отражение в русской жизни всемогущего беса богатства.

Ткачев написал две большие статьи и о «Бесах».¹ В них он настолько возмущен реакционными идеями романа, что ставит Достоевского рядом с самой одиозной фигурой в литературе того времени, со Стебницким (Лесковым), ругает его несколько раз ренегатом, его талант считает почти ничтожным. В статье же о «Подростке»² совершенно иное. И прежде всего, самый тон статьи. Подобно Михайловскому, Ткачев тоже начинает с того, что Достоевский «бесспорно крупный талант»; сила его психологического анализа так велика, что «лишь очень немногие из современных художников, и не только русских, умеют так глубоко заглядывать в человеческую душу». «Правда, — говорит Ткачев, — он — писатель односторонний, людей он рисует всегда на грани ненормального и всегда преувеличивает их душевные переживания. Поэтому никогда почти не получается от его произведений истинно эстетического удовольствия. Но это не такой уже недостаток. Написал же Добролюбов свою статью о «Забитых людях», весьма сочувственную, хотя и признал в ней талант Достоевского «ниже критики».

Эта ссылка на Добролюбова особенно характерна. Ткачев считает себя его последователем; так и заявляет, что «наша критика и не претендует на эпитет «эстетической». *Как* живописует автор, — этот вопрос для нас не особенно существен. Для нас несравненно важнее вопрос, *что* он живописует и представляет ли или не представляет это *что* какой-нибудь общественный интерес». Следуя методу добролюбовской критики, он оценивает роман «Подросток». И не только один «Подросток», а *все* произведения Достоевского ценны с «точки зрения общественного интереса», *все* они «представляют весьма благодарный и весьма обильный материал... для характеристики целого типа... живых, конкретных характеров», понимание которых «значительно облегчается» именно благодаря коренному недостатку

¹ П. Никитин. Больные люди. — «Дело», 1873, № 3, стр. 151—179; № 4, стр. 359—381.

² П. Никитин. Литературное попури. — «Дело», 1876, № 5, стр. 307—320; № 6, стр. 1—22.

автора, его манере всегда «утрировать душевные состояния героя, выставлять их на первый план».

По Ткачеву, Подросток есть живой, конкретный образ, принадлежащий к той же социальной группе, из которой Достоевский обычно берет своих героев, последняя вариация, соответственно новым условиям общественной жизни, того же типа «забитых людей», «о которых так хорошо говорил Добролюбов». И следует цитата из Добролюбова об этих «забитых людях»: «Мы нашли, что забитых, униженных и оскорбленных личностей у нас много в среднем классе, что им тяжело в нравственном и физическом смысле, что, несмотря на наружное примирение со своим положением, они чувствуют его горечь, готовы на раздражение и протест, жаждут выхода».

Это — последняя вариация, или, как говорит Ткачев, «последняя категория «забитых», наиболее развитая их часть, которая «поняла наконец, что сколько там ни ворчи и ни злись, а легче от этого не будет. Но примириться с своим положением тоже невозможно, а выбиться из него еще невозможней». И вот они «стали задумываться, работала напряженно мысль, нарастали разные идеи, отвлекающие от будничной практической деятельности, уносящие в область отвлеченных идеалов». Были раньше «забитые люди» — «приниженные» и «ожесточенные». Теперь появились новые «забитые люди» — «идейные». В этом заключается типическое значение «Подростка».

Роман поднимается в цене так высоко, что он кажется даже лучше «Преступления и наказания», где тоже выведен герой из «идейных забитых людей». В «Преступлении и наказании» анализ души этого идейного героя «крайне односторонен и не полон», в «Подростке» же «он достигает той глубины, той обстоятельности и той сравнительной объективности, благодаря которым автору так хорошо удалось воспроизвести в прежних своих произведениях господствующее настроение забитых людей двух первых категорий — людей приниженных и ожесточенных». И последний вывод: «Роман «Подросток» г. Достоевского имеет почти такое же значение для оценки идейных забитых людей, какой имел его первый роман («Бедные люди») для оценки людей типа Девушкиных, Голядкиных и им по-

добных». И «вот почему критика, не вполне еще забывшая свое прошлое, критика, оставшаяся верной своим принципам и не утратившая сознания своих обязанностей и своих задач, — разумеется, конечно, критика, идущая по следам Белинского, Чернышевского и Добролюбова, — должна отнестись к этому роману с особенным вниманием».

Нет надобности останавливаться здесь подробно на том, как Ткачев объясняет душевный строй Подростка условиями его жизни с ранних лет и той средой, в которой ему приходилось действовать. Ход мысли Ткачева совершенно ясен — во всем виновато положение незаконнорожденного, скверное воспитание в пансионе Тушара и позднее, в Петербурге, окружающие люди, порочные и преступные, стремившиеся к одной только цели: разбогатеть во что бы то ни стало. Отсюда и сама идея «стать Ротшильдом», и способы ее осуществления, и странная мечта о том, что, разбогатевав, как Ротшильд, он останется тем же «забытым»: «с меня довольно сего сознания». Все это очень элементарно, но важна именно та перемена — пусть, правда, только на короткое время, — которая произошла в радикальном лагере, та общая высокая оценка, которая дается Ткачевым почти всему творчеству Достоевского и роману «Подросток» в частности.

В этом отношении еще характернее статья Скабичевского¹ «О г. Достоевском вообще и о романе его «Подросток». Достоевский ему кажется писателем, в котором сидят два художника, «два двойника: один из них крайне нервно раздражен, желчный экстатик и к тому же резонер», впадает в самый безнадежный, мрачный скептицизм или в «мистический бред не то в славянофильском духе, не то в духе переписки с друзьями Гоголя». Этот двойник смотрит на весь мир как на дом сумасшедших, и в «подобном Бедламе у него нет друзей своих», — он скептически относится ко всем молодым побегам жизни, опошляет и окарикатурирует их и в то же время «самыми злыми сарказмами осыпает и людей своего поколения, беспощадно изображая их в таком жалком и безобразном виде, в каком изображали этих людей самые их заклятые обличители». Это, конечно, оценка

¹ «Биржевые ведомости», 1876, № 8, стр. 35.

«Бесов». Скабичевский не забывает ни на минуту их реакционной идеологии и казнит автора тем, что говорит о нем, когда он в роли этого двойника, как о писателе «крайне небрежном, иногда выдающемся и поразительную неумелость: целые сцены и главы поражают вас своей фантастической необычностью, точно действие происходит не в той среде, в которой вы живете, а на какой-то иной планете, в иных фантазмагорических условиях».

Но рядом с этим скверным двойником «существует другой, совершенно противоположных свойств: это *гениальный* писатель, которого следует поставить не только в одном ряду с первостепенными русскими художниками, но и в числе самых *первейших гениев Европы нынешнего столетия*». Этот писатель, «в противоположность своему нервному, желчному собрату», знает то высокое объективное спокойствие, «какое бывает *присуще только гениям первой величины*». Он наивен и прост, но это «*наивность и простота гения*. Его значение *общечеловеческое*, но в то же время *он вполне народен*, — *народен* не в том вульгарном значении этого слова, чтобы хорошо изображать мужиков, *но в высшем смысле усвоения существенных черт духа и характера русского народа...*»

Скабичевский — критик, на слова не очень воздержанный, Короленко называет его «простовато прямолинейным». Но в свое время он все же был фигурой весьма заметной в радикальном лагере.

Гений, равный «первейшим гениям Европы», гений первой величины, со значением «общечеловеческим» — слова эти сказаны после «Подростка» и именно в связи с «Подростком».

Так, «Подросток» был воспринят как роман, который, если в целом ряде пунктов и не сходится с убеждениями народников или противоречит им, то в чем-то к ним приближается.

В этом духе высказался вскользь Н. К. Михайловский еще в самом начале печатания «Подростка», когда в литературных кругах стали посмеиваться над «Отечественными записками», пригласившими к себе в сотрудники Достоевского, вчера еще редактора «Гражданина». Журнал, заявил тогда Михайловский, не стал бы печатать роман, если бы сцена у Дергачева

не имела «чисто эпизодический (Характер». Во вступлении к циклу статей «В перемежку» он сочувственно и искусно использовал письмо воспитателя Подростка, Николая Семеновича, заканчивающее роман.

Николай Семенович «болеет сердцем» о «красивом типе» старого русского дворянства и даже уверен, что нигде, кроме как «среди культурных русских людей», не существуют «законченные формы чести и долга». Михайловский, конечно, понимал, что Достоевскому нужно было это «бление сердцем» Николая Семеновича, чтобы завуалировать, хотя и достаточно прозрачно, свое отрицательное отношение ко всей дворянской литературе, в частности к «самому великолепному ее слову» у Льва Толстого. Но «некоторые читатели» отождествляют с Николаем Семеновичем самого автора: «будто его устами говорил сам г. Достоевский».

«Это, конечно, совсем пустяки, — заявляет Михайловский. — Г. Достоевский <...> не такого закала человек, чтобы быстро менять свои взгляды <...> Николай Семенович и г. Достоевский — два совсем разные лица. Николай Семенович — просто преданный дворовый», признающий только за баринем «право на честь и долг», мы, холопы, «и так проживем в бесчестии, вами любующись, на вас глазом отдыхаючи». «А г. Достоевский, может быть, даже согласится со мной, что мы, дворяне, недавно только *начали*, то есть начали вырабатывать формы чести и долга, и начали именно покаянием».

«Покаяние», новый тип дворянина, «кающегося», резко порывающего со своим прошлым, и противопоставляется в статьях «В перемежку» старому типу «родовых дворян», ведущих «свое происхождение от князей Темкиных или от самого Владимира Святого», жестоких и бесчестных, лишенных прежде всего именно чувства долга. То, что рассказывается Михайловским об образе жизни этих «культурных русских людей» из «родовитых семейств», могло бы полностью войти в состав романа «Подросток» как яркая иллюстрация того «безобразия» московского и петербургского «средне-высшего круга», от которого спасение только в «благообразии» странника из крестьян, Макара Долгорукого. У Михайловского есть на это прямое указание в словах: Достоевский «еще очень недавно чрезвычайно энергиче-

ски заявлял, что «Власы спасут себя и нас». У спасителей должны же быть определенные формы чести и долга». Роман так весь и построен, что истинный идеал чести и долга — в страннике Макаре и крестьянке, матери Подростка, Софье Ивановне.

3

Я ограничиваюсь здесь высказываниями о «Подростке» только этих критиков. Об этом романе писали тогда вообще сравнительно очень мало. Появлялись кое-какие статьи в провинциальной прессе: в «Киевском телеграфе» (1876, № 6), в «Новороссийском телеграфе» (1875, № 43), в «Тифлисском вестнике» (1876, № 197) или в таких маловлиятельных органах петербургских, как «Детский сад» (1876, № 9), «Пчела» (1876, № 1) и «Новости» (1876, № 51, 65) первой редакции (до Нотовича), — все это были ответы более авторитетным критикам из консервативного или либерально-радикального лагеря, установившим свои взгляды на творчество Достоевского на основании его предыдущих произведений. Новостью прозвучали — как вестники какой-то перемены — именно эти две статьи критиков, наиболее авторитетных, да еще таких, от которых надо было ожидать гораздо больше предубежденности по отношению к автору «Бесов». Но уже освещение тем, разработанных в третьей части романа, не могло быть приемлемым для представителей радикальной мысли, не покоряла, очевидно, сила художника, проявившаяся в первых двух частях, как и во вставном трагическом эпизоде с гувернанткой Олей, символизирующей собою, своей судьбой безысходное горе и несчастье нищих городских масс.

Так, заслуживает полного доверия рассказ Достоевского о том, как Некрасов, по прочтении первой части «Подростка», пришел к нему, «чтобы выразить *свой восторг*».¹

Во второй части романа начинают мелькать мысли явно «подозрительные», как например рассуждение Версилова с молодым князем Сокольским о чести и долге старого дворянства. Хотя, как говорит Подросток, «Версильов потом поправился»: дворянство, с точки зрения

¹ Письма, т. III, стр. 151

чести и долга, им вовсе отрицается, «дворянство у нас, может быть, никогда и не существовало», — это все же не позиция «Отечественных записок». Но их заслоняет все та же тема об умственном и нравственном разложении высших кругов общества, разработанная здесь особенно подробно, осложненная еще темой о растлевающем воздействии этих кругов на «милого и чистого сердцем» Подростка, Аркадия Долгорукого.

Так стала обнаруживаться особенно явно сущность «направления» писателя только с третьей части романа, с того момента, когда появляется уже в Петербурге его «положительно прекрасный человек», странник, радующийся во Христе всему миру — «расти божья травка, расти дитя», — Макар Долгорукий.

Выше, в главе VI, были подробно показаны те специфические черты, которыми обрисован этот странник, носитель народной правды, в отличие от других говорящих «от писания» героев Достоевского — «архиерея на спокое» в «Бесах» и старца Зосимы в «Братьях Карамазовых», и как связан он с Власом Некрасова. Мы говорили там, что странник—«бродяжка», крестьянин, тот же Влас, но психологически и идейно совершенно иначе осмысленный, перенесенный из узкой и тесной сферы угрюмой сосредоточенности на широкий простор всепрятия «живой жизни» и любви ко всем и ко всему; это, конечно, полемика в недрах самих «Отечественных записок», тем более острая, принципиальная, при всей мягкости тона, что в общей концепции романа, с точки зрения идеологической, значение Макара, как нами было уже указано, решающее. Он — такая же идейная вершина, как Платон Каратаев в «Войне и мире», все собою освещающий, символ той исконной народной правды, которая является единственным мерилom ценностей в оценке всех событий и всех действующих лиц эпопеи — насколько они по своему душевному складу, по своим идеалам приближаются к нему или от него удаляются.

Старец Макар Долгорукий, когда Аркадий излагает ему свое «учение», потому и испытывает такой восторг, «почти потрясение», что социализм, по Михайловскому, совпадает с некоторыми по крайней мере элементами народной русской правды. «Где? Как? Ктостроил? Кто сказал?» — Подросток продолжает дальше расска-

зывать, а он, странник Макар, «христианствующий старец», в умилении повторял к каждому слову: «так! так!»

В будущем обществе человек должен психически измениться. Макар Долгорукий связывает это изменение со Христом: «То ли у Христа? — «Поди и раздай твое богатство и стань всем слуга». И станешь богат паче прежнего в бессчетно раз: ибо не пищею только, не платьями ценными, не гордостью и не завистью счастлив будешь, а умножившеюся бессчетно любовью <...> Тогда не будет ни сирот, ни нищих, ибо все мои, все родные, всех приобрел <...> и воссияет земля паче солнца, и не будет ни печали, ни воздыхания, а лишь единый бесценный рай». Подросток восклицает: «Макар Иванович! <...> да ведь вы коммунизм, решительный коммунизм, коли так, проповедуете!» (8, 425—426).

И то же в плане *человеческой истории*, без Христа, будет проповедовать и Версилов, тоже в своем роде «странник», скиталец, «деист, философский деист, как вся наша тысяча» (8, 519). Достоевский считает его атеистом. В мартовском номере «Дневника писателя» за 1876 год Достоевский так говорит о нем, в связи с его «исповедью», что «это лишь мечта одного из русских людей нашего времени, сороковых годов, бывших помещиков-прогрессистов, страстных и благородных мечтателей <...> Тоже без всякой веры и тоже обожающих человечество, — «как и следует русскому прогрессивному человеку» (XI, 240). В романе он высказывает мечту свою о будущем человечестве, когда уже исчезнет в нем всякая идея о боге, что, по его понятиям, несомненно случится на всей земле. И дальше приводится сама мечта:

«Я представляю себе, мой милый <...> что бой уже кончился и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков настало затишье, и люди остались *одни*. как желали <...> Люди тотчас стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга <...> Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить <...> Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле — ему как отец и мать <...> Они

были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети...» (XI, 420—421). Это не теория, а чувство этой «теории», великая мечта о «золотом веке», о будущем счастье человечества, пафос, подвигавший молодое поколение революционеров семидесятых годов на самопожертвование.

У деиста Версилова весь этот будущий земной рай, этот новый человек, исходящий любовью к ближним, нарисованы на грустном фоне закатного солнца, «как бы последнего дня человечества». Странник же из народа, Макар Долгорукий, вещает, что при осуществлении *его коммунизма*, по заветам Христа, «не будет ни печали, ни воздыхания», «земля сама воссияет паче солнца» (8, 518—519). Получается внутри «Отечественных записок» полемика с Михайловским, так, как Достоевский его понимал: да, социализм не обязательно атеистичен: мечтает о будущем общечеловеческом счастье, стремится к нему и деист Версилов, во всяком случае мыслящий не осязательно материалистически; социализм действительно «совпадает с некоторыми по крайней мере элементами народной русской правды», но ведь только с *некоторыми*, а не с основой. Истинная «народная русская правда» только у старца, и только его путь ведет человечество к полноте счастья.

Двумя годами раньше, в статье о «Старых людях», было сказано про Герцена, что он-то и выражает собою «в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия», истлели последние корни, расшатались последние связи с «русской почвой и с русской правдой» тех, кто мыслит по Герцену. Теперь же «истинного носителя русской правды», Макара Долгорукого, лучше, глубже, полнее, чем кто-либо, понимает, ценит и уважает именно Версилов, согласный с идеями Герцена. И особенно характерно, в смысле отражения идей эпохи, то, что и Подросток видит в страннике носителя своего идеала, идеала долгошинцев, молодых социалистов семидесятых годов, поднятых (в черновиках) на большую нравственную высоту; они проповедуют необходимость разрушения государственной машины, и никто этого не оспаривает.

Воплощенный идеал «благообразия», к которому стремится Подросток, «самое милое существо в романе» — Макар Долгорукий, по мысли автора, возвышается над всеми относительными человеческими нормами добра и зла. В нем одном, в его радостном восприятии мира истинный источник жизни и постижения — не «глупым умом», а «умным сердцем» — правды на земле. И в свете этого идеала иное совершенно значение получают все идеи, раскрывающиеся в романе, — «они становятся частными и узкими, пути к их осуществлению — неверными. Макар, в сущности, и есть единственный «нормальный человек». Им и его началом проникнута и высокая мысль «всечеловека» Версилова.

И грустью вечернего заката окутана мечта-утопия Версилова о последнем счастливом дне человечества, когда люди вдруг поймут, что «они остались совсем одни, и разом почувствуют великое сиротство» оттого, что «великая прежняя идея оставила их», идея Христа: «великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходил». И кончал Версиров всегда свою утопическую картину о перерожденном во всезахватывающей любви человечестве видением, как у Гейне, «Христа на Балтийском море».

Да, Достоевский действительно хотел оставаться и остался верным своим убеждениям, своему «направлению». И все же «Подросток», печатавшийся в «Отечественных записках», занимает безусловно особое место в цикле его романов второго периода, несмотря на его проповедь «внутренней свободы» как единственного средства изменения «лика мира сего».

Этот «лик» показан в «Подростке» во всей своей уродливости, и в этом первая великая ценность романа, так подкупившая радикальную критику того времени. И второе: ни в одном из предыдущих произведений Достоевского вопросы общечеловеческие, переустройства мира на началах действительной правды и справедливости не ставились с такой широтой и с такой любовью к человеку, как здесь, в этом промежуточном романе, представляющем собою ясные вехи к последним высшим его достижениям — к «Братьям Карамазовым» и Пушкинской речи.

ДОСТОЕВСКИЙ И ГЕРЦЕН

«Зимние заметки о летних впечатлениях», — замечает мимоходом Страхов, имевший, по-видимому, перед собою упрощенный образ Достоевского, — «отзываются несколько влиянием Герцена», к которому Достоевский «тогда относился очень мягко».¹

Достоевский получил эти «впечатления» летом 1862 года, когда ему, «сорока лет от роду», удалось наконец вырваться за границу, чтобы увидеть «страну святых чудес». Он «был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене, да еще в иных местах по два раза, и все это, все это объехал ровно в два с половиною месяца!» Маршрут был составлен заранее в Петербурге: хотелось все видеть, везде побывать, чтобы «из всего виденного составилось что-нибудь целое, какая-нибудь

¹ Н. Страхов. Материалы для жизнеописания Достоевского. СПб., 1883, стр. 240.

общая панорама», чтобы страна святых чудес «представилась разом, с птичьего полета, как земля обетованная с горы в перспективе» (4, 61—62).

В «Заметках», писавшихся зимою (напечатаны в февральской книжке «Времени» за 1863 год), «земля обетованная, страна святых чудес» уместилась в одном Париже, а «общая панорама» представилась в виде французского буржуа, этого последнего продукта западной цивилизации, ее последнего слова и формы. Достоевский очень торопился — в жажде своей «не только как можно более осмотреть, но даже все осмотреть, непременно все, несмотря на срок» (4, 62). Но в Лондоне задержался довольно долго — дней на восемь — и часто видался с Герценом.

Герцен писал тогда свои «Концы и начала», в памяти воскрешая впечатления, полученные пятнадцать лет тому назад от Франции, Парижа, от отверделых форм буржуазного строя, от воцарения Наполеона III, банкротства демократии, от последней и, как он был уверен, окончательной победы над торгашом с его добродетелью прилавка.

«Концы и начала» — завершение системы; «Письма из Франции и Италии» — ее фундамент и кирпичи. В «Концах и началах» картина дана чертами широкими, обобщающими, в виде определенных и твердых положений; в «Письмах из Франции и Италии» — первые взволнованные наброски к этой картине, яркое и непосредственное отражение процесса ее созидания, самой организации и роста тех переживаний Герцена из настоящего и прошлого, которые полярно откладывались по «двум родинам» и постепенно строили в душе его это окончательное убеждение, что Россия и Европа, по существу, несоизмеримы. Можно было перечитать еще, если не в России, то там, за границей, «Письма к Мишле», книгу «С того берега», целый ряд номеров из «Колокола» и «Полярной звезды» — словом, все те произведения, в которых варьируется все тот же основной тезис Герцена, что мещанство — это последняя форма европейской цивилизации, «основанной на безусловном самодержавии собственности», — идеал, к которому «Европа подымается со всех точек дна», вслед за «авангардом образованного мира, уже пришедшего к нему», тянется и крестьянин, самый худший из собственников,

и «мир безземельный, мир городского преобладания» — пролетариат.

«Зимние заметки» отзываются влиянием Герцена далеко не «несколько», как пишет Страхов. Они целиком проникнуты мыслями Герцена, его восприятиями, его способами доказательств. Позиция Герцена в ту пору была для Достоевского, в эволюции его воззрений, этапом крайне необходимым, до конца органичным; на кратковременном опыте, но конкретно, проверил Достоевский герценовские взгляды на Европу и держался их. Потом, как мы знаем, он несколько сузил их: «униженные и обойденные» пролетарии, в то время герценовские кандидаты «в самодержавную толпу сплоченной посредственности, терпеливо и смиренно ждущей своей очереди», в семидесятые годы были восприняты Достоевским в виде далеко не покорном и смиренном. Но отношение к буржуа осталось такое же на всю жизнь, и последующие наблюдения над Европой группировались вокруг этого отношения, как вокруг остова.

Герцен высказывает какое-нибудь общее положение, набрасывает двумя-тремя чертами сцену, обмолвится намеком о какой-нибудь черте характера или быта, — Достоевский повторяет это же положение, эскиз развивает в целую картину с обычными для него подчеркиваниями и неустанными повторениями, благодаря которым какая-нибудь, казалось бы, мелкая, незначительная деталь вырастает в крупную характеризующую подробность в стиле злой пародии, доходящей до карикатурности.

Совпадение «Писем из Франции и Италии» с «Зимними заметками» начинается почти с первых строк, определяет собою не только мысли, но и сюжет и композицию первых глав «Заметок». Сюжет первого «Письма из Франции» — легкий путевой очерк о Германии на основании впечатлений, «схваченных на лету», и мысли о покинутой родине в аспекте основного пункта спора между западниками и славянофилами — значения для нас петровских реформ; причем вторая часть развита ярче и сильнее. Первые три главы «Заметок» развивают тот же сюжет с тем же преобладанием второй его части. Скудость описательного элемента и замена его элементом повествовательным и рассуждениями мотивируется у них обоих в самом начале совершенно одинаково.

У Герцена: «Не стану описывать виданного мною <...> я слишком учтивый человек, чтобы не знал, что Европу все знают, всякий образованный человек по крайней мере состоит в подозрении знания Европы <...> Да и что сказать о предмете битом и перебитом — о Европе».¹

Достоевский перефразировал это так: «Что расскажу нового, еще неизвестного, нерассказанного? Кому из всех нас русских <...> Европа не известна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из учтивости, а наверное, в десять раз» (4, 61).

За первой мотивировкой у Герцена следует сейчас же вторая: «Теперь уже трудно и почти невозможно видеть Европу, а скоро, <когда окончат Кёнигсбергскую дорогу> она совсем изгладится из памяти людской <...> сел в вагон <...> машина свистнула и пошла постукивать: Берлин — 4 минуты для наливки воды, Кёльн — 3 минуты для смазки колес, Брюссель — пять минут для завоевания бутерброда с ветчиной, Валансьен — 4 минуты...» (V, 16).

У Достоевского: «я сам ничего не видал в порядке, а если что и видел, так не успел разглядеть. Я был в Берлине, в Дрездене <...> в Кёльне, в Париже, в Лондоне <...> и все это, все это я объехал ровно в два с половиною месяца!» (4, 61).

У Герцена после этих двух мотивировок идет легкая, изящная, полная каламбуров болтовня о германской скуке, о дряблости немецкого фибрина, о Кельнском соборе, о немецких нравах, добродетельно-скупных, — все это на фоне шутливого описания могущественного влияния немецкой кухни.

По свидетельству Страхова, Достоевский неоднократно жаловался, что ему не удастся легкая пародия; тяжеломерно, зло говорит он о том же, что и Герцен: о той же скуке и вялости немецкой жизни, о том же соборе, о заносчивости немцев и т. п., но недаром заменяет герценовскую «объективную» причину — немецкую кухню — «субъективной», болезнью печени и «белым языком», который объясняет ему все: почему ему не

¹ А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. V. М., изд-во Академии наук СССР, 1955, ар. 15. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте сокращенно: том — римской цифрой курсивом, страницы—арабской курсивом.

понравились ни Берлин, ни дрезденские женщины, ни даже знаменитый Кельнский собор.

Отделавшись скорее от первой части, Герцен переходит ко второй, где говорится о чувстве благоговения русского образованного человека к Европе, о реформах Петра, об их необходимости, причем центральной является мысль, что, в сущности, русский всегда оставался русским: «Скорее могли бы обвинить Русь Петровскую в нашем «себе на уме», которое готово обриться, переодеться, но выдержать себя и в этой перемене» (V, 24).

Достоевский развивает эти же мысли в двух главах, но не в порядке последовательности, а контрастно, одну другою перебивает. Внимания он уделяет им гораздо больше, чем Герцен, иллюстрирует их бытом и фактами не только из прошлого, но и настоящего.

«Привенчанные» к Европе Петром I, мы усвоили «ее вопросы, ее скорби, ее страдания вместе с ее нажитым опытом и с ее нажитой мудростью <...> Воспоминания Европы, ее былое, сделались нашим былым и нашим прошедшим» (V, 21). Эти легкие наброски герценовских мыслей выражены у Достоевского страстно и взволнованно: «ведь все, решительно почти все, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, все, все ведь это оттуда, из той же страны святых чудес!» (4. 68). И ставя вопрос: «Как еще не переродились мы окончательно в европейцев?» — отвечает: «Мы не переродились даже при таких неотразимых влияниях, и не могу понять этого факта».

Герцен видел наше «себе на уме» в екатерининских вельможах: «оттого, что они приобрели все изящество, всю утонченность версальских форм (до чего никогда не могли дойти немецкие *гранды*), но остались по всему русскими барами, со всею удалью национального характера, с его недостатками и с его разметистостью» (V, 24).

Достоевский полнее раскрывает это «себе на уме», рисует целые картины того, как это изящество и утонченность версальских форм уживались «рядом со всею удалью национального характера».

«Напяливали шелковые чулки, парики, привешивали шпажонки — вот и европеец. И не только не мешало все это, но даже нравилось. На деле же все оставалось по-прежнему: так же <...> расправлялись со своей двор-

ней, так же патриархально обходились с семейством, так же драли на конюшне мелкопоместного соседа, если сгрубит, так же подличали перед высшим лицом <...> Одним словом, все эти господа были народ простой, кряжевой; до корней не доискивались, брали, драли, крали, спины гнули с умилением и мирно и жирно проживали свой век «в добросовестном ребяческом разврате». И прибавляет: «Мне даже сдается, что все эти деды были вовсе не так и наивны <...> Даже, может, и пребольшие подчас были *плуты и «себе на уме»* в отношении ко всем тогдашним европейским влияниям сверху» (4, 75—76). Далее тема углубляется на анализе произведения «одного из этих французских кафтанов» — «Бригадира» Фонвизина, слова которого: «Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье» — служат Достоевскому рефреном ко всем его рассуждениям о нашем «себе на уме», а также и к характеристике французского буржуа.

Тема второго письма Герцена целиком легла в основу второй части «Заметок» и ярче всего отразилась в последней главе о французском театре — «Брибри и Мабиш». Предпоследние же главы — «Опыт о буржуа» и «Продолжение предыдущего» — распространенная трактовка целого ряда мыслей Герцена, рассеянных по его «Письмам» и другим произведениям.

Герцен

Вместе с браком француженка среднего состояния лишается всей атмосферы, окружающей женщину любовью, улыбкой, вниманием. Муж свозит ее в дребезжащей ситадине на тощей кляче в Père lachaise или, пользуясь дешевизной, отъедет по железной дороге станцию, свозит в Версаль, когда «бьют фонтаны» <...> За эту жизнь современную буржуазию прославили семейно-счастливой, нравственной (V. 36—37).

Буржуа... выдумали себе нравственность, основанную на арифметике, на силе денег, на любви к порядку (V, 35).

Достоевский

...Все блестит добродетелями. Так надо, чтоб все блестело добродетелями. Если посмотреть на большой двор в Пале-Рояле вечером, до одиннадцати часов ночи, то придется непременно пролить слезу умиления. Бесчисленные мужья прогуливаются со своими бесчисленными эпизодами под руку <...> фонтанчик шумит и однообразным плеском струй напоминает вам о чем-то покойном, тихом, всегдашнем (4. 101).

Потребность добродетели в Париже неугасима. Теперь француз серьезен, солиден... (4. 101).

Буржуа плачут в театре, тронутые собственной добродетелью, живописанной Скрибом, тронутые конторским героизмом и поэзией прилавка (*V. 34*).

Скриб <...> даже вора умел поднять за то, что он, разбогатевши, дает кусок хлеба сыну того, которого ограбил <...> Казалось бы, воровство — страшнейшее из всех преступлений в глазах буржуазии... но... вор уже негоциант, умение нажиться и хорошо вести свой дом смывает вся пятна (*V. 36*).

Идеал хозяина-лавочника носится светлым образом перед глазами поденщика; только делаясь собственником, хозяином, буржуа, оттирает он пот и без ужаса смотрит на детей <...> Немецкий крестьянин-мешанин хлебопашества, работник всех стран — будущий мещанин (*VI, 356*).

— Что же делала демократическая партия, что делали социалисты <...> Нельзя сказать, чтобы демократия показала себя ловкой или искусной; она умеет только мужественно драться, геройски умирать и гордо выносить тюрьму и галеры. Три раза могла демократия побелить монархическую республику — и три раза упустила из рук победу (*V. 168*).

Накопить фортуны и иметь как можно больше вещей — это обратилось в самый главный кодекс

нравственности, в катехизм парижанина (4,102).

Парижанин себя в грош не ставит, если чувствует, что у него карманы пусты <...> Бедный Сократ есть только глупый и вредный фразер и уважается только разве на театре, потому что буржуа все еще любит уважать добродетель на театре (4. 102).

Буржуа до страсти любит неизъяснимое благородство... Гюстав должен сиять только одним благородством (4, 104).

Воровать гадко, подло, — за это на галеры; буржуа многое готов простить, но не простит воровства, хотя бы вы или дети ваши умирали с голоду. Но если вы украдете из добродетели, о, вам тогда совершенно все прощается. Вы, стало быть, хотите *faire fortune* и накопить много вещей, т. е. исполнить долг природы и человечества (4, 104).

Буржуа до сих пор как будто чего-то трусит <...> Кого же бояться? работников? Да ведь работники тоже все в душе собственники: весь идеал их в том, чтоб быть собственниками и накопить как можно больше вещей <...> Земледельцев? Да ведь французские земледельцы архисобственники <...> Коммунистов? Социалистов, наконец? Но ведь этот народ сильно в свое время профершпилился, и буржуа в душе глубоко его презирает; презирает, а между тем все-таки боится (4, 104— 105).

Мысли Герцена о мещанине как о последнем типе европейского человека. Они общеизвестны. Герцен повторяет их множество раз—и в «Концах и началах», и в «Письмах», и в «С того берега».

У обоих Фигаро общее собственно одно лакейство <...> из-под чёрного фрака Фигаро нового проглядывает ливрея, и, что хуже всего, он не может сбросить её, как его предшественник, она приросла к нему так, что её нельзя снять без кожи (V, 33)

У французов среднего состояния <...> какое-то образованное невежество, вид образования при совершенном отсутствии его: этот вид обманывает сначала, но вскоре начинаешь разглядывать невероятную узкость понятий, их ум так неприхотлив и так скоро удовлетворяем, что французу достаточно десятка два мыслей, сентенции Вольтера <...> чтоб довольствоваться ими и покойно учредить нравственный быт свой лет на сорок (V. 141—142).

Видимый Париж представлял край нравственного растления, душевной усталости, пустоты, мелкости; в обществе царило совершенное безучастие

Прежде, при Луи-Филиппе, например, буржуа вовсе не так конфузился и боялся, а ведь он и тогда царил. Да, но он тогда еще боролся, предчувствовал, что ему есть враги, и последний раз разделался с ними на июньских баррикадах ружьем и штыком. Но бой кончился, и вдруг буржуа увидел, что он один на земле, что лучше его и нет ничего, что он идеал и что ему осталось <...> спокойно и величаво позировать всему свету в виде последней красоты и всевозможных совершенств человеческих (4, 110).

Лакейство въедается в натуру буржуа всё более и более, считается добродетелью. Так и должно быть при теперешнем порядке вещей (4, 11)

Буржуа очень не глуп, но у него ум какой-то коротенький, как будто отрывками. У него ужасно много запасено готовых понятий, точно дров на зиму, и он серьезно намеревается прожить с ними хоть тысячу лет (4, 114).

И какое ко всему равнодушие, какие мимолетные, пустые интересы <...> Точно все они как будто боятся и заговорить о чем-нибудь необыденном,

ко всему выходящему из маленького круга пошлых ежедневных вопросов (V, 141).

У французов <...> страсть к полиции и к власти; каждый француз в душе полицейский комиссар <...> все независимое, индивидуальное его бесит, он равенство понимает только нивелировкой и покоряется произволу полиции — лишь бы только и другие покорились (V. 173).

Западный мир доразвился до каких-то границ... и в последний час у него недостает духу ни перейти их, ни довольствоваться приобретенным. Тягость современного состояния основана на том, что на сию минуту деятельное меньшинство не чувствует себя в силах ни создать формы быта, соответствующего новой мысли <...> ни откровенно принять выработавшееся по дороге мещанское государство за такую соответственную форму жизни германо-романских народов, как соответственны китайские формы Китаю.

Мучительное состояние, колебание и нерешительность делают жизнь Европы невыносимой. Успокоится ли она <...>

чем-нибудь не так мелочном, о каких-нибудь всеобщих интересах, ну, там,

о каких бы то ни было общественных интересах (4, 114).

Париж — это самый нравственный и самый добродетельный город на всем земном шаре. Что за порядок! Какое благоразумие, какие определенные и прочно установившиеся отношения; как все обеспечено и разлиновано; как все довольны <...> и совершенно счастливы, и как все, наконец, до того достарались, что и действительно уверили себя, что довольны и совершенно счастливы, и... и... остановились на этом. Далее и дороги нет (4, 91).

Какой порядок, какое, так сказать, *затишье порядка* <...> И какая регламентация! <...> Не столько внешняя регламентация <...> а колоссальная внутренняя, духовная, из души происшедшая. Париж суживается, как-то охотно, с любовью умалется, с умилением ежится (4, 91—92).

Отчаянное стремление с отчаянья остановиться на status quo, вырвать с мясом из себя все желания и надежды, проклясть свое будущее, в которое не хватает веры, может быть, у самих предводителей прогресса <...> Все это замечается сознательно только в душе передовых сознающих да бессознательно инстинктивно в жизненных отправлениях всей массы (4, 92)

или беспокойный дух западный
вершин и низов смывает новые плотины
— я не знаю; но во всяком случае
считаю современное состояние каким-
то временем истомы и агонии (V, 385).

То, что Герцен сказал в общих чертах о французском театре, Достоевский раскрывает в последней главе — «Брибри и мабиш». Здесь и дана злейшая пародия на буржуазную французскую литературу середины прошлого века, типичнейшим представителем которой и был знаменитый Скриб. Буржуазная добродетель, нравственность, основанная на барыше, на приобретении вещей, — на всем том, что мещанин понимает под словами «делать fortuna», — обрисована при помощи карикатурного изображения схемы развития господствующих сюжетов во французской литературе.

Мы отметили влияние Герцена по существу, со стороны основной проникающей мысли, на всем произведении «Зимние заметки о летних впечатлениях». Построение в общих чертах дано было тоже Герценом. Достоевский вводит несколько картин из жизни буржуазной Европы, жутких и величавых, как например «Ваал». Есть мысли, которые подчеркиваются гораздо резче и сильнее, чем у Герцена. В одном месте сама антитеза. «Россия и Европа» в плоскости основной проблемы века — социального вопроса — трактуется так, что уже чувствуются некоторые намеки на будущую эволюцию воззрений Достоевского, в частности на роль христианства как начала нравственного при решении этой «проблемы века». Но тем выпуклее выступает тот первоисточник, откуда исходит как все его «почвенничество», так и отношение к Европе — и не только буржуазной, но и к европейскому коммунизму.

Достоевский попытается потом подвести под эту «миссию» свой фундамент, преимущественно религиозно-нравственный, и в этом и будет заключаться его расхождение с Герценом. Но с нашей точки зрения «герценизм» был для Достоевского больше чем материал, это была определенная позиция, с которой он никогда не сходил.

Как воспринимал Достоевский Герцена как опреде-

ленный образ, как писателя-художника, как философа, вне его общественно-политической деятельности?

О Герцене-художнике Достоевский упоминает в первый раз в письме к брату от 1 января 1846 года: «Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров. Первый печатался <...> Их ужасно хвалят».¹ Этот отзыв следует поставить в связь с печатавшимся тогда в «Отечественных записках» самым крупным художественным произведением Герцена сороковых годов «Кто виноват?». Достоевский мог знать о второй части романа до выхода ее в свет; в то время он уже был с «Отечественными записками» связан довольно тесно. Не подлежит сомнению, что с тех пор Достоевский следит уже напряженно за творчеством Герцена, знакомится с философскими и литературно-критическими его статьями, прежде им написанными. Мы знаем его отношение к «Письмам об изучении природы», на которые он смотрел как «на лучшую философию не только в России, — в Европе».² «Субъекты доктора Крупова» упоминаются Достоевским мимоходом, даже без имени автора — настолько он считает их общеизвестными. Имя Герцена мелькает в целом ряде его произведений («Подросток», «Бесы»), в переписке; ему дана, как мы знаем, обстоятельная, хотя и едкая, характеристика в параллели с Белинским в «Дневнике писателя за 1873 г.». Отношение Достоевского к книге «С того берега», которую «в разговоре с покойным Герценом очень хвалил», выясняется подробнее из рассказа Достоевского, правда очень коротенького, об одном свидании Герцена с Белинским в том же «Дневнике».

Если эти отдельные намеки и краткие замечания свидетельствуют о том, что Герцен был предметом его частых дум, то в письме к Страхову от 24 марта 1870 года Достоевский обобщает свои думы о нем в цельную точку зрения, которая действительно могла бы быть весьма важной «в определении и постановке главной сущности всей деятельности Герцена».³ Страхов писал тогда статью «Литературная деятельность Гер-

¹ Письма, т. I, стр. 89.

² «Исторический вестник», 1904, № 2, стр. 500.

³ Письма, т. II, стр. 259.

цена», которая вошла позднее в его книгу «Борьба с Западом». Страхов положил в основу своей работы мысль о том, что «Герцен — пессимист». Он доказывает ее на анализе его художественных произведений и книги «С того берега». Достоевский считает этот пункт чрезвычайно удачным и прибавляет с какой-то наивностью, в которой едва ли не заключается известная доля лукавства, быть может даже затаенной насмешки: «но признаете ли вы *действительно* сомнения его <...> неразрешимыми?»¹ Мысль обрывается, своей точки зрения, разрешимы они или нет, Достоевский не высказывает, но ясно ощущается, что в том, что он сейчас скажет про Герцена, есть нечто вроде ответа. Герцен представляется ему «*поэтом по преимуществу*». «Поэт берет в нем верх везде и во всем, во всей его деятельности. Агитатор — поэт, политический деятель — поэт, социалист — поэт, философ — в высшей степени поэт! Это свойство его натуры, — усугубляет Достоевский свою мысль, — мне кажется, много объяснить может в его деятельности даже его легкомыслие и склонность к каламбуру в высочайших вопросах нравственных и философских».² Герцен шутит, там, где раскрывается величайшая трагедия немощности человеческого духа. Одно только объяснение: для Герцена все — «поэзия».

Страхов в своей статье очень много говорит о Герцене как об общественном деятеле. Мы знаем, как он — вольно или невольно — использует Герцена в своих целях: Герцен — западник совсем особого рода, в свое время натворивший своим друзьям гораздо больше зла, чем их враги; глубоко окунувшись в европейскую культуру, Герцен полностью постиг, насколько чужда она духу русского народа, и искренне и страстно стал проводить идеи если не славянофильские, то по крайней мере «почвенные». От такого освещения общественной деятельности Герцена Достоевский, конечно, в восторге, точно «Зимние заметки» — продукт случайного увлечения, мимолетно схваченных и немедленно же без всякой внутренней борьбы брошенных мыслей! Но не в этом суть. Как бы то ни было, в ту минуту Достоевскому определенно казалось, он был убежден, что победу над своим прошлым, не только далеким, докаторжным, но и более

¹ Письма, т. II, стр. 259. Курсив Достоевского.

² Там же

близким — над Герценом в плоскости общественных вопросов, — он одержал окончательную. Другое дело — философские взгляды Герцена, его пессимизм, настойчивый, последовательный. Он «святоотатствует» там, где душа Достоевского, в величайшем своем напряжении, слишком печальна и серьезна. Но ведь от этого правда, если она там есть в его каламбурах, ничуть не уменьшается. Во всяком случае, как бы ни «поэтизировал» Герцен, вопросы, которые он ставит, беспощадность, с какой он разбивает все иллюзии, все «ценности» — религиозные и позитивные, в частности его издевательства над молохом-прогрессом, «который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятаится и в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые ему кричат: *morituri te salutant*, только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле», — эти-то вопросы были слишком близки и родственны Достоевскому, и тут от Герцена он не мог отркаться, не мог от него отойти, даже в этот период «Бесов».

Герцен ставит и решает эти неразрешимые вопросы свои острее всего в книге «С того берега», написанной в форме диалога между автором и очень умным оппонентом. Оппонент, трагически философствующий, вопрошает, Герцен отвечает, пестрой диалектикой своей опаляя его крылья, жестоко, беспощадно загоняя его мысль из далеких миров прошлого и будущего в тесные рамки жизни данного поколения.

«Согласитесь, — сказал Достоевский Герцену во время свидания с ним в Лондоне летом 1862 года, всего за несколько месяцев до «Зимних заметок», — согласитесь, что он <оппонент> вас во многих случаях ставит к стене». Герцену нужно было утвердиться в той мысли, что «смысл жизни — это сама жизнь», и ни в каком оправдании она не нуждается, и ложно и вредно само стремление к нему, к оправданию, если человек, вот эта данная конкретная личность, хочет жить и творить, пользоваться всей полнотою настоящего мгновения, не оглядываясь на прошлое и не сворачивая шею в устремлении к будущему. Гибнут цивилизации, проходят чередою народы по арене исторической, приходят сроки, и с ними — другие народы на смену уходящим, а огромное большинство грезит в полусне, не зная, кому и для чего

оно служит переходным мостом. Оппонент вопрошает, мучается, возмущается этой «скучной сказкой, рассказанной дураком», — «Реей, беспрерывно рождающей в страшных страданиях, детей, которыми закусывает Сатурн». Оппонент спрашивает, «стоит ли детям родиться для того, чтобы отец их съел, да вообще стоит ли игра свеч?». А Герцен в ответ смеется над человеком, над его скверной привычкой «к сохранению всего, что ему нравится: родился — так хочет жить всю вечность; влюбился — так хочет любить и быть любимым во всю жизнь, как в первую минуту признания» (VI, 32). Ведь история, вещает Герцен, та же природа; «такая неподвижная стоячесть противна духу жизни». Она ищет «беспрерывного движения», «повсюдных перемен, постоянного обновления <...> И каждый исторический миг полон, замкнут по-своему», «каждый период нов, свеж, исполнен своих надежд, сам в себе носит свое благо и свою скорбь; настоящее принадлежит ему» (VI, 32—33).

Оппонент не унимается. Здесь пропасть, куда все проваливается, все наши ценности: и истина, и правда, и красота, и муки, и веления совести; и уже реет над пропастью жалкое и страшное «все позволено» Раскольникова и Смердякова: «Если и будущее не наше, тогда вся наша цивилизация — ложь, мечта пятнадцатилетней девочки, над которой она сама смеется в двадцать пять лет; наши труды—вздор, наши усилия смешны, наши упования похожи на ожидания дунайского мужика» (VI, 26). А Герцен, в сущности, ничего и не может ответить на этот роковой вопрос; не упуйте, не мучьтесь, — это ли ответ! И снова твердит свою мысль, что «каждый миг полон, сам себя оправдывает, в себе самом заключает свой единственный смысл, всю полноту его».

Герцен сделал своим оппонентом человека очень умного и тем усилил торжество своей победы над ним. Оппонент не знал еще посвящения Герцена (в той же книге — «С того берега» — пятнадцатилетнему сыну Александру), в котором имеются такие грустные строки: «современный человек, печальный pontifex maximus ставит только мост, — иной, неизвестный, будущий пройдет по нем» (VI, 7). Или строки, написанные языком человека «старого берега»: «Религия грядущего общественного пересоздания — одна религия, которую я

завещаю тебе» (VI, 8). Она основана на «собственном сознании», на «совести». Знал бы оппонент те и другие строки, он мог бы ловить автора на слове: сам Герцен признает как основу жизни силу мечты о будущем. Но как бы то ни было, победа была одержана Герценом не бог весть какая славная: противник ведь целиком находился в его власти, и он мог делать с ним что хотел.

И каких усилий стоило Достоевскому найти ответ на трагические вопросы, которые ставил в сфере воззрений Герцен; первый ответный образ его был — человек, проживший сорок лет в подполье. Человек копался в своей душе, мучился, сознавая свое и чужое ничтожество, болел нравственно и физически, куда-то стремился, что-то делал и не заметил, как жизнь прошла глупо, гадко, нудно, без единого яркого момента, без единой капли радости. Отчаяние, беспредельная злоба — вот что осталось ему в результате от жизни. И он выносит на свет эту злобу свою, швыряет в лицо людям свои издевательства: все — ложь, тупой самообман, глупая игра в бирюльки глупых, ничтожных людей, в слепоте своей о чем-то хлопочущих, чему-то поклоняющихся, каким-то глупым, выдуманным фетишам, не выдерживающим какой бы то ни было критики. Вот оно отрицание всех иллюзий наших, всех «идолов нелепых, принадлежащих иному времени и бессмысленно доживающих свой век между нами, мешая одним, пугая других». Подпольный человек тоже дошел до истины, в которой тоже своего рода «отвага знания»: «Свету ли провалиться или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» (4, 237).

Герцену удалось на развалинах всех иллюзий, на культе данного мгновения, «в себе самом носящего свое оправдание», создать «религию общественного пересоздания».- А «подпольный джентльмен с неблагоприятной физиономией» — мы знаем — уже поджидает его: «а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие — все это порождение «религии грядущего общественного пересоздания» — с одного разу, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить?» Таких ли выводов хотел Герцен от свободы, которую он приносит в дар своему пятнадцатилетнему мальчику в книге «С того берега»?

Так происходит первая битва Достоевского — за оппонента — с Герценом, в его же плоскости и его же оружием.

Это первая, открытая уже, битва, начало которой мы имеем в тех же «Зимних заметках о летних впечатлениях», где для вящего торжества буржуазии доказывается герценовскими доводами вся несостоятельность, неосуществимость этой, Герценом же завещаемой, «религии грядущего общественного пересоздания».

«...Кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему доставить, и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для Общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому — полная воля» (4, 109) — так сравнительно спокойно говорит Достоевский в «Зимних заметках», жало которых обращено ведь против буржуазии.

А подпольный человек уже издевательски хохочет над всеми этими «позитивными» стремлениями к братству на основании разумных исчислений «польз» и «выгод».

«Человек всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода <...> И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотения? Человеку надо — одного только *самостоятельного* хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела... (4, 153. Курсив Достоевского).

«Записки из подполья», задуманные и, быть может, даже начатые в одно время с «Зимними заметками», — пролегомены ко всему художественному творчеству Достоевского послекаторжного периода. В дальнейшем он только углубляет свои первые «подпольные» мысли, свой первый отклик «Герцену-поэту».¹

¹ Статья «Достоевский и Герцен» дана в сокращенном виде. Полностью опубликована: «Достоевский. Статьи и материалы». Пб.. «Мысль». 1922.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРШИНА (К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ „БРАТЬЕВ КАРАМАЗОВЫХ”)

Глава 1. Истоки

16 марта 1878 года Достоевский писал В. В. Михайлову: «Я замыслил и скоро начну большой роман, в котором, между другими, будут много участвовать дети и именно малолетние, с 7 до 15 лет примерно. Детей будет выведено много <...> Наблюдения такого человека, как вы, для меня <...> будут драгоценны <...> Напишите мне об *детях* то, что сами знаете <...> (Случаи, привычки, ответы, слова и словечки, черты, семейственность, вера, злодейство и невинность; природа и учитель, латинский язык и проч. и проч.—одним словом, что сами знаете)».¹

По-видимому, мы имеем здесь дело с моментом «первоначального накопления» материалов — еще задолго до их оформления: роман только что задуман, но еще не начат; составлен, быть может, лишь план, очень широкий, почти схема, внутри которой еще мыслимы самые неожиданные перегруппировки составных ее элементов.

¹ Письма, т. IV, стр. 7. Курсив Достоевского.

Опубликованные в свое время восемь планов к «Идиоту», на составление которых было потрачено больше трех месяцев,¹ наброски к поэме «Житие великого грешника»² и к «Бесам»³ могут дать представление об этом моменте. Правда, «случаи, привычки, вера, злодейство и невинность» детей — весь этот материал, если судить по окончательному тексту, нужен был художнику отнюдь не для первых книг романа, — дети появляются впервые лишь в четвертой книге, в главе «Связался с мальчиками», и особенно большую роль играют в книге десятой, им целиком посвященной, под заглавием «Мальчики». Но ведь тема приведенного письма определяется не только автором, но и корреспондентом; от педагога Михайлова Достоевский мог ожидать наблюдений, касающихся только детей. Зная, что наблюдения эти понадобятся если не сейчас, так позже, их он и просит у него. Во всяком случае слова: «замыслил и скоро начну... роман» — ясно свидетельствуют о стадии еще подготовительной, о моменте «праисторическом».

Был бы этот момент у Достоевского, как и у других писателей, сравнительно коротким или непосредственно предшествующим связной, более или менее стилистически организованной редакции, не отличались бы его записи такой сложностью, такой хронологической запутанностью, когда на одной и той же странице мы находим сюжетные мотивы, отдельные детали, характерные словечки и выражения, совершенно не соответствующие ходу развития действия в окончательном тексте романа, — вопрос этот о начальном, исходном пункте романа решался бы гораздо легче. Трудность именно заключается в этой чрезвычайной пестроте и разнохарактерности записей, так что исследователь подчас совершенно лишен обычных способов ориентировки. Разными чернилами и почерками писанные в самых разнообразных направлениях, вдоль и поперек страницы, снизу вверх, на полях, нередко на каком-нибудь клочке бу-

¹ См.: П. Н. Сакулин. Работа Достоевского над «Идиотом». Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. М., ГИХЛ, 1931, стр. 209—252

² «Записные тетради Достоевского». М.—Л., «Academia», 135, стр. 96-107.

³ «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования». Под ред. А. С. Долинина. Л., изд-во Академии наук СССР, 1935, стр. 405—428.

маги, на конверте от какого-то полуденного письма, на свободном месте письма, почему-либо не отправленного, вдоль и поперек обрывков каких-то текстов, порой совершенно других произведений — разбросаны они, эти короткие записи, сюжетной, временной последовательностью вовсе не связанные.

«Momento (о романе)» — так озаглавлена одна страница записей к «Братьям Карамазовым», относящаяся приблизительно к тому же времени, что и письмо Михайлову, и в основном касающаяся той же темы — о детях.

«— Узнать, можно ли пролежать между рельсами под вагоном, когда он пройдет во весь карьер.

— Справиться, жена *осужденного* в каторгу тотчас ли может выйти замуж за другого.

— Имеет ли право Идиот держать такую ораву приемных детей, иметь школу и проч.

— Справиться о детской работе на фабриках.

— О гимназиях, быть в гимназии.

— Справиться о том: может ли юноша, дворянин и помещик, на много лет заключиться в монастырь (хоть у дяди) послушником? (NB. По поводу провонявшего Филарета).

— В детском приюте < ..>

— У Михаила Николаевича (Воспитат. Дом).

— О Песталоцци, о Фребеле. Статью Льва Толстого о школьном современном обучении в От. Зап. (75 или 74) <...>

— Участвовать в Фребелевской прогулке. См. «Новое время», среда, 12 апреля, № 762».¹

По номеру «Нового времени» мы датируем эту страницу записей, относя ее к апрелю 1878 года. Но в чем может нам здесь помочь содержание этой записи? Мы имеем, с одной стороны, как будто бы ясное доказательство, что у художника к этому времени был уже разработан чуть ли не весь сюжетный план романа, вплоть до таких деталей, как: «пролежать между рельсами» — поступок Коли Красоткина в книге о «Мальчиках», напечатанной ровно через два года после этой записи (в апрельском номере «Русского вестника» за 1880 год).

¹ «Достоевский. Материалы и исследования», стр. 81—82. Курсив Достоевского.

Или: «Справиться, жена *осужденного* в каторгу» — очевидно, осужденного Мити, — это уже финал романа. И дальше: «Справиться о детской работе на фабриках», — о положении фабричных детей, об изнуряющем их труде и жестоком обращении с ними говорится, правда, лишь вскользь, в книге шестой — «Русский инок», появившейся в августе 1879 года.

С другой стороны, дети приютов, воспитательных домов, наблюдения над которыми Достоевским фиксировались особенно тщательно с первых же выпусков «Дневника писателя», в окончательном тексте совершенно отсутствуют, хотя тут же и указана сюжетная ситуация для их появления—в записи: «Имеет ли право Идиот держать такую ораву приемных детей...» В черновиках Идиоту (Алеше Карамазову) была, по-видимому, предназначена в будущем роль воспитателя или заведующего детским приютом, что и соответствует вполне облику этого «раннего человеколюбца», посланного старцем Зосимой в грешный мир на трудную работу, на перевоспитание человека. Анна Григорьевна рассказывает в своих «Воспоминаниях», что Достоевский считал «Братьев Карамазовых» далеко не законченными, продолжал работать над ними, составлял уже планы к новой серии книг под тем же заглавием. Алеша должен был играть в них главную роль, пройти все стадии жизни, очутиться в лагере революционеров-террористов. «Орава приемных детей» под его ведением — не эпизод ли это оттуда, из этих ненаписанных книг? Тогда пришлось бы допустить, что художником, уже в это время, более или менее ясно различались дали за пределами осуществленного романа.

Но что особенно характерно — это запись-справка: может ли Алеша «заклечься в монастырь (хоть у дяди) послушником». И тут же: «по поводу провонявшего Филарета». Алеша-послушник в скиту у старца Зосимы — это самая начальная ситуация в романе. Не определился еще, таким образом, в эту сравнительно позднюю пору, к середине апреля 1878 года, основной сюжетный узел романа. И в то же время упоминается «провонявший Филарет», то, что легло в основу первой главы книги седьмой «Тлетворный дух», напечатанной в сентябрьском номере «Русского вестника» за 1879 год. Так исключается пока всякая возможность установить

какие бы то ни было грани между различными стадиями работы художника над романом, несмотря на всю категоричность заявления его в письме к Михайлову, что в марте 1878 года роман только задуман, но еще не начат, несмотря также и на эти первые из дошедших до нас записей к «Братьям Карамазовым». Между тем, как будет показано ниже, это один из кардинальнейших вопросов при изучении творческой истории «Братьев Карамазовых», ключ к правильному пониманию не только художественных приемов этого последнего, завершающего, художественно наиболее законченного произведения Достоевского, но и основной его идеологической позиции, что особенно важно, поскольку идеологический момент всегда ведь является у Достоевского главной организующей силой.

Но вот перед нами другие факты, гораздо шире раздвигающие хронологические рамки для исходного пункта романа; они относят его к 1877 году, быть может даже к первой его половине. И есть некоторые основания, как увидим ниже, отодвинуть этот момент назад еще дальше, к 1876 году. Здесь необходимо прежде всего точно установить, что разумеет Достоевский под словами: «начну писать роман», после того как уже «замыслил». Замысел он всегда прояснял с пером в руках и на это «прояснение» — на рождавшиеся без конца планы, которые сейчас же заносились на бумагу, на наброски характеров, отдельных деталей, словечек и выражений, на бесчисленные комбинации сюжетных положений — тратилось, как уже было указано, огромное количество сил и времени, иногда полгода, год и даже больше. Составление хорошего плана, утверждал Достоевский неоднократно в своих письмах, это главное, это половина работы.¹ И, лишь будучи доволен планом, он садился *писать* роман, *начинал* его. Факты, на которые мы сейчас будем ссылаться, свидетельствуют о том, что в первую четверть 1878 года завершается этот, назовем его условно «*плановый*», период, начавшийся гораздо раньше, и предвидится скорая возможность засесть за *писание*, приступить к первой уже — *организуя* ее в виде сплошного текста — редакции.

В начале ноября 1878 года готова в окончательном

¹ См.: Письма, т. III, стр. 114, 131, 135.

виде, так что могла быть передана в «Русский вестник», большая часть романа, по всей вероятности первые две книги, занимающие около семи печатных листов. Об этом мы узнаем из письма к жене от 8 ноября, в котором Достоевский сообщает о своем первом свидании с Катковым: «Говорил об романе. Он оставил рукопись, и на мое сожаление, что многое (поправки) неразборчиво, отвечал, что он твой почерк умеет превосходно разбирать и что это самый лучший почерк. Затем сказал, что он *все* это прочтет. «Ведь вы, наверно, у нас дней пяток али неделку пробудете».¹ На следующий день Достоевский снова пишет о том же: был у соредактора Каткова, Любимова, и «говорили о романе. Катков непременно хотел сам читать, и как Любимов (еще 7-го числа вечером) ни упрашивал его дать ему прочесть, но Катков не согласился и оставил у себя, ему же сообщил и план романа и все, что я слегка во время свидания передал ему о романе. (Значит интересуется очень.) Любимов обещал мне, по просьбе моей, ускорить чтение».² И наконец, в письме к жене от 10 ноября: Катков рукописи не прочитал, «но, *перелистовав* всю», передал ее Любимову. Любимов же «прочел первую треть и нашел все очень *оригинальным*.

Семь вполне законченных для печати печатных листов текста. Если принять во внимание замедленность темпа работы последних лет (полтора-два печатных листа в месяц), — на это должно было уйти минимум около трех-четырех месяцев. В письме к Юрьеву от 11 июля Достоевский так пишет: «Насчет моего романа, вот Вам вся полная истина <...> Роман я начал и пишу, но он далеко не закончен, он только что начат. И всегда у меня так было: я начинаю длинный роман (NB. Форма моих романов 40—45 листов) с середины лета и довожу его почти до половины к новому году».⁴ К новому году было доведено едва до трети, но начало указано более или менее точно.

Начато писание, по всей вероятности, в апреле, но работа шла почему-то вяло; недаром на этот месяц приходится большинство не деловых, но требовавших боль-

¹ Письма, т. IV, стр. 39. Курсив Достоевского.

² Там же, стр. 41.

³ Там же, стр. 43. Курсив Достоевского.

⁴ Там же, стр. 30—31.

шого напряжения ответственных писем к целому ряду лиц, в том числе и письмо «Студентам», которое отняло у него особенно много времени.¹ Такие письма Достоевский всегда писал только во время длительных перерывов, когда кончал какую-нибудь часть книги и брал себе отдых на десять-пятнадцать дней или когда произведение еще, не было продано и не тревожила жесткость установленных сроков. Что же касается мая, то в мае умер его сын Алеша, он очень тосковал и не мог работать; затем много времени ушло на приготовление к переезду в Старую Руссу, на поездку в Москву и в Оптину пустынь. В Оптиной пустыни, исконной обители старчества, и собран был последний материал, который был необходим для первых же глав романа, поскольку в них действие сосредоточено вокруг старца Зосимы, в скиту, куда съезжаются почти все главные персонажи.

Мы относим действительное начало романа, период замысла и планов, к 1877 году. За семьдесят седьмой год во всяком случае свидетельствует точно сам автор — свидетельствует дважды: в письме к Аксакову от 28 августа 1880 года и в письме к Любимову от 8 ноября того же года. Близится конец романа, дописываются последние главы, и раздумьем, сосредоточенной грустью «косых, вечерних, закатных лучей» обвеяны прощальные строки автора: «Кончаю Карамазовых <...> подвожу итог произведению, которым я <...> дорожу, ибо много в нем легло меня и моего <...> Подводится итог тому, что 3 года обдумывалось, составлялось, записывалось».² Это из письма к Аксакову. А Любимову он пишет 8 ноября, отсылая в «Русский вестник» последние страницы, эпилог из трех небольших главок: «Ну, вот и кончен роман! Работал его три года, печатал два — знаменательная для меня минута».³

Три года работы, сосредоточенной целиком и исключительно на романе. Письмо к Аксакову ведет нас к сентябрю 1877 года. Тогда становится понятным твердое решение уже в этом месяце «прекратить «Дневник писателя» на год или на два». Читателю об этом сообщается в октябрьском номере; причина — обычная в та-

¹ Письма, т. IV, стр. 16—19.

² Там же, стр. 198,

³ Там же, стр. 212.

ких случаях, официальная; «недостаток здоровья» (XII, 265). Но в номере прощальном, последнем, декабрьском, Достоевский говорит уже откровенно: «Дневник» прерывается для того, чтобы заняться «одной художнической работой, сложившейся у меня в эти два года издания «Дневника» неприметно и невольно» (XII, 363).

«Неприметно и невольно» — в этих словах заключается особенно ценное указание на творческий процесс художника, на праисторию создания «Карамазовых». Бродили в сфере сознания эмбрионы образов, отдельные, разрозненные черты, не организованные в единое целое разные ситуации, восходящие к фактам окружающей действительности. Это еще не элементы сюжета, но они могут стать такими. Они возникали до сих пор всегда подчиненные высказываемым идеям. Идеями, мыслями иного, не художественного, порядка вызванные на поверхность, они сейчас же обратно тонули в сферу идей. Но художническая работа все же продолжалась, крепла, «неприметно и невольно», в эти два года издания «Дневника писателя» — и именно в связи с «Дневником». Утверждалась все больше и больше и властительно сказывалась потребность выражения языком художественным основных жизненных и идеологических впечатлений, накопившихся в течение двух лет: в горячих ли спорах с противником или в успокоенных беседах с читателем-единомышленником — по вопросам наиболее важным и наиболее жгучим «в наше любопытное и столь характерное время». Факты повседневные: дело Кронеберга, истязавшего свою семилетнюю девочку и оправданного судом, потому что он «хотя и плохой педагог, плохой воспитатель, но все же отец»; самоубийство акушерки Писаревой, глубоко заскучавшей, не нашедшей для себя смысла жизни; самоубийство дочери Герцена; смерть Жорж Занд; смерть Некрасова; дело Корниловой, выбросившей из окна пятого этажа свою пятилетнюю падчерицу; самоубийство Гартунга; выход в свет «Анны Карениной» Толстого, «Нови» Тургенева, «Последних песен» Некрасова и т. д. и т. д., — во всех этих — как будто не связанных между собою — фактах вскрывается их сокровенный идеологический смысл; светом единого мирозерцания, хоть и незаконченного, все время становящегося, но в контурах своих все же цельного, освещаются эти факты и события.

От факта к идее: идея не отвлеченная, не головная, а в факте реализованная, идея, одетая в плоть и кровь, — это тот же, в сущности, художественный метод, большим писателем всегда осознаваемый как единство формы и содержания.

«Проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первой взгляд факт действительной жизни, — и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: *на чей глаз и кто в силах?* Ведь не только, чтоб создавать и писать художественные произведения, но и чтоб только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника» (XI, 423. Курсив Достоевского.) Это сказано Достоевским в одном месте «Дневника», мимоходом, как бы вскользь, точно нехотя раскрыл он свою давнишнюю мысль о взаимоотношении искусства и действительности. Художник — тот, кто «в силах и имеет глаз», умеет видеть и находить в факте действительной жизни такую глубину, какой нет даже и у Шекспира. Иными словами, Шекспир, Толстой, Гете, Достоевский, Бальзак, Гюго — они-то и есть эти люди, имеющие глаз и силу наблюдения. Так становится постижимой и оправданной эта легкость перехода в «Дневнике писателя» к художественным очеркам, в которых та же идея, проникающая данный единичный факт действительной жизни, получает уже более широкий охват: факт превращается в символ. «Мальчик у Христа на елке», «Мужик Марей», «Фельдъегерская тройка», «Кроткая», «Столетняя», «Бобок», «Сон смешного человека» — это все те же основные идеологические линии: его размышлений о детях, о русском народе и его историческом значении, о смысле жизни, о будущем человечестве, о самом основном вопросе, одинаково волнующем Европу и Россию, — о вопросе социальном.

Слиты в «Дневнике писателя» оба метода работы человеческой мысли, — научный и художественный; грани между ними настолько стёрты, что переход от одного к другому совершенно незаметен. Это идет накопление цельного синтезированного опыта, стремящегося к своей привычной форме — к форме «*идеологического романа*». Праистория «Братьев Карамазовых», утверждаем мы, начинается гораздо раньше. Не только во второй половине 1877 года, когда художнику уже предстали, во всей

сложности и неразрывной целостности, образы, люди и идеи, столь напряженно и столь остро борющиеся между собою в «Братьях Карамазовых», но и прежде, еще в середине 1876 года и даже в *начале* этого года, мы находим в «Дневнике», или в связи с «Дневником», куски, почти целиком туда, в роман, перенесенные, или во всяком случае эмбрионы целого ряда сюжетных положений того или другого действующего лица.

«Я и прежде всегда смотрел на детей, но теперь присматриваюсь особенно. Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении. Поэма готова и создавалась прежде всего, как и всегда должно быть, у романиста» (XI, 147). Это заявлено в первом же выпуске «Дневника» за 1876 год, и тут же вслед идут наблюдения над детьми, собравшимися на елку, в таком обобщении: «Более даровитые и обособленные из детей всегда сдержаннее, или если уж веселы, то с неременной повадкой вести за собою других и командовать» (XI, 149). «Дети обособленные и командующие», — им-то и отдана в «Братьях Карамазовых» целая книга, десятая, под заглавием «Мальчики». Веселый и командующий — Коля Красоткин; обособленные и сдержанные — Смуров и Илюшечка; и все другие, их человек двадцать, — «очень милы и развязны»; в эпилоге они снова собираются гурьбой «на похоронах Илюшечки», и Алеша держит перед ними «речь у камня».

И дальше в «Дневнике» снова дети, уже лишенные елки, дети фабричных, с молодых лет сбываемые на фабрику пьяными отцами. «Уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками», а «фабрика довершает воспитание, изнуряя их непосильным трудом». Об этих детях старец Зосима говорит в своем поучении с особенной грустью и жалостью и с особенной настойчивостью призывает к спасению их. Или рассуждения о нерадивом духовенстве, «вечно ноющем о прибавке жалования», целиком вошедшие в то же поучение старца Зосимы. Ребенок, забившийся в угол, ударяющий себя кулачками в грудь, надрывно плачущий, ломая ручки и не понимая, за что его мучают... Муки, причиненные детям турками во время Сербского восстания. Подробности из жизни девочки Кронеберга: как ее запирали на ночь в уборную, истязали ее за то, что

украла чернослив, и т. д. (XI, 205-214). Это все попадает, местами почти дословно, в книгу об Иване «Pro и Contra». Речь защитника Мити, Фетюковича, воспроизводит в целом ряде мест приемы защитительной речи созвучного ему Спасовича по тому же делу Кронеберга (XI, 199—215). Таких фактов «самозаимствования», художественного оформления в «Карамазовых» целого ряда положений, мыслей и идей из «Дневника» можно привести несколько десятков.

Но особенно показательно — это «Легенда о Великом инквизиторе», которую сам Достоевский называет «кульминационной точкой»¹ романа и которая в самом деле является его главным, стержневым, опорным символом, стягивающим к себе все нити как идеологические, так и сюжетные. Центральная тема «Легенды», ее основные мотивы явственно звучат уже в первом выпуске «Дневника» за 1876 год. В главке о спиритизме выражен полностью этот символ будущего социального устройства, основанного на «великих научных достижениях»: «камни, обращенные в хлебы» ценой человеческой свободы, и условия, при которых возможно это будущее царство, — только тогда оно будет долговечным, если заранее обеспечить его от «бунта человеческого» (XI, 176). Мысль эта уже здесь дана как главное дьяволово искушение Христа в пустыне. В майском выпуске «Дневника», в связи с самоубийством акушерки Писаревой, на конкретном факте, на психологическом анализе тоскующей души современной женщины, символ этого будущего хрустального царства вновь повторяется, правда сжатый до пределов аллегории: вспоминаются лишь вскользь «камни, обращенные в хлебы» (XI, 303). Но когда один из читателей задает Достоевскому недоумевающий вопрос: что значит это евангельское изречение, в «Дневнике» встречающееся уже несколько раз, то писатель дает ему такой пространственный ответ, что воистину ответ этот является как бы первой, уже развернутой редакцией одной из частей «Легенды»:

«В искушении диявола слились три колоссальные мировые идеи, и вот прошло 18 веков, а труднее, т. е. мудренее, этих идей нет, и их все еще не могут решить.

«Камни в хлебы» — значит теперешний социальный

¹ Письма, т. IV, стр. 53.

вопрос, *среда*. Это не пророчество, это всегда было. «Чем идти-то к разоренным нищим, похожим от голодухи и притеснений скорее на зверей, чем на людей, — идти и начать проповедывать голодным воздержание от грехов, смирение, целомудрие—не лучше ли *накормить* их сначала? Это будет гуманнее. И до Тебя приходили проповедывать, но ведь ты Сын Божий, тебя ожидал весь мир с нетерпением; поступи же как высший над всеми умом и справедливостью, дай им всем пищу, *обеспечь* их, дай им такое устройство социальное, чтоб хлеб и порядок у них был всегда. — и тогда уже спрашивай с них греха. Тогда если согрешат, то будут неблагодарными, а теперь — с голодухи грешат. Грешно с них и спрашивать.

Ты Сын Божий — стало быть, ты все можешь. Вот камни, видишь, как много. Тебе стоит только повелеть — и камни обратятся в хлебы.

Повели же и впредь, чтоб земля рождала без труда, научи людей такой науке или научи их такому порядку, чтоб жизнь их была впредь обеспечена. Неужто не веришь, что главнейшие пороки и беды человека произошли от голоду, холоду, нищеты и из невозможной борьбы за существование».

Вот 1-я идея, которую задал злой дух Христу. Согласитесь, что с ней трудно справиться».¹

Раскрыт в этом письме полностью смысл только первой идеи из трех колоссальных мировых идей, заключающихся в искушении дьявола, — только идеи о хлебе, с которой неразрывно связаны и другие две идеи — о чуде и власти. Стал бы Достоевский говорить здесь о последних двух идеях — он дал бы им такую же четкую, острую формулировку, как и первой. И что особенно характерно — это распределение ролей между дьяволом, «умным духом», и Христом: вся сила логики и убеждения отдана умному духу («безбожному социализму»), а не Христу; в плоскости реальной убедителен «дьявол».

Так, в плане идеологическом, роман построен и в окончательной редакции. Об этом речь подробно в последней главе этой работы.

¹ Письма, т. III, стр. 211—213. (Письмо В. А. Алексееву от 7 июня 1876 г. Курсив Достоевского)

Глава II. Старые тени

«Считаю себя всех либеральнее, хотя бы по тому одному, что совсем не желаю успокаиваться» — так заявляет Достоевский в предисловии к первому же выпуску «Дневника» за 1876 год (XI, 147). И тревога усиливается с каждым номером все больше и больше, проявляясь в совершенно новых темах, в новой постановке и освещении целого ряда вопросов, вдруг оказавшихся вовсе не решенными. И это особенно характерно — резко изменилось его отношение не только к фактам, но и к лицам, в предыдущий период оценивавшимся им абсолютно отрицательно. Характерно особенно последнее именно потому, что лица всегда воспринимались Достоевским как символы, носители определенных идей; он принимал их и отвергал с той же страстностью, как их идеи и — *за идеи*.

Было резко отрицательное отношение ко всей самой передовой части русской интеллигенции: к Белинскому, к Герцену, к Некрасову и др. А с 1876 года начинается совершенно обратное: Достоевский снова с любовью приближает к себе тень Белинского — сперва робко (ссылки на удачные его выражения, говорит о нем как о замечательном уме). И чем дальше — тем смелее: в полемике с либералами, которых в эти годы не только ясно уже отличает от народников, а вместе, как бы сообща с народниками, борется с ними, часто по тем же мотивам, что и народники, и оружием же народников. Когда речь заходит о западничестве сороковых годов, поскольку либералы себя считали единственными наследниками и продолжателями той эпохи, им резко противопоставляется «чистый и искренний» Белинский: «по грязи волочат они его честную идею». И наконец объявляется уже, что Белинский обладал таким же русским чутьем, как и славянофилы, что тут было великое недоразумение: славянофилы могли бы счесть его своим лучшим другом. Белинский потому и примкнул, чуть не из первых русских, прямо к европейским социалистам, отрицавшим уже весь-порядок европейской цивилизаций, что обладал он этим русским чутьем, был «в высшей степени русским» (XI, 322). Ибо «все то, чего они

<социалисты> желают в Европе, — все это давно уже есть в России, по крайней мере, в зародыше и в возможности, и даже составляет сущность ее» (XI, 319), — разумеется, конечно, «русский коммунизм», община.

Пример с Белинским является особенно разительным. Дело пока не в том, приемлет ли Достоевский теперь, в годы «Дневника», доподлинного Белинского — Белинского реалиста, материалиста, борца с церковью, с православием. Пусть он, может быть, искажает здесь его образ мыслей еще больше, чем в предыдущий период, — во славу своей идеи, своего понимания роли России в грядущих судьбах человечества. Важен, показателен именно поворот психологический, эти новые элементы, которые вдруг ворвались в его мирозерцание, не дают ему успокоиться, заставляют снова переоценивать прошлое, далекое, докаторжное; оно, оказывается, вовсе не было сплошной ошибкой.

Прошлые, воспоминания далеких лет — это как бы опорные пункты для того нового, что сейчас назревает в нем. В связи с «Последними песнями» Некрасова, напечатанными в январской книге «Отечественных записок» за 1877 год, воскресает в памяти их встреча «друг с другом в жизни», когда Некрасов и Григорович, в четыре часа ночи, только что прочли в рукописи «Бедных людей», прибежали к нему, незнакомому, на квартиру и бросились обнимать его, в совершенном восторге и чуть сами не плача. «Произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее — из того, что остается навсегда в сердце участвовавших». «Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о «тогдашнем положении» <...> но, главное, о *Белинском*. «Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, — да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!» — восторженно говорил Некрасов, трясая меня за плечи обеими руками». А между тем Некрасов — несколькими строками выше дается бегло его портрет — вовсе не отличался восторженностью: «характер его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало общительный» (XII, 29—31).

Бросается снова — и на образ Белинского — свет юношеской восторженности, глубокого искания правды

и истины — на этот раз через «замкнутого, почти мнительного, осторожного» Некрасова: «Он благоговел перед Белинским и, кажется, всех больше любил его во всю свою жизнь». А дальше рассказывается уже встреча с Белинским, когда тот, по поводу же «Бедных людей», заговорил пламенно, с горящими глазами о «страшной правде» в этом произведении, о «правде в искусстве», о «служении художника истине» и кончил так: «Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!» И будущий великий писатель, ощутив всем своим существом, что в жизни его «произошел <...> перелом навеки, что началось что-то совсем новое», благоговейно клялся в душе: «О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где люди!»

Прошло с тех пор тридцать лет. И та минута — «это была самая восхитительная минута во всей моей жизни» — вспоминается «в самой полной ясности». И никогда он не мог забыть ее: «Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом». Сидя у постели больного Некрасова, Достоевский вновь припомнил и пережил те минуты и увидел, что Некрасов помнит о них и сам.

«Это я об вас тогда написал», — сказал Некрасов по поводу стихотворения «Несчастные» о мученике-революционере — о Достоевском, когда тот мучился на каторге:

Песни вещие их не допеты.
Пали жертвою злобы, измен
В цвете лет; на меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен.

Достоевский останавливается на слове «укоризненно»: «Тяжелое здесь слово это: *укоризненно*». К себе применяет это слово, к клятве, данной тогда Белинскому, после «той восхитительной минуты»: «пребыли ли мы верны, пребыли ли? Всяк пусть решает на свой суд и совесть» (XII, 30—33. Курсив Достоевского).

Начал воспоминанием и кончил почти исповедью. В начале пути светил ярко образ одного из прекраснейших людей, прежде и глубже, чем кто-либо, проникшегося страданиями, трагедией маленького, несчастного человека. В каторге, в минуты глубочайших сомнений и

скорби, «укреплялся духом», вызывая в памяти этот светлый образ. Потом образ померк; пришло «перерождение убеждений».

И на склоне лет снова вспомнил о Белинском и с любовью и грустью приблизил к себе. Скажут — «психология». Да, но не только «психология». Кто знает творческую манеру Достоевского, эту неразрывность для него идеи и факта, идеи и ее носителя, тот неминуемо должен согласиться с нашим толкованием.

В «Дневнике писателя» 1876 года имеется некролог Жорж Занд (XI, 307—316). Среди властителей умов русской социалистически настроенной молодежи в эпоху сороковых годов Жорж Занд занимала исключительное место. Больше, чем кто-либо, она взяла его, Достоевского, «восторгов, поклонений», дала ему «радостей, счастья». Когда стало ясно в Европе, что «свобода, равенство и братство», для которых пролито было столько крови в Великую французскую революцию, «оказались лишь громкими фразами и не более», что «лишь обновился деспотизм <...> что новые победители мира (буржуа) оказались еще, может быть, хуже прежних деспотов (дворян)», тогда «вдруг возникло действительно новое слово, и раздались новые надежды»; было провозглашено, что «дело остановилось напрасно и неправильно <...> что дело надо продолжать, что обновление человечества должно быть радикальное, социальное».

Жорж Занд и была первой среди носителей этих новых идей, пришедших с новым словом, благодаря которым «засветилась опять надежда, и опять начала возрождаться вера»; она «проповедовала вовсе не об одной только женщине <...> принадлежала всему движению». Это была «одна из самых ясновидящих предчувственниц <...> более счастливого будущего, ожидающего человечество, в достижение идеалов которого она бодро и великодушно верила всю жизнь, и именно потому, что сама, в душе своей, способна была воздвигнуть идеал. Сохранение этой веры до конца обыкновенно составляет удел всех высоких душ, всех истинных. человеколюбцев».

То, что было тогда, в 1840-е годы, «новым словом», все, что было «всечеловеческого», вновь воскресло как дорогое воспоминание далекого прошлого. Выше уже было указано, что в «Подростке» дана в развернутом

виде картина будущего счастливого человечества, устроившегося на земле без бога.

В «Дневнике писателя» картина эта показана еще более подробно — в «Сне смешного человека» (XII, 106—122). «Дети солнца», дети безоблачной радости, не имеющие собственности, для пищи и для одежды своей трудящиеся лишь немного и слегка, не знающие ни скорби, ни слез, любящие друг друга и все окружающее безмерной, всепроникающей любовью. Они составляют одну семью, их дети — дети всех, у них нет веры, нет никакой религии, никаких храмов, а есть «какое-то насущное, живое и непрерывное единение с Целым вселенной». Таков идеал будущего человечества. И таким, наверно, оно рисовалось Достоевскому еще в грезах мечтательной юности, согласно фантастическим пророчествам Фурье. Утопист он был в эпоху сороковых годов, утопистом он остался навсегда.

Глава III. Классовая ненависть

Я привел факты, лишь наиболее разительные, разбросанные по выпускам «Дневника» за оба года—1876 и 1877. Единая линия, ясно свидетельствующая об этом его повороте, о новых настроениях; вновь оживают некоторые идеи юности, но уже в иной обстановке, применительно к новым условиям. Значит, не только в Каткове, не только в Победоносцеве и даже не в Иване Аксакове ключ к решению всех больных вопросов, назревших в России после реформы 1861 года, когда все «переверотилось» и стал «укладываться» новый строй, столь мучительный для многомиллионных крестьянских и городских масс. Так, получают особенно углубленный смысл раз уже приведенные слова его: «Считаю себя всех либеральнее, хотя бы по тому одному, что совсем не желаю успокаиваться». Не мог успокоиться и не успокоился в «лагере победителей», и прежде всего уж конечно потому, что — какой же он «победитель»! В сфере отвлеченностей, на крайних высотах идеологических надстроек, сплошь и рядом затушевываются краски конкретной действительности. Тогда сквозь слиш-

ком широкие обобщения выпадает историческая правда и слабо различаются позиции, с которых борются социальные силы. Не порвал Достоевский с победителями, с их идеологией и в эту пору. Пусть свое, иное содержание вкладывал он порою в их формулы; но это все же были формулы не его, а их. *Восток* и *Запад*, *народ* и *интеллигенция*, религия и атеистический социализм, христианское смирение и борьба — все эти парности в их противопоставлении звучали для того времени как лозунги, смысл которых — теснее связь с царем и церковью; в самодержавии и православии наше спасение.

Картины далекого будущего, которые тридцать лет назад так обольстительно рисовали ему утопические социалисты, приняли на русской почве свою национальную окраску. Идеалистические и идиллические мечтания мелкой буржуазии, неспособной к самостоятельной борьбе за свои интересы, мечтания о возможности достижения счастья на земле, но без кровопролития, без «комьев грязи», все же требовали ответа на вопрос: где же те силы, которые могут и должны осуществить этот рай земной? На Западе утописты взывали к доброте человеческого сердца и к здравому смыслу. В России, в специфических условиях русской действительности, могли рисоваться иные химеры: надклассовый царь и надклассовая церковь, вместе ведущие общество к уничтожению классов.

Маркс и Ленин так оценивают роль и значение утопистов в истории революционного движения. Утопический социализм «критиковал капиталистическое общество, осуждал, проклинал его, мечтал об уничтожении его, фантазировал о лучшем строе, убеждал богатых в безнравственности эксплуатации».¹ Они «видели уже противоречия классов, равно как и влияние разрушительных элементов внутри самого господствующего общества». Но они не могли еще указать действительного выхода, не умели «найти ту *общественную силу*, которая способна стать творцом нового общества»,² ибо антагонизм классов только что начал тогда развиваться, и утопистам был он известен лишь в его первичной, бесформенной неопределенности. Пролетарская идеология

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4, т. 19, стр. 7.

² Там же.

воздаст должное творцам этих социалистических, утопических систем, рассматривает их как раннее отражение капиталистического гнета, как первый протест против него. Ценны, *исторически* ценны в утопическом социализме именно его *критические* элементы, затрагивавшие все основания существующего общества, и именно за эти элементы главным образом утопистов и считают во многих отношениях революционерами, несмотря на всю реакционность их стремления возвыситься над борьбою классов, их фантастически отрицательное отношение к этой борьбе.

Сила отрицания в «Дневнике писателя» последних лет подчас изумительна по своей гневности и беспощадности. Достоевский мечтает, как истый толстовец, о достижении гармонии на земле путем любви, смиренного отказа ноздревых, Чичиковых и коробочек от своих привилегий, стоит им только стать «настоящими христианами» (XII, 405), а сам классовую борьбу разжигает в каждой строчке своей как только заговорит об угнетенных в прошлом и настоящем на Западе и в России: о крестьянском ли бесправии, об обездоленном западном пролетариате, о детях, рождающихся на мостовой, и изнурительном труде их на фабриках и заводах, особенно же зло о классе дворян, прокучивающих за границей с французскими шансонетками трудовые мужицкие гроши, и о жестокой силе капитала, заграничного и отечественного, вторгшегося и в деревню и ее разоряющего.

Скачет на лихой курьерской тройке фельдъегерь в мундирчике, в большой треугольной шляпе с белыми, желтыми и зелеными перьями — высокий, плотный и сильный детина, пьяный, с багровым лицом. Он бьет ямщика здоровенным правым кулаком по затылку, бьет «ровно», бьет «безо всякой вины», подымает и опускает кулак, снова и снова ударяет по затылку; «шея-то потом с месяц болит». А ямщик, как бы «выбитый из ума», ответно каждому удару по затылку, тоже бьет непрерывно, каждую секунду кнутом по лошадям, и лошади несутся как угорелые. Вырезать бы «эту курьерскую тропку на печати общества, как эмблему и указание», как «нечто чрезвычайно наглядно выставлявшее связь причины с ее последствием. Тут каждый удар по скоту <...> сам собою выскакивал из каждого удара по человеку». Воротится парень домой и в тот же день непре-

менно «прибьет молодую жену»: «хоть с тебя сорву» (XI, 169—170). Фельдъегерь — символ целого дворянского класса, всего самодержавного бюрократического строя. «Фалдочки его мундира, шляпа с пером, его офицерский чин, его вычищенные петербургские сапоги ему были дороже душевно и духовно не только русского мужика, но, может быть, и всей России <...> в которой он <...> ничего не нашел примечательного и достойного чего-нибудь иного, кроме как его кулака или пинка вычищенным его сапогом. Ему вся Россия представлялась лишь в его начальстве, а все, что кроме начальства, почти недостойно было существовать» (XII, 398). Так было в дореформенной России, и, в сущности, то же самое осталось и после реформ. Изменился разве мундир и название чина. Дети фельдъегерей, может быть, сделались даже профессорами; но остались теми же праздными белоручками, живущими «от народа отдельной кучкой на всем на готовом, т. е. на мужичьем труде и на европейском просвещении, тоже им даром доставшемся» (XII, 399).

Это «классовое происхождение» определенной части русской дворянской интеллигенции, как детей и внуков Собакевичей, Сквозник-Дмухановских, Держиморд, Тяпкиных-Ляпкиных, страшно презиравших народ, говоривших с ним как с собаками, отрицавших в нем даже душу, «кроме разве ревизской», Достоевский подчеркивает усиленно во многих местах «Дневника». В этом смысле и вся культура русская последних двух веков, послепетровская, объясняется им как культура «праздных белоручек», живших на счет мужика, на них работавшего, их питавшего и ими же угнетенного. И каких бы ни были взглядов эти «белоручки», хоть бы и самых радикальных, до того что «на баррикады в чужие страны бежать приходилось», — крепостниками, барами оставались они во всю жизнь. По всей вероятности, над Герценом, Бакуниным, кн. П. В. Долгоруковым и т. п. издевается Достоевский так зло, когда задает русским «скитальцам», «ненавидевшим крепостное право», такие ехидные вопросы: «Если уж до того их одолевала гражданская скорбь, что <...> приходилось бежать, <...> кто мешал им просто-запросто освободить хоть своих крестьян с землей и снять таким образом гражданскую скорбь, по крайней мере, хотя с своей-то личной ответ-

ственности?» «То-то вот и есть, что «в местечке Париже-с» все-таки надобны деньги <...> так вот крепостные-то и присылали оброк. Делали и еще проще: закладывали, продавали или обменивали <...> крестьян и, осуществив денежки, уезжали в Париж способствовать изданию французских радикальных газет и журналов для спасения уже всего человечества» (XII, 401).

Классовая ненависть к «средне-высшему кругу» порою подсказывала Достоевскому слова, изумительные по своей силе. В «Вестнике Европы» за первые месяцы 1880 года печаталось «Замечательное десятилетие» П. В. Анненкова. Там в одном месте рассказывается такой факт. Семьи Герцена, Грановского и Кетчер проводили лето 1845 года в подмосковном селе Соколове. Приезд гостей к дачникам был невероятно громадный, Обеды устраивались на лугу перед домом почти «колоссальные». В день приезда туда Анненкова все общество собралось на прогулку в поле, окружавшее Соколове. Крестьяне и крестьянки убирали поле в костюмах почти примитивных, что дало повод кому-то из гулявших сказать: «Одна только русская женщина из всех женщин ни перед кем не стыдится <...> Одна <...> перед которой никто и ни за что не стыдится». Вот она, встреча «самых сильнейших русских тогдашних либеральных и мировых умов с русской бабой, — начинает Достоевский свою интерпретацию. — <...> Летом, видите ли, именно в сорок пятом году, на прекрасную подмосковную дачу, где давались «колоссальные обеды» <...> съехалось раз множество гостей: гуманнейшие профессора <разумеется, конечно, Грановский, Кавелин, может быть, были и Редкий и Кудрявцев>, удивительнейшие любители и знатоки изящных искусств и кой-чего прочего, славнейшие демократы, а впоследствии знатные политические деятели уже мирового даже значения <конечно, Герцен>, критики <Анненков>, писатели, прелестнейшие по развитию дамы <жены Герцена и Грановского>, И вдруг вся компания, вероятно после обеда с шампанским, с кулебяками и с птичьим молоком (с чего же нибудь да названы же обеды «колоссальными»), направилась погулять в поле. В глуши, во ржи, встречаются жницу. Летняя страда известна: встают мужики и бабы в четыре часа и идут хлеб убирать, работают до ночи, Жать очень трудно, все двенадцать часов нагнувшись,

солнце жжет. Жница, как заберется обыкновенно в рожь, то ее и не видно. И вот тут-то, во ржи, и находит наша компания жницу, — представьте себе, в «примитивном костюме» (в рубашке?!). Это ужасно! Мировое, гуманное чувство возбуждено, тотчас раздался оскорбленный голос: «Одна только русская женщина из всех женщин ни перед кем не стыдится!» Ну, разумеется, тотчас и вывод: «Одна русская женщина из всех такая, перед которой никто и ни за что не стыдится» (т. е. так и не должно стыдиться, что ли?). Завязался спор <...> И вот такие-то мнения и решения могли раздаваться в толпе скитальцев-помещиков, упившихся шампанским, наглотававшихся устриц, — а на чьи деньги? Да ведь на ее же работу! Ведь на вас же она, мировые страдальцы, работает, ведь на ее же труд вы наелись. Что во ржи, где ее не видно, мучимая солнцем и потом, сняла паневу и осталась в одной рубашке — так она и бесстыдна, так уж и оскорбила ваше стыдливое чувство: «из всех, дескать, женщин всех бесстыднее», — ах вы, целомудренники! А «парижские-то увеселения» ваши, а резвосты в «местечке Париже-с», а канканчик в Баль-Мабиле, от которого русские люди таяли, даже когда только рассказывали о нем, а миленькая песенка: «Ma commère, quand je danse, comment va mon cotillon?»,¹ с грациозным приподнятием юбочки, и с подергиванием задком, — это наших русских целомудренников не возмущает, напротив прельщает? «Помилуйте, да ведь это у них так грациозно, этот канканчик, эти подергивания <...> а ведь тут что, тут баба, русская баба, обрубок, колода!» Нет-с, тут уж даже не убеждение в мерзости нашего мужика и народа, тут уж в чувство перешло, тут уж личное чувство гадливости к мужику сказалось, — о, конечно, невольное, почти бессознательное, совсем даже не замеченное с их стороны» (XII, 402—403).

Пусть неумный, неосторожный, брезгливо-барский рассказ Анненкова, задачей которого было воспеть хвалу людям «замечательного десятилетия», использован Достоевским в борьбе не только с эпигонами, а с основателями западничества и в поддержку своей «почвы», — гневные его слова бьют гораздо дальше намеченной цели, в одинаковой степени вскрывают характер от-

¹ «Кумушка, когда я танцую, как выглядит моя юбочка?» (франц.).

ношения к мужику всей верхушки дворянства, даже лучшей части помещиков, интеллигенции, каковы бы ни были ее убеждения — «русские или европейские». Цитата взята из «Дневника писателя» за август 1880 года, когда еще не была напечатана почти треть «Братьев Карамазовых». Это все тот же последний поворотный период, который так и остался незавершенным.

В «Дневнике писателя» за 1876 год имеется полемика с Авсеенко, сотрудником уже не либерального какого-нибудь органа, а катковского «Русского вестника» (XI, 249—253). Авсеенко поместил в «Русском вестнике» статью о народных началах и высказал в ней мысль, что для постижения ценности этих самых начал нужна опять же довольно высокая степень культуры; люди малокультурные народными началами не проникаются и народа не уважают. Мысль сама по себе, может быть, не такая уже еретическая, с точки зрения даже славянофила, и украшена она у Авсеенко обилием фраз в выдержанном православно-катковском духе. Но от слуха Достоевского не ускользнул общий тон статьи, в которой прозвучали ясные ноты презрения к мужику. И начинается: кто такой Авсеенко? И почему нужно о нем говорить? Потому что это своего рода тип, имеющий некоторое общее значение. Определить его нетрудно: это писатель дворянский, писатель лакействующий, писатель, потерявшийся «на обожании высшего света». «Он пал ниц и обожает перчатки, кареты, духи, помаду, шелковые платья (особенно тот момент, когда дама садится в кресло, а платье зашумит около ее ног и стана) и, наконец, лакеев, встречающих барыню, когда она возвращается из итальянской оперы. Он пишет обо всем этом беспрерывно, благоговейно, молебнo и молитвенно, одним словом, совершает как будто какое-то даже богослужение». И в том-то и дело, что Авсеенко не один; таких чрезвычайное множество и в литературе и в жизни, одержимых этой манией «к красотам высшего света с его устрицами и сторублевыми арбузами на балах», — крепостников по убеждению, плюющих «на народ со всею откровенностью и с видом самого полного культурного права». Вот они-то и сыплют на народ, на мужика удивительнейшие обвинения: «связанного двести лет сряду дразнят пассивностью, бедного, с которого драли

оброк, обвиняют в нечистоплотности <...> битого палками — в грубости нравов».

Что Авсеенко не исключение, а тип, варьирующийся в разных видах, что отражает он психологию классовую и ею объясняется, — приводится как иллюстрация разговор с одним «сухоньким человечком», лет пятидесяти, «с красным и как бы несколько распухшим носом и <...> с больными ногами». Был он, этот человек, «чрезвычайно порядочного типа — в манерах, в разговоре, в суждениях и говорил даже очень толково <...> Про тяжелое и неопределенное положение дворянства, про удивительную дезорганизацию в хозяйстве по всей России, говорил почти без злобы, но с строгим взглядом на дело», — словом, самый средний, самый обыкновенный помещик с несколькими явными признаками начавшегося уже вырождения. И вот, «как-то к слову» он, помещик этот, вдруг изрекает, «что считает себя и в физическом отношении несравненно выше мужика, и что это уж конечно бесспорно». Достоевский удивлен, переспрашивает его: может быть, он хотел сказать, как «тип нравственно развитого и образованного человека»? Ответ был определенный: «Нет, совсем нет, совсем не одна нравственная, а прямо физическая природа моя выше мужицкой; я *телом* выше и лучше мужика, и это произошло оттого, что в течение множества поколений мы перевоспитали себя в высший тип». Вот как проявляется эта классовая психология: бессознательно, в плоть и кровь вошло; «этот слабый человек, с золотушным красным носом и с больными ногами (в подагре, может быть — дворянская болезнь) совершенно добросовестно считал себя физически, *телом*, выше и прекраснее мужика!» И уж конечно «этот беззлобный человек, даже и в беззлобии своем» сделает, когда ему нужно будет, «страшную несправедливость перед народом», сделает «совершенно невинно, спокойно и добросовестно», именно по убеждению, что так надо для торжества высшей породы (XII, 251—253. Курсив Достоевского).

Все время кажется, когда читаешь подобные места, вот сделает еще один шаг и скажет уж всенародно: помещичий класс — враг непримиримый, и к победе над ним можно прийти только путем борьбы. В главке четвертой первой главы апрельского выпуска «Дневника писателя» за 1876 год воспроизводится одно место из

«Дворянского гнезда» Тургенева (XI, 261). Отец Лаврецкого, «окультурившийся» в Европе «дворянчик», возвратившись к отцу в поместье, «сманил дворовую невинную девушку и обесчестил». Отец стал его укорять за это, а тот ему: «А что ж, я и женюсь». И женился, должно быть, «во имя идей Руссо, носившихся тогда в воздухе, а пуще всего из блажи, из шатости понятий, воли и чувств». Жену свою потом «не уважал, забросил, измучил в разлуке и третировал ее с глубочайшим презрением, дожил до старости и умер в полном цинизме, злобным, мелким, дрянным старичишкой, ругаясь в последнюю минуту и крича сестре: «Глашка, Глашка, дура, бульонцу, бульонцу!» «Какая прелесть этот рассказ у Тургенева, — добавляет Достоевский, — и какая правда!» Злобный, мелкий, дрянной старичишка, умерший в полном цинизме, — развернуть эти черты в иной сюжетной ситуации, и получится Федор Павлович Карамазов, величайший в русской литературе символ разложившегося дворянства, к концу дней своей истории дошедшего до последней степени падения.

«Культурный слой русского общества» для Достоевского полностью отождествляется с классом помещиков и бюрократией; вернее даже так: Достоевский ясно сознает, что бюрократия, чиновники — это те же помещики, в огромном большинстве и по своему происхождению, еще более — по той роли, которую они выполняют в государстве: защита интересов господствующего класса. И им резко противопоставлен народ, который почти всегда сливается у Достоевского с классом крестьян. Еще причисляет иногда к народу какую-то часть интеллигенции, но тогда из контекста ясно видно, что это молодежь, «жаждущая подвигов», желающая отдать все свои силы народу; исторически это та же часть передовой молодежи, которая уже несколько лет как начала свое хождение в народ. «Честность, искренность нашего общества, — читаем мы, — не только не подвержены сомнению, но даже бьют в глаза. Вглядитесь и увидите, что у нас прежде всего вера в идею, в идеал, а личные, земные блага лишь потом <...> В этом смысле наше общество (разумеется, все та же молодежь) сходно с народом, тоже ценящим свою веру и свой идеал выше всего мирского и текущего, и в этом даже его главный пункт соединения с народом» (XI, 182).

В шестой части «Анны Карениной» Толстого имеется сцена, в которой Левин и Стива Облонский ведут разговор на тему о социальной справедливости. Облонский, с точки зрения Достоевского, являющийся «многочисленнейшим владычествующим типом», характеризуется им так: «эгоист, тонкий эпикуреец», малообразованный, «но любит изящное, искусства», любит «легких женщин, разряда, конечно, приличного». С крестьянской реформы он сразу понял, в чем дело: «он сосчитал и сообразил, что у него все-таки еще что-нибудь да остается, а стало быть, меняться незачем». Раньше, до реформы, «конечно, для уплаты карточного долга или любовнице, ему случалось отдавать людей в солдаты; но такие воспоминания никогда не смущали его, да и забыл он их вовсе». Теперь же это, по крайней мере в потенции, «червонный валет»; не будь у него связей и если бы состояние его окончательно рушилось и нельзя бы было получать даром жалованье, то он и в самом деле стал бы червонным валетом. Из *людей* для него существуют лишь «человек, в случае, затем чиновник с известного чина, а затем богач. Железнодорожник и банкир стали силою, и он немедленно с ними затеял сношения я дружбу». Многочисленнейший вчера еще и владычествующий дворянский тип соединился с банкиром и железнодорожником, ему подчинившись, как силе, которая завтра же станет единственно господствующей, и сегодня этот тип уже перед ней заискивает. А Левин противостоит Облонскому как один тоже из множества русских людей — не определенного какого-нибудь класса, а некоей большой группы надклассовой, «нового корня русских людей, которым *нужна правда*, одна правда без условной лжи, и которые, чтобы достигнуть этой правды, отдадут все решительно» (XII, 58). Группы, по Достоевскому, именно надклассовой: «тут и аристократы и пролетарии, и духовные и неверующие, и богачи и бедные, и ученые и неучи, и старики и девочки, и славянофилы и западники», у них у всех, входящих в эту группу, «стремление к честности и правде неколебимое и нерушимое, и за слово истины всякий из них отдаст жизнь свою и все свои преимущества, говорю — обратится в Власа». Это тоже голос эпохи: передовая интеллигенция семидесятых годов переживала тогда иллюзию своей «надклассовости», представ-

ляя собой наиболее яркую социальную группу, политически мыслящую и политически действующую, при общем молчании крестьянских масс, при самодовольстве крепнущей буржуазии, с которой помещичий класс уже давно вступил в компромисс.

Так, казалось бы, намечаются возможности какого-то соприкосновения с народничеством хотя бы относительно роли в будущей России народа и интеллигенции, ищущей правды и готовой отдать все решительно, чтобы достигнуть этой правды, с одной стороны; дворянства, чиновничества и уже наметившейся силы, особенно грозной, силы быстро растущего капитала, — с другой. Об этой последней силе, несущей народу, многомиллионным массам, неисчислимые беды, нравственные и материальные, Достоевский говорит в «Дневнике писателя» очень часто, и каждый раз с одинаковым чувством ненависти и ужаса перед грядущим. В том же самом первом выпуске «Дневника» за 1876 год, где впервые дан образ фельдъегерской тройки как символа патриархального помещичьего строя до 1861 года, рядом с этим символом и в сопоставлении с ним уже выдвинута тема о «как бы носящемся повсеместно дурмане, каком-то зуде разврата». «В народе началось какое-то неслыханное извращение идей с повсеместным поклонением <...> перед деньгами, перед властью золотого мешка. В народ как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь все, включает в себе всякую силу, а что все, о чем говорили ему и чему учили его доселе отцы, — все вздор». Он видит кругом могущество денег. Финансист, железнодорожник во всероссийском масштабе, кулак и мироед в деревне — все кричит диким голосом: «прочь с дороги, я иду». «Началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство совершаются хладнокровно». Мироед разлагает деревню, его главное орудие — «зелено-вино», от которого человек скотинится и звереет. Вот загорелось село, и в селе церковь, «вышел целовальник и крикнул народу, что если бросят отстаивать церковь, а отстоят кабак, то выкатит народу бочку. Церковь сгорела, а кабак отстояли». Или такой факт: «В Петербурге, две-три недели тому, молоденький паренек, извозчик, вряд ли даже совершеннолетний, вез ночью старика и старуху и, заметив, что старик без сознания пьян, вынул перо-

чинный ножичек и стал резать старуху», и таких фактов тысячи. Все больше и больше затягивает людей, как в машину, в современный зуд разврата наглядная сила капитала.

Идет коренная ломка всего существующего строя. Не так давно «лучшими людьми» — лучшими не по нравственным качествам, не по заслугам, а «по государеву указу», так сказать, «условными» лучшими людьми — были дворяне. «Каких-нибудь тридцать лет назад» всем должен был казаться естественным такой факт, когда одна петербургская дама, из верхнеклассного круга, «всемирно согнала в одном концерте одну десятиmillionную купчиху с кресел и заняла ее место, да еще выбрала ее публично» (XI, 435). Залучить к себе на обед генерала богатый купец считал тогда за величайшую честь. Но вот «уничтожилось крепостное право, и произошла глубокая перемена во всем». «От прежних «лучших людей» как бы удалилось покровительство авторитета, как бы уничтожилась их официальность <...> прежняя *кастовая* форма «лучших людей» если и не разрушилась окончательно, то, по крайней мере, сильно подалась и раздвинулась». И на место прежних «условных» лучших людей явилась «новая условность, которая почти вдруг получила у нас страшное значение», — это «золотой мешок».

Был, конечно, в силе этот «золотой мешок» и прежде, в виде прежнего купца-миллионера, миллионера-фабриканта, но «никогда еще не возносился он на такое место и с таким значением, как в последнее наше время». И прежде всего страшно раздвинулись его рамки. «С ним вдруг роднится *европейский* спекулянт <...> и биржевой игрок. Современному купцу уже не надо залучать к себе на обед «особу» <...> он уже роднится и братается с особой на бирже, в акционерном собрании, в устроенном вместе с особой банке». Купец теперь уже сам лицо, сам особа. Он видит себя «решительно на одном из самых высших мест в обществе, на том самом, которое во всей Европе давно уже, и официально и искренно, отведено миллиону». Так убеждается он теперь все более и более, что «он-то и есть теперь «лучший» человек на земле взамен даже всех бывших прежде него»; убеждается сам, от самого чистого сердца, и точно так же начинают думать и другие, и уже очень мно-

гие: теперь мешок считается за все лучшее уже у страшного большинства; даже сама «прежняя иерархия. без всякого даже принуждения со стороны <...> готова отодвинуться на второй план пред столь любезным и прекрасным новым «условием» лучшего человека, «столь долго и столь ошибочно не входившего в настоящие права свои». Теперешний биржевик нанимает для услуг своих литераторов, около него увивается адвокат». И растет и ширится сила «золотого мешка»; захвачено и стомиллионное крестьянство; становится воистину страшно особенно за него, за народ; ибо что же он может противопоставить «золотому мешку» — «свою нужду, свои лохмотья, свои подати и неурожаи, свои пороки, сивуху, порку? <...> Не пройдет поколения, как закрепостится ему весь хуже прежнего. И не только силой подчинится ему, но и нравственно, всей своей волей» (XI, 433—441).

«Европейское пролетарство и буржуазия» — так в ужасе перед совершающимся, договаривает несколько позднее Достоевский уже последнее, трезвое слово о том, что сейчас происходит в России. Не то, что грозит только опасность, она уже есть в «переворотившемся» после освобождения крестьян русском обществе. Так пишет он в письме от 21 июля 1878 года к Л. В. Григорьеву: «Протекло время с освобождения крестьян — и что же: безобразие волостных управлений и нравов, водка безбрежная, начинающийся пауперизм и кулачество, т. е. европейское пролетарство и буржуазия и проч. и проч. Кажется, ведь так?»¹

Спасло на время, по убеждению Достоевского, от этого страшного призрака начавшееся в 1876 году добровольческое движение — в Сербию за замученных и угнетенных братьев. Вот кто они, эти «лучшие люди», в глазах народа, и какие его идеалы! Значит, народ еще не подчинился «золотому мешку», невзирая на все его соблазны. Можно было утешаться такой иллюзией, пока молодежь — главным образом учащиеся — действительно шла на жертву ради национального освобождения балканских славян. Через год иллюзия эта стала уже рассеиваться. В последней части «Анны Карениной» устами Левина Толстой громко выразил свое неверие

¹ Письма, т. IV, стр. 34,

в какую-то любовь и сочувствие русского народа к каким-то далеким, ему неведомым славянам. Достоевского особенно задело то, что заговорил об этом вслух именно Толстой. Он отвечает ему страстным укором, объявляет Левина «вне народа», «мудрящим» барином, — дело от этого не изменилось; власть капитала продолжала усиливаться, все более и более расшатывая прежние народные устои. Куда же идет народ? И кто, и что его спасет от «неисчислимых, особенно острых бедствий, свойственных эпохам «ломки»?¹ Так стоял вопрос перед всей лучшей частью тогдашней русской радикальной интеллигенции, так стоял этот вопрос, во всей своей остроте, и перед Достоевским. Интеллигенция пошла в народ — звать его на восстание, на революцию. Достоевский же, у которого был свой опыт петрашевца, стоивший ему так дорого, боялся революции. Верил он, или, вернее, хотел верить, так же как и народники, в мирскую силу, в общину, в необыкновенные нравственные качества и необыкновенные идеалы стомиллионного крестьянства. И отождествил эти идеалы с христианством, с русской православной церковью. Фантазировать, строить утопии, оторваться от действительности — так уж до конца; спастись можно только *чудом*, то есть на почве только религиозной, на почве веры, как бы ей ни противоречили факты реальной действительности. «Я вдруг догадался, или лучше вдруг узнал, что я мало того, что не верю, но <...> и вполне *не желаю* верить, — так что никакие доказательства меня уже не поколеблют более *никогда*» (XI, 273). Сказано это было по поводу спиритического поветрия в Москве и Петербурге в 1876 году. Но,—прибавляет Достоевский,— «тут не одно только личное <...> в этом наблюдении моем есть и нечто общее <...> Какой-то особенный закон человеческой природы, общий всем и касающийся именно веры и неверия вообще». Неверие может найти и развить в самом себе огромную силу «совершенно помимо вашей воли, хотя и согласно с вашим тайным желанием... Равно, вероятно, и вера...»

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 31.

Глава IV. Социальная катастрофа

Желал Достоевский верить вполне в Христа, в православие, как в единственный путь спасения не только народа русского, но и, как сейчас увидим, всего человечества, и вера эта нашла и развила в самой себе огромную силу, помимо его воли, но согласно с его желанием. В такой же степени, вероятно, он не желал верить в революцию, выражаясь его же языком, в «правду умного духа», в возможность устройства человеческого общества на земле без бога. И все-таки закон этот человеческой природы: если человек желает верить или не верить, то уж никакие доказательства его не поколеблют более никогда, — оказался вовсе не таким всеобщим. Доказательства, факты окружающей жизни его самого все же колебали. В этот последний период он часто находился между верой и безверием как относительно-«спасительницы» — православной церкви, так и революции — «безбожного» социализма. Пусть в «Дневнике писателя» и в «Братьях Карамазовых» нет этих прямых высказываний, которые свидетельствовали бы о его религиозных сомнениях. Наоборот, твердость в вере христианской утверждается как будто неустанно; все же эти колебания несомненно были у него, и пути человеческой истории рисовались ему в обоих диаметрально противоположных аспектах, с одинаковой вероятностью — это уж во всяком случае. Скорее же всего в этот период путь революционный должен был — порою по крайней мере — казаться ему более вероятным. «Через большое *горнило сомнений* моя *осанна* прошла», — сказано им в «Записной книжке» по поводу «Братьев Карамазовых».¹ «Горнило сомнений» оказалось гораздо ярче и гораздо убедительнее «осанны» не только в художественном отношении, но и со стороны идеологической. «Нам от Европы никак нельзя отказаться». «Европа нам *почти* так же *всем* дорога, как Россия», «я первый страстно исповедую это и всегда исповедовал» (XII, 24) — со времени первого и страстного принятия

¹ Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, т. I, отдел II. СПб., 1883. стр. 375.

социалистического учения Белинского. И вот судьбы Европы — предмет постоянных его размышлений, и как бы ни были различны пути исторические Востока и Запада, в конце, утверждает Достоевским, они должны слиться и привести к единому общему решению. «Стать настоящим русским, стать вполне русским <...> и значит только <...> стать братом всех людей, *всечеловеком*» (XII, 389. Курсив Достоевского). И мыслящей части русского народа необходимо именно «всемирное счастье <...> дешевле она не примирится» (XII, 378). Высказанная впервые в конце 1860 года, идея эта осталась любимой его мечтой до конца жизни; он высказывает ее с одинаковым пафосом в целом ряде журнальных статей, в «Дневнике писателя» за все годы, с особенной силой и яркостью в Пушкинской речи.

И точно Достоевский самого себя судит и во всяком случае «партию» свою, то есть славянофильскую, когда говорит: нелепо было бы думать, что реформа «была <...> только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки». Петр, быть может, первоначально и начал производить ее только в этом смысле, «то есть в смысле ближайше утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии им своей идеи, Петр несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его в его деле к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм».

Если до сих пор старые славянофилы и вместе с ними и сам Достоевский твердили, что народ «отшатнулся от реформы», что реформа была великая историческая ошибка, нарушившая естественный ход национального развития, то здесь Достоевскому кажется обратное: это был акт самый национальный, в реформе Петра народ, «несомненно уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую несравненно более высшую цель <...> ощутив эту цель <...> непосредственно и вполне жизненно» (XII, 389), и немедленно же принял реформу как свою.

Народ принял европейскую культуру как историческую необходимость, как этап на пути своей истории; но европейская культура, само собою разумеется, есть только форма промежуточная; она должна быть преодолена, принесена в жертву более высокой форме, ко-

торой предназначено воплотить, в себе идею всеобъемлющую, синтетическую по отношению к частным идеям. Оттого Достоевский и объявляет, что «все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое» (XII, 389). Со стороны славянофилов было, пожалуй, нечто даже большее, чем одно недоразумение, — скорее грех, и великий грех, в самой основе их концепции, непростительная слепота в прозрении грядущих судеб человечества. В своем стремлении к национальному самоутверждению они недостаточно оценили эту основную черту русского народа, его универсализм, исказили лицо истории согласно узкой своей схеме. Там, где действовал глубокий и правильный инстинкт, определенное предчувствие тех великих задач, которые предстоит разрешать русскому народу, они увидели одну лишь измену. Ибо не только западники, ничтожное, как славянофилам казалось, число сторонников Петра, а «все мы» — весь народ, по крайней мере в наиболее сознательной своей части, — сразу, «с полной любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия» (XII, 389).

Так подходим мы к основной теме Пушкинской речи Достоевского, к такому «колоссальному явлению», как творчество Пушкина, на котором он, Достоевский, главным образом и «обосновывает свою фантазию». Те самые черты, которые проявились в начале реформы как бы пассивно, в *характере* лишь восприятия нашего чужих идей и гениев, спустя только век сказались уже великой активной творческой силой, знамением, действительно уже предвещающим. те великие цели, которые предстоит осуществить русскому народу. Творчество Пушкина в своем органическом росте, начиная с круга как будто узкого, с «русского скитальца», через круг более широкий, через глубочайшее проникновение в сущность русского народного духа, — дало в третьей и высшей своей стадии «явление невиданное и неслыханное», обнаружило такого гения, какого еще никогда не было в мире, единственного в мировой литературе

художника, обладавшего свойством перевоплощения своего духа в дух чужих народов, «перевоплощения почти совершенного, а потому и чудесного» (XII, 388). Так ставится ясно и определенно в теснейшую связь с Пушкиным Петр как проявление одной и той же сущности: Петр как задание и Пушкин как ответ на это задание — оба они вскрывают основу русского духа, смысл тех путей, по которым шла история русского народа до сих пор, и оба же «способствуют освещению темной дороги нашей новым направляющим светом» (XII, 377).

Реформы Петра, «наше прошлое», «наши даровитые люди», художественный гений Пушкина — вот тот основной материал в чисто психологическом освещении, которым Достоевский обосновывает, по крайней мере здесь, в Пушкинской речи, свою философию истории. Выдвигается главное доказательство: «В искусстве, по крайней мере в художественном творчестве, он <Пушкин> проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание» (XII, 390).

Когда Достоевский высказал эту идею о «всемирности» стремления русского духа наиболее ясно и со всей полнотой, очищенную от всего случайного, злободневного, что порой в запальчивости журнальной полемики искажало ее истинный смысл, то воспринята она была как правда не только старыми западниками, как Тургенев, но и мучеником-народником Глебом Успенским и, что еще ценнее, той массой «искавшей жертвы и подвига» революционной молодежи, которая тогда, «непонятая и покинутая отцами своими и старшими братьями», жаждала — «так горестно и так страстно» — оправдания себе и своим действиям. Это о ней, о революционной молодежи, и за нее говорит Успенский, что он услышал в Пушкинской речи Достоевского громко и горячо сказанным то слово о задаче русского человека, которое уже давно надо было сказать: «Ваше неумение успокоиться в личном счастье, ваше горе и тоска о несчастьи других, и, следовательно, ваша работа, как бы несовершенна она ни была, на пользу всеобщего благополучия есть predeterminedная всей вашей природой задача, задача, лежащая в сокровеннейших свойствах вашей национально-

сти».¹ Ибо «ни одно поколение русских людей, —говорит выше Успенский в полном согласии с мыслью Достоевского, — никогда, во все продолжение тысячелетней русской жизни, не находилось в таком трудном, мучительном, безвыходном состоянии, как то, которое должно было выполнить свою исконную миссию <...> в последние два, три десятка лет».²

Наша задача, наша историческая миссия: «внести примирение в европейские противоречия уже окончательное, указать исход европейской тоске <...> изречь окончательно слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен» (XII, 389—390). В широких захватах его мысли, всегда работавшей крайне возбужденно, нередко в ущерб ясности, вопрос о социальном положении европейских стран занимал исключительное место. В эпоху торжествующего роста русского капитализма общее состояние мира Достоевский ощущал неизменно как катастрофическое и из двух возможных исходов всегда принимал наиболее «трагический». В художественных произведениях основной темой его является не быт, не установленный уклад, а *разрушение быта*: падения и срывы, состояние ущербности по меньшей мере. Точно так же, когда мысль его останавливается на социальных проблемах в общечеловеческом масштабе, то под видимой устойчивостью он ощущает подземные вулканические силы, и катастрофа общеевропейская для него не только возможна или допустима, — он переживает ее совершенно, реально, чувствует ее неизбежность, взволнованно, нетерпеливо ожидает этой катастрофы.

«Нынешний век кончится в Старой Европе чем-нибудь колоссальным, т. е. может быть чем-нибудь хотя и не буквально похожим на то, чем кончилось восемнадцатое столетие, но все же настолько же колоссальным — стихийным и страшным, и тоже с изменением лика мира сего» (XII, 153).

Так твердил он еще в шестидесятых годах — в «Зимних заметках о летних впечатлениях», когда «гниение буржуазного Запада» конкретизировалось для него

¹ Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений, т. 6. Изд-во Академии наук СССР, 1953, стр. 426.

² Там же, стр. 425

в герценовском покое мещанства,¹ от которого «униженные и обойденные» во всяком случае свободны, хотя бы потому, что это сила разрушающая. Воображение его приковала к себе эпоха Великой французской революции в момент *крушения* быта и рождения нового мира — кровавые и героические призраки и события у самой грани перелома. Они рисуются ему еще более роковыми, когда он думает о ближайшем будущем Европы. Об этой неминуемой и близкой европейской катастрофе он говорит смело и уверенно.

Именно в пределах этого столетия, девятнадцатого, был уверен Достоевский, история буржуазного мира и завершит свой полный круг. Его историко-социальное обоснование этой уверенности ясно: Великая французская революция не удалась — новая формула всемирного единения оказалась недостаточной, *новая идея* — незавершенной. Ибо формула, провозглашенная Французской революцией, оказалась для человечества *слишком узкой*; вне ее очутились целых три четверти человечества «униженных и обойденных», — разумеется, конечно, пролетариат и разоренная мелкая буржуазия, а. также крестьянство; они-то и постараются теперь исправить эту формулу, и, конечно, теми же самыми мерами, какими человечество действовало в 1789 году. И пусть Французская революция не удалась и мучительно было разочарование, постигшее после нее Европу, — человечество еще раз попробует свои силы в таком же роде: ведь другого выхода у него нет и уже быть не может.

Славянофильская концепция, конечно, на страже: идея социального благополучия, воспринятая как последний смысл и цель истории, есть идея ущербная, в себе самой носящая свою гибель. И здесь-то и начинается будущая роль русского народа, поскольку он один призван осуществить в своей истории единственно истинную, наиболее полную идею, на основе совершенно иной, чем Запад.

Точно отдаленно отражая ход мыслей Лаврова и Михайловского, приспособляя их воззрения к своей колеблющейся, постоянно перестраивающейся концепции,

¹ А. С. Долинин. Достоевский и Герцен. — Сб. «Достоевский», Пб., «Мысль», 1922, стр. 309—323.

Достоевский проводит здесь резкую грань между объективным ходом истории — он называет это просто *историей* — и субъективными устремлениями свободных человеческих волей, руководящихся внутренними велениями, исходящими из глубин интуиции. Между этими двумя факторами не ищет он согласованности, — ясно сквозит мысль, что на долю Европы выпала *история*, на долю России — *свободно творящая воля*. Отмирает частная идея и вместе с нею — соответствующие формы жизни, падая как бы в объятия косности, которая приобретает над ними свою власть. Это и дает Достоевскому право рисовать иногда пути исторические для западных народов как пути непреложные, развертывающиеся по железным законам природы. Пути же русского народа — как дальнейшую и высшую стадию внутренней эволюции общей идеи, являющейся по отношению к миру силой всегда активной, свободно формирующей.

Но эта антитеза вовсе не является в системе его идей истиной завершающей. Иногда эта антитеза забывается; сосредоточивается мысль на судьбах одной Европы, и тогда воскресают старые идеалы: тогда грядущая социальная революция уже не кажется только катастрофой, только вихрем разрушающим, моментом окончательного распада органического целого; борьба за социализм приобретает свой высший смысл, переносится из «плоскости звериной» в плоскость «человеческую», санкционируется как стремление к *нравственной правде*, как продукт свободной творческой воли тех исключительных, высших умов, «которые по вековым законам природы *обречены на вечное мировое беспокойство*, на искание новых формул идеала и нового слова, необходимых для развития человеческого организма» (XII, 158). *Обреченные на вечное, да еще мировое беспокойство*, на искание «новых формул идеала и новых слов» — в устах Достоевского это высшая оценка. Да и черты эти почти все «русские», те самые, которые составляют исключительную особенность русского духа, универсального, всечеловеческого, «всеобъединяющего, синтетического по преимуществу».

Версиров, как мы знаем, одержимый русской тоской, великой, особенной, не только за Россию, а за Европу — вернее, преимущественно за Европу, — и пред-

ставляет себе ясно тот период — когда «бой уже кончится» и великая любовь обратится у всех па природу, на мир, на людей, на всякую былинку.

Но до наступления этой любви бой все же должен быть, борьба неминуема и вместе с нею проклятия, комки грязи и свистки — словом, вся «сапожность» процесса, которая необходима, ибо «действительность и всегда отзывается сапогом, даже при самом ярком стремлении к идеалу» (8, 517—518). Идеал наступит потом, и он так прекрасен, что вполне оправдывает и по-своему даже осмысливает всю «сапожность» ведущих к нему путей. Будут и должны быть «комки грязи» и «проклятия», к этому ведет весь процесс европейской истории XIX в. — ее главные вершители, *буржуазия*, которая должна понести возмездие за то, что исказила лик человеческий и лик истории еще в самом начале своего господства. Уже ясно определилось то, что происходит в Европе.

Как только буржуазия, окончательно восторжествовав, объявила, что дальше и не надо идти; и некуда идти, что для нее-то «формула» уже осуществилась, так сейчас все те умы, которые по вековым законам природы обречены на вечное мировое беспокойство, и бросились ко всем «униженным и обойденным», ко всем, не получившим доли в новой формуле всечеловеческого -объединения, провозглашенной Французской революцией 1789 года, и провозгласили свое уже новое слово — именно «необходимость всеединения людей уже не в виду распределения равенства и прав жизни для какой-нибудь одной четверти человечества, а, напротив: оставляя остальных лишь сырым материалом и эксплуатируемым средством для счастья этой четверти человечества, а, напротив, всеединения людей на основаниях всеобщего уже равенства, при участии всех и каждого в пользовании благами мира сего, какие бы они там ни оказались» (XII, 158).

И теперь противостоят они непримиримо, оба эти мира: мир отживающий, буржуазный, и мир грядущий, мир «униженных и обойденных», руководимых лучшими беспокойными умами, ищущими новых слов и идеалов. Правда на стороне последних, история за них и с ними, — они последний мост к грядущему счастью, к идеалу всезахватывающей любви.

Однако как бы ни колебалась оценка, даваемая Достоевским социальной борьбе в Европе, в зависимости от того, проносится ли в данный момент перед его воображением один только Запад вне чаемой связи с великой миссией русского народа или в связи с нею, — в основе плана рисуемого будущего все же чаще всего лежит убеждение, что завершающее слово скажет именно народ русский. Если поставить вопрос: может ли это великое слово предупредить катастрофу Европы, предупредить не насилием, конечно, не железом и кровью, а соблазняющим примером осуществленного свободной человеческой волей идеала — той великой общей гармонией, которая будет установлена русским народом уже окончательно, «без боя и без крови, без ненависти и зла», разрешив «всеевропейский роковой вопрос о низшей братии» на самых незыблемых основаниях, на основе истинной любви и братства? Если так поставить вопрос, то одинакового ответа на него у Достоевского мы не находим. Но, кажется, будет вернее, если сказать, что катастрофа европейская представляется ему все же неизбежной; роль русского народа начнется именно после того, как «вся Европа будет залита кровью», когда обнаружится вся несостоятельность и этой последней попытки западного человечества устроиться своими средствами, когда тоска, уже ныне испытываемая Европой, возрастет неизмеримо, станет неимоверно мучительной по своей безысходности. Вот тогда только Запад и обратится к России за окончательным исходом этой своей неразрешимой тоски.

На последнем моменте перед решительной битвой, на тех психологических причинах, которые делают эту катастрофу неминуемой, Достоевский останавливается особенно часто. «Старый порядок вещей», твердит он много раз, без боя места своего не уступит. Он чувствует себя еще достаточно крепким и способен на всякого рода соединения против нового. Но если бы даже и хотел уступить, то катастрофы все равно не миновать, «страшные дела» должны быть, ибо «прошло время уступок». «Нищие <...> не пойдут ни на какое теперь соглашение, даже если б им всё отдавали: они всё будут думать, что их обманывают и обсчитывают. Они хотят расправиться сами» (XI, 228—229).

И еще и ещё раз предрекает он им полную победу.

Эти миллионы несчастных людей со своим лозунгом: «прочь с места, я стану вместо тебя» — «победят несомненно». Против того нового, грядущего, насущного и рокового, против грядущего обновления вселенной новым порядком вещей, против социального, нравственного и коренного переворота во всей западноевропейской жизни — против всего этого, что несут с собой эти «нищие», никому не устоять: ни республике, ни католической церкви, ни всяким другим старым силам Европы. Говорится все это преимущественно о Франции. Как в 1789 году, в ней-то и начнется это страшное потрясение и колоссальная революция, но она несомненно грозит потрясти все царства буржуазии во всем мире, грозит скovyрнуть их прочь и стать на их место.

Слышится Достоевскому явственно веяние черных крыльев приближающегося рока, и Запад уже кажется ему кладбищем, на котором похоронены такие дорогие и близкие нам покойники. Гибнет буржуазная Европа со всеми ее неисчислимыми богатствами. А Россия, эта грядущая примирительница всех европейских противоречий? Минет ли ее капитализм?

Достоевский верит, что минет, он хочет в это верить, как верят и народники, свое единомыслие с которыми он особенно подчеркивает в объяснительном слове к Пушкинской речи, там, где он предсказывает, что после минувшего всеобщего увлечения его речью прежние противники снова восстанут против него и будут с ним спорить и издеваться над его «фантазией» (XII, 372). Этих противников он видит не среди крайних левых, не среди социалистов-народников, а среди эпигонов западничества, среди либералов. С первыми, — заявляет Достоевский, — ему в сущности не о чем спорить. Как бы они ни расходились в вопросах религиозно-нравственного порядка, в вопросах философских, в частности философии истории, — в плоскости реальной действительности, оценки фактов и событий современной европейской жизни у них, в сущности, нет никаких пунктов расхождения. Для него много значит уже одно то, что они тоже верят в *«своеобразное развитие»* России — «своей органической силой», тоже проповедуют, что русский народ, быть может, минет язва капитализма. «С передовыми представителями нашего европеизма», со всеми образованными и искренними русскими людьми-

ми ему уже будет почти не о чем спорить, по крайней мере из основного, из главного, если даже одну половину примут они, то есть «признают хоть самостоятельность и личность русского духа, законность его бытия и человеколюбивое, всеединяющее его стремление» (XII, 377).

Другое дело либералы, эти хилые эпигоны старого, когда-то мощного по своей идейности, по существу верного, но уже давно выродившегося в болтливую «парную оппозицию» западничества. Они все еще продолжают по-рабы лебезить перед Европой; им только и нужно «увенчать наше здание», и тогда уже мы уподобимся «таким совершенным (будто бы) организмам, как народы Европы». Вот они-то и будут смеяться над тем, что России — невежественной и убогой — предстоит сказать самое высшее слово — да кому! Европе, которой «гражданский строй, крепость этого строя, изумительное ее богатство» являются для нас пока лишь отдаленным идеалом.

Достоевский собирает все аргументы свои против них, гневно и раздражительно, саркастически-зло издевается над ними, а в конце полемики выдвигает последний и самый главный свой аргумент: они, слепые, не видят, что «в Европе, в этой Европе, где накоплено столько богатств, все гражданское основание всех европейских наций», — насколько там «все подкопано и, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки веков; а взамен наступит нечто неслыханно новое, ни на что прежнее не похожее. И все богатства, накопленные Европой, не спасут ее от падения, ибо «в один миг исчезнет и богатство»... И дальше уже совсем близко к народникам — если уж в самом деле так необходимо, прежде чем сказать новое слово европейским народам, стать самому народом богатым и развитым в гражданственном отношении, то почему же нужно непременно «рабски скопировать это европейское устройство (которое завтра же в Европе рухнет)? Неужели и тут не дадут <...> русскому организму развиваться национально, своей органической силой, а непременно обезличенно, лакейски подражая Европе?» (XII, 371, 373).

Глава V. Раздвоение Достоевского

Мы собрали, кажется, все те новые элементы идеологического порядка за годы 1876—1880, которые убеждают нас в правильности выставленного нами основного положения: с 1874—1875 годов, с «Подростка», печатавшегося в «Отечественных записках» Некрасова и Салтыкова, прежняя система идей заколебалась, здание дало трещину, очень заметную, сквозь которую ворвались новые мысли и новые наблюдения, в нем, в этом здании, уже абсолютно не вместились. И началась мучительная работа согласования старого с новым, которая так и не завершилась, чаемый синтез не удался.

Мы подчеркиваем это «новое» в воззрениях Достоевского именно для того, чтобы восполнить преднамеренную ущербность, восстановить его доподлинный облик во всей его крайней противоречивости, в рамках, в конкретной исторической обстановке его же эпохи; чтобы вновь воспринят был его голос в его первоначальном звучании для его же современников, а не в искажающих вариациях «учеников», «последователей» и — тем более — неразборчивых врагов. По следам современников мы и идем. Они же и улавливали особенно ясно эти новые элементы в идеологии Достоевского и так же ясно ощущали «механичность» их соединения со старыми.

Мы уже подробно говорили в предыдущей статье о том, как радикальная критика резко изменила свое отношение к Достоевскому после опубликования «Подростка», сосредоточив свое внимание на «светлом двойнике» писателя, говорили, как изменилось отношение к Достоевскому со стороны Салтыкова-Щедрина, тоже считавшего, что Достоевский сходится с г. Профаном (Н. К. Михайловским) в целом ряде *profession de foi*.

Можно бы привести здесь аналогичные оценки и из провинциальной, либерально-радикальной прессы: «Новороссийского телеграфа» (фельетон «Русский Диккенс», 1877, № 576), «Одесского вестника» (1876, № 208, 277), «Русских ведомостей» (1876, № 82), «Кронштадтского вестника» (1877, № 61) и т. д. и т. п.

Но гораздо показательнее еще, быть может, отношение к Достоевскому в эту пору читателя менее искушен-

него, из широкой, демократически настроенной части тогдашнего общества. Плененная его страстностью и искренностью, когда он говорит о страданиях народных и о высоких нравственных качествах народа, она точно вовсе не замечала тех его сторон, которые по-прежнему продолжали роднить его со славянофильством, в эту пору уж окончательно обнаружившим свою реакционную сущность; воспринимала в нем одно только «народолюбие». Об этом могли бы свидетельствовать выдержки из целой массы, прекрасных в своей наивности, писем: от разных гимназистов и гимназисток, провинциальных учителей и учительниц, курсисток и студентов, девушек, рвущихся из затхлой семейной мещанской обстановки, жаждущих «общественного дела», скорее «приносить пользу народу», — писем из Воронежа, Тамбова, Киева, Казани, Перми, Пскова, Петропавловска, Новгорода, Кронштадта, из мелких заштатных городов и сел этих же губерний.

Остановлюсь на одном письме, наиболее характерном, — оно принадлежит народоволке А. П. Корба. Письмо ее — интереснейшая деталь из истории революционного народничества, страница которой, связанная с добровольческим движением в помощь восставшим славянам, все еще недостаточно ясно написана. А. П. Корба еще не вступила на революционный путь, но уже жаждет общественного дела, стремится к активному проявлению любви своей к народу. Она томится желанием поделиться с кем-нибудь мыслями и обращается к Достоевскому с такими словами: «Я скажу прямо, что я жду от Вас помощи, не имея на то права, разве только право страждущего стонать от боли; а у меня в течение долгих лет наболела душа, и если теперь я решаюсь беспокоить Вас своими стонами, то потому, что знаю, что лучшего врача не найду».¹ И мысли свои Корба высказывает здесь же в отдельном приложении, полном восторженной радости по поводу того, что интеллигенция объединилась с простым народом в едином порыве сочувствия и сострадания к истекающим кровью южным славянам. «Настоящее движение, — пишет она совершенно по Достоевскому, — доказало нам, что мы

¹ Письмо от 9 ноября 1876 г. Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский дом).

<интеллигенция> шли с народом не по различным направлениям... Наши лучшие качества (если только они в нас есть): великодушие, самоотвержение, незлобивость, бескорыстие — не плоды воспитания, только это национальные черты, наследие отцов, которое мы делим с народом». В добровольческом движении все эти черты обнаружились особенно ярко. «И вот кончилась хотя и мнимая, но все-таки рознь! Наш класс, отдалявшийся от народа, потому что не знал его или перестал его знать, воссоединяется с ним. Среди сборов и приготовлений к войне за освобождение славян на Руси ныне стоит праздник, святое торжество примирения братьев! Плача, мы протягиваем народу руки, моля принять нас вновь в лоно великой семьи русской. И слышатся приветливые слова: бог с вами, да мы и не думаем толкать вас от себя; вы сами того, маненько отворачивались... Станем отныне жить как подобает добрым братьям. Еще бы не плакать от радости, еще бы сердцу не биться безумно и не трепетать, когда сразу обрелись 86 миллионов единокровных и единоутробных братьев и сестер».

Крайне приподнятый тон этих строк, насыщенных еще наивным лиризмом расплывчатого народолюбия, характерен, главным образом в отношении эмоциональном, для той части демократически настроенной молодежи, которая не научилась еще мыслить достаточно дифференцированно и видела поэтому в Достоевском только одного «светлого двойника». После «Подростка» в «Отечественных записках», и двухлетнего существования «Дневника писателя» демократического читателя должно было, по всей вероятности, особенно поразить возобновление сотрудничества в «Русском вестнике» Каткова, появление там, в начале 1879 года, первых книг «Карамазовых». На обеде петербургских профессоров и литераторов, 13 марта 1879 года, Каблиц начал громко упрекать Достоевского за то, что он своими романами «содействует распространению журнала, *направление которого, конечно, не может разделять*». Достоевский «стал горячо оправдываться тем, что ему нужно жить и кормить семью», что «там денег больше и вернее и вперед дают, что цензура легче, почти нет ее, и что в Петербурге, в журналах с более симпатичным направле-

нием, от него и не взяли бы».¹ Здесь не в том дело, правду ли говорил Достоевский, указывая на эти причины. Последняя — мы это недавно видели с Салтыковым, приглашавшим его в «Отечественные записки», — безусловно неверна. Важен самый упрек со стороны Каблицы, и еще важнее формулировка этого упрека: *«направление которого, конечно, не может разделять»*, как и ответ Достоевского, который так опечалил присутствовавшего при этой сцене простодушно-реакционного Аполлона Майкова, нанес ему «удар, — как выражается Майков в письме по этому поводу, — в святую святых его души, поколебал веру в человека».² Майков ждал от Достоевского, что он скажет: «по сочувствию с Катковым и по уважению к нему, даже по единомыслию во многих из главных пунктов», а он уклонился, не сказал, и Майков восклицает: «Что ж это такое? Отречение? Как Петр отрекся? Ради чего? Ради страха иудейского? Ради популярности?..» Ответ Достоевского Майкову не сохранился. Да и вряд ли был этот ответ. Ибо что же мог бы он ответить? О двух «половинах своей души»? О «светлом и темном» своих двойниках, о которых писал Скабичевский? Цельному в ограниченности дворянской своей идеологии Майкову это все равно было бы непонятно.

В один и тот же момент и за одно и то же одинаково упрекали его из двух диаметрально противоположных лагерей. Кто же он такой? И чей же он, наконец?

Да, действительно, современниками воспринимались в Достоевском «два двойника» — «светлый и темный», которые постоянно боролись между собою. Судьба Пушкинской речи, где идеология его последнего периода выражена с наибольшей полнотой, оценка ее представителями разных партий иллюстрирует особенно ярко эту борьбу в нем двойников.

«Русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье чтоб успокоиться». И понятны его «горе и тоска о несчастьи других, его работа, как бы несовершенна она ни была, на пользу всеобщего благополучия» (XII, 378). Что это? Оправдание революции? Массового

¹ Л. Е. Оболенский. Литературные воспоминания; — «Исторический вестник», 1902, № 2, стр. 501.

² Письмо от 13 марта 1879 г. — Сб. «Достоевский»; Л.—М., «Мысль», 1925, стр. 364—365.

хождений в народ? Как будто так. Это голос «светлого двойника». Но тут же призыв другой: «Смирись, гордый человек!.. Подчини себя себе! <...> Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе» (XII, 380). Словом, та же старая, давно знакомая проповедь христианского смирения и самосовершенствования. Никак не примирить эти два противоположных начала в одной и той же речи о Пушкине. Глеб Успенский представляет это противоречие в следующей картине. К Достоевскому «приходит посоветоваться, как ему быть», один из тех, на которых его речь оказала сильное влияние. Человек, положим, хотел открыть мастерскую «на новых началах» и встретил противодействие, — разумеется, конечно, со стороны власти, охраняющей современный дворянско-буржуазный строй. Человек этот спрашивает: «— Закрывать мне мастерскую или же отстаивать ее? — Что ответит ему Ф. М.? Неужели скажет: Смирись, гордый человек!

Но на это впечатлительный человек может возразить:

— Да я и так уж смирился. Мне лично ничего не надо, я хочу только хоть этим пятерым, шестерым мальчишкам быть полезен. Неужели же я должен бросить их на произвол судьбы? Ведь их пуще прежнего начнут колотить колодкой по голове! Мне кажется, что я и по-христиански не имею права отступать. Я должен идти до конца. Пусть делают, что хотят, я готов!

— Смирись, праздный человек! Покори себя себе, усмири себя в себе. Не *вне тебя* правда, не в сапожной твоей мастерской, а *в тебе самом найди себя*, сам собою, в себе!

— Стало быть, бросать посоветуете?

И даже на этот вопрос нет категорического ответа; не слушая и не останавливаясь, Ф. М. продолжает прорицать:

— ...И узришь свет! и увидишь правду! Победишь себя, усмиришь себя — и других освободишь; и узришь счастье... и начнешь великое дело... Не в вещах правда...»¹

Смирение Достоевского Успенскому кажется «смирением букашки, проткнутой булавкой и до конца жизни

¹ Г. И. Успенский, т. 6, стр. 444-445.

безропотно Шевелящей лапками». Борьба есть борьба, и одинаковая она должна быть, не на жизнь, а на смерть, как в Европе, так и в России. Ибо «какую такую злобу дня разрешу я, если, подобно Власу, буду с открытым воротом и в армяке собирать на построение храма божия? <...> Решительно нельзя понять, почему на Руси люди будут только самосовершенствоваться?»,¹ — спрашивает Глеб Успенский. И вообще в этой речи, говорит он дальше, «есть <...> нечто такое, что превращает ее в загадку, которую нет охоты разгадывать и которая сводит весь смысл речи почти на нуль. Дело в том, что г. Достоевский к всеевропейскому, всечеловеческому смыслу русского скитальчества ухитрился присовокупить великое множество соображений уже не всечеловеческого, а *всезаячьего свойства*».² Это «всезаячье» свойство в ограничительных частицах, которые вставляются каждый раз, когда начинаются эти широкие мысли о всечеловечности: «там воткнуто, как бы нечаянно, слово «может быть», там поставлено, тоже как бы случайно, рядом «постоянно» и «надолго», таи ввернуты слова: «фантастический» и *делание*, то есть выдумка, хотя немедленно же и заглушены уверением совершенно противоположного свойства: необходимостью, которая не дает возможности продешевить, и т. д. Такие заячьи прыжки дают автору возможность превратить, мало-помалу, все свое «фантастическое делание» в самую ординарную проповедь полнейшего мертвения».³ И «что же остается от всемирного журавля? Остается Татьяна, ключ и разгадка всего этого «фантастического делания». Татьяна, как оказывается, и есть то самое пророчество, из-за которого весь сыр-бор загорелся. Она потому пророчество, что прогнавши от себя всечеловека, потому, что он без почвы (хотя ему и нельзя взять дешевле), предает себя на съедение старцу-генералу (ибо не может основать личного счастья на несчастьи другого), хотя в то же время любит скитальца. Отлично: она жертвует собой. Но, увы, тут же оказывается, что жертва эта не добровольная: «я другому *отдана!*» Нанялся — продался. Оказывается, что мать насильно выдала ее за старца, а старец, который женился на молоденькой, не

¹ Г. И. Успенский, т. 6, стр. 441.

² Там же, стр. 427.

³ Там же, стр. 429.

желавшей идти за него замуж (этого старец не мог не знать), именуется в той же речи «честным человеком». Неизвестно, что представляет собою мать? Вероятно, тоже что-нибудь всемирное. Итак, вот к какой проповеди тупого, подневольного, грубого жертвоприношения привело автора обилие заячьих идей».¹

Так предстала, по Глебу Успенскому, эта «двойственность», внутренняя противоречивость тогдашних социально-политических воззрений Достоевского, создавшего, вернее, пытавшегося создать для себя систему идей, в которой так хотелось ему совместить «несовместимое».

Сам Достоевский уверял себя и других, что проповедь смирения единственно правильная. А. звучали в «Дневнике писателя» часто — мы слышали их — и другие, грозные и гневные голоса. «Дневник» его за годы 1876—1877 — эта воистину идеологическая лаборатория, из которой вышел целиком основной композиционный фактор «Братьев Карамазовых», фактор идеологический во всей своей сложности, — далеко не «благонамеренный».

Приводим в последний раз слова, сказанные Достоевским в первой же малой главе первого выпуска «Дневника» за 1876 год: «Считаю себя всех либеральнее, хотя бы по тому одному, что совсем *не желаю* успокоиваться» (XI, 147). Они могут служить эпиграфом ко всему его творчеству, по крайней мере этого последнего периода.

Глава VI. По двум полюсам

Была в этот последний период проповедь всемирения и всепрощения, и «апелляции к вечному духу», и культ православия в связи с мессианистической ролью русского народа в будущих судьбах человечества, и отрицание для христианской России европейского пути социального строительства, борьба с безбожным социализмом.

И в то же время — какое глубокое сострадание к

¹ Г. И. Успенский, т. 6, стр. 430.

судьбе многомиллионных разоряющихся крестьянских и городских мелкобуржуазных масс, сострадание, доходившее до мученичества, и неодолимая ненависть к дворянству и чиновничеству, и еще большая ненависть к «золотому мешку», к всепобеждающей буржуазии, и страх перед нею. И вместе с этим какой-то особенно углубленный — порою писатель постигал всю неотвратимость ее — интерес к грядущей социальной революции.¹

И вот, повторяем, фундамент всего здания «Братьев Карамазовых», этого завершающего все его творчество произведения. Транспонированы в плоскость художественную руководящие идеи «Дневника», и по ним расставлены главные действующие лица.

Реализм, художественный реализм, подчеркивается постоянно Достоевским, есть единственно правильный художественный метод, метод Шекспиров, Бальзаков, Диккенсов, всех, «кто имеет глаз», чтобы видеть факты.

Вот «факт особого значения» — «Анна Каренина» Толстого. Так сказано об этом романе в седьмом выпуске «Дневника писателя» (XII, 206—211) за 1877 год. Это произведение «такой силы мысли и исполнения», с которым «ничто подобное из европейских литератур не может сравниться». Это уже «наше национальное» «новое слово», которого именно не слышать в Европе и «которое, однако, столь необходимо ей, несмотря на всю ее гордость». Носителем этого нового «национального» слова является «чистый сердцем» Левин, «преклонившийся перед народной правдой», целиком принявшей «народные идеалы»; Левин уж во всяком случае имеет право «называть себя народом». И все же, даже Левин, стоит только чуть-чуть поглубже в нем покопаться, и окажется, что это тот же барич, «московский барич средне-высшего круга», с самой «праздно-хаотической душой», «современный русский интеллигентный барин, да еще средне-высшего дворянского круга».

¹ Поражает безответственность, по ею пору все еще присущая некоторым литераторам, когда речь идет о Достоевском. Смог же В. В. Ермаков, один из самых известных в наши дни достоевистов, сказать о «Братьях Карамазовых», что они «писались в большой степени по прямому заказу правительственных кругов»! (I, 65).

«Праздная» душа, потому что «барич»; «московский барич» — с таким густым оттенком славянофильства, вышедшего из недр интеллигентного барства «средне-высшего дворянского круга» (XII, 214—215). Из множества фактов, рассеянных по всем произведениям Достоевского (некоторые уже были указаны раньше), это, кажется, самый разительный факт, свидетельствующий о том, что ставить любого героя как тип, как художественное обобщение именно в рамки *социально-классовых категорий* было в природе Достоевского, в основе его художественного мировоззрения, на котором строятся его сложнейшие психологические и идеологические концепции.

Любой герой должен быть поставлен в эти рамки, какими бы, казалось, высокими, «надклассовыми» качествами он ни обладал, будь он трижды носителем общечеловеческой «мировой идеи», занимая его самые великие отвлеченные вопросы. И не подлежит сомнению — так Достоевский ставил, прежде всего в пределах класса, и своих собственных героев. Классовой психологией и классовой идеологией, отнюдь не постоянной, не застывшей, а всегда меняющейся в соответствии с общественной ролью класса в данной конкретной исторической обстановке, — объяснял он жизненное их поведение, их сюжетную функцию, как бы она ни была сложна.

У Достоевского были свои причины (далее ясно станет какие), по которым именно семинарист Ракитин, либерал с «оттенком социализма» в той мере, в «какой это выгодно и безопасно», должен был изобразить на суде всю трагедию преступления Мити Карамазова как «продукт застарелых нравов крепостного права и погруженной в беспорядок России, страдающей без соответственных учреждений» (10, 201). Является ли Ракитин в гораздо большей степени пародией на Краевского или, как думал Михайловский, на «одного недавно умершего журналиста», то есть на Благосветлова?¹ Мысль, высказанная им о карамазовщине, до конца не дискредитируется пародийностью его образа. Наоборот. Она полностью разделяется самим Достоевским, как и следующая мысль Ракитина о Дмитрии Карамазове, что «ощущение низости падения так же необходимо этим разнуз-

¹ Н. К. Михайловский. Сочинения, т. 5. стр. 430.

данным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства», — «две бездны, две бездны <...> в один и тот же момент» (10, 243).

Социальная природа Карамазовых (об этом мельком уже раз было сказано) точно намечена в «Дневнике писателя» как вариация, резко окарикатуренная, одного из героев «Анны Карениной», Стивы Облонского. Это довольно часто у Достоевского, что он идет по следам литературных сюжетов и типов старых и современных писателей, берет ту же тему, чтобы иначе ее трактовать, точно исправляет их: «вот как нужно!» Стива Облонский, родовой дворянин и коренной помещик, — в потенции «червонный валет». Он и стал бы «червонным валетом», если бы «состояние его», с падением крепостного права, «рушилось и нельзя бы было получать даром жалования». Этот «крепостной помещик» и после крестьянской реформы остался тем же «тонким эпикурейцем», «невинным и милым жуиrom, приятным эгоистом, никому не мешающим, остроумным, живущим в свое удовольствие». Он сосчитал и сообразил, что на его век хватит, у него «все-таки еще что-нибудь да остается» из прошлого богатства, да и связи в высшем кругу, которые стоят любого богатства.

А что, если отнять у него эти остатки состояния да лишить его связей, снизить его несколько и по общественному рангу: будет он житель не Москвы, а всего только «Скотопригоньевска», и, конечно, уж не «член Английского клуба», и не очень «тонкий эпикуреец» — словом, родовой дворянин не средне-высшего, а средне-низшего круга, наиболее многочисленного и наиболее пострадавшего от крестьянской реформы. И вот такой уж неминуемо должен стать «червонным валетом», даже не «употребит всех усилий ума, нередко очень острого, чтоб стать валетом как можно приличнейшим и великосветским». Наоборот, ум свой, если действительно острый, соединит с «перчаточным лакейством» типа Авсеенки и, коли надо, если это принесет хоть какую-нибудь выгоду, будет он охотно играть роль шута и приживальщика (XII, 54).

Федор Павлович Карамазов. Это был «тип человека не только дрянного и развратного, но вместе с тем и бестолкового, — но из таких, однако, бестолковых, которые умеют отлично обделывать свои имущественные

делишки». Он начал «почти что ни с чем, помещик он был самый маленький, бегал обедать по чужим столам, норовил в приживальщики, а между тем в момент кончины его у него оказалось до ста тысяч рублей чистыми деньгами». Это была бы карьера именно «червонного валета», на которую пошли, должны были пойти — по своему социальному положению — многие из маленьких захудалых помещиков, а после крестьянской реформы даже очень многие, конечно, из тех, кто был поумнее и понастойчивее, кто не только «страстно желал», но чувствовал в себе силы, чтобы «устроить свою карьеру хотя бы чем бы то ни было».

Типические черты, в «Дневнике писателя» лишь мельком указанные, родового дворянина Стивы Облонского, «типа чрезвычайно общего и распространенного», транспонируются в подробное описание жизни дворянина, уже обуржуазившегося, еще до реформы вступившего «в сношения и дружбу с богачом, с человеком легкой и скорой наживы». В семье Облонского еще имеются кое-какие следы прежней патриархальности; сохранилась по крайней мере хоть видимость семьи. Былое дворянское «благообразие» сказывается в самом разврате его; он мало думает о жене и детях, но еще ласков с ними; «очень любит легких женщин, но разряда, конечно, приличного». Семейство же Федора Павловича Карамазова уж окончательно превратилось в «случайное семейство». В первый раз он женился, потому что «примазаться к хорошей родне и взять приданое было очень заманчиво»; сейчас же, разом, «подтибрил» у жены «все ее денежки, до двадцати пяти тысяч», довел ее до того, что она от него сбежала, дом свой «обратил в развратный вертеп», а мальчика, прижитого с нею, вовсе и «совершенно бросил», как забросил сейчас же и двух других своих сыновей, прижитых уже со второй женой, воспитанницей какой-то генеральши (9, 11—15).

Прожил старый Карамазов несколько лет на юге России, очутился под конец в Одессе, в те времена наиболее крупном торговом центре, «в этот-то период своей жизни он и развил в себе особенное умение сколачивать и выколачивать деньгу». Когда же вернулся оттуда, то стал основателем по уезду многих новых кабаков, стал богачом, держал себя еще нахальнее, чем прежде: «явилась <...> наглая потребность в прежнем шуте — дру-

гих в шуты рядить» (9, 31). Так типизирован нравственный облик все более и более вырождающегося дворянства в эпоху уже пореформенную, когда общественный строй в России ясно определился как строй буржуазный.

Обычно Достоевский пренебрегает точностью рисунка, скульптурностью внешнего портрета. Для Федора Павловича Карамазова делается исключение. «Кроме длинных и мясистых мешочков под маленькими его глазами, вечно наглыми, подозрительными и насмешливыми, кроме множества глубоких морщинок на маленьком, но жирненьком личике, к острому подбородку его подвешивался еще большой кадык, мясистый и продолговатый, как кошелек <...> Плотоядный, длинный рот, опухлыми губами, из-под которых виднелись маленькие обломки черных, почти истлевших зубов. Он брызгался слюной каждый раз, когда начинал говорить <...> Нос не очень большой, но очень тонкий, с сильно выдающейся горбиной». Это, конечно, портрет не купца, не железнодорожника, не банкира второй половины прошлого столетия, когда русская буржуазия находилась еще в периоде роста, а именно упадочного дворянина, поклонившегося богачу как новой силе: «Настоящая физиономия древнего римского патриция времен упадка», как сам Карамазов определял в шутку свое лицо, которым он, однако, оставался доволен (9, 32—33).

Действие происходит не в Москве, не в Петербурге, а в маленьком уездном городе Скотопригоньевске. Но тем шире отсюда обобщение. «Не Россия должна равняться по Петербургу, а Петербург по России», — это давнишнее убеждение Достоевского уже реализовано: друг по другу равняются. Капитал проникает во все поры и всюду перестраивает общественные отношения между людьми.

Рядом с Федором Павловичем Карамазовым и в связи с ним дан покровитель Грушеньки, купец Самсонов, крутой самодур, совершенно уже лишенный лирически-эмоциональной окраски персонажей Островского И еще — кулак Лягавый, скототорговец, «скупщик дворянских имений», жадный и жестокий пьяница, и кабатчик Трифон Борисович, с презрением относящийся к мужику и беспощадно его эксплуатирующий. «Мужик наш мошенник, его жалеть не стоит, и хорошо еще, что дерут его иной раз и теперь. Русская земля крепка березой,

Истребят леса, пропадет земля русская <...> Россия свинство <...> Если бы ты знал, как я ненавижу Россию...» (5, 169) — так говорит в главе «За коньячком» старик Карамазов. А кабатчик Трифон Борисович ему откликается (в разговоре с приставом): «Ведь это народ-то у нас <...> совсем без стыда! <...> Доброте только вашей удивляюсь с нашим подлым народом <...> только это одно скажу!» (9, 633).

Так устанавливается основной социальный фон романа — прежде всего по отцу трех братьев Карамазовых, столь различных между собой и в то же время столь сходных благодаря общности своего происхождения. Каждый носит в себе как проклятие черты своей социальной среды. И, по Достоевскому, никому не дано их преодолеть: ни «схимнику» Алеше, насильно направляемому старцем Зосимой в грешный мир для его исправления, ни «безбожному социалисту» Ивану, в философии которого так явственны следы высокомерного барства, презрительнейшего отношения к тем самым массам разоренных, за которых он, казалось бы, заступает с такой неистовой болью, с глубочайшим чувством сострадания, ни тем более старшему Мите, самому разнузданному из братьев.

Но это только одна сторона социального фона, одна группа действующих лиц. Но вот рядом еще два обобщающих типа: штабс-капитан Снегирев и семинарист Ракитин. Один — как символ той огромной массы городского мещанства, которое историей приносится в жертву «новой силе», новому, еще «укладывающемуся» буржуазному строю. Другой — тоже как символ довольно большой части тогдашней русской интеллигенции, но уже иной, не дворянской по своему социальному происхождению, с более устойчивым психическим складом, с крепкой волей к жизни — среди «верхних слоев, общества», с огромным упорством и нравственной беззастенчивостью, благодаря которым она прямо идет к своей цели, не стесняясь никаких средств.

Штабс-капитан Снегирев тех же социальных корней, что и Карамазовы, тот же разорившийся мелкий дворянин, как и старик Карамазов в начале своей карьеры, с той же душой приживальщика и с той же «наглостью и в то же время видимой трусостью». Не хватило у него талантов Федора Павловича; не ставши по неумелости

«червонным валетом», он неминуемо должен был скатиться на самое дно. О нем говорится, что «состоял ходатаем по делам Федора Павловича», по его распоряжению совершал мошенничества, служил купцу Самсонову и Грушеньке — до того, как она возродилась к новой жизни, — такой же жадной, оборотливой, как и ее покровитель Самсонов, так же умело возрастившей свои громадные капиталы.

Но Снегирева, этого шута, в интонации и в голосе которого «слышался какой-то юродливый юмор, то злой, то робеющий, не выдерживающий тона и срывающийся» (9, 249), окружает ореол страдания. Больная, сумасшедшая жена; больная дочь, безногая, горбатая, с замечательно прекрасными и добрыми глазами; мальчик, умирающий в чахотке, единственный сын, умный, одаренный, бесконечно добрый, любимец и единственное утешение семьи, — и нищета, нищета безысходная кругом. Обычное у Достоевского нагромождение ужасов, когда ему нужно дать почувствовать трагедию жизни во всей ее безысходной неосмысленности. Вот она, эта конкретная, мучительная в своей реальности. человеческая история, которая должна ощущаться за нравственно-философскими проблемами, какими бы отвлеченными они ни казались. «Кульминационные точки» романа: книги «Pro и Contra» и «Русский инок» следуют сейчас же за «Надрывами», главами, посвященными именно семье Снегирева, как два диаметрально противоположных решения одного и того же вопроса о смысле исторической действительности, — вопроса, уже непосредственно вытекающего из «Надрывов в избе и на чистом воздухе», из судорожных рыданий молчаливых и гордых деток, как Илюшечка, «долго перемогающих в себе слезы», пока не придет большое горе и они вдруг прорвутся и не то что «потекут, а брызнут словно ручьи» (9, 261).

Или — еще шире, еще грустнее картина разоряющейся деревни. Когда закончилось первое судебное следствие и началось возрождение Мити, тогда впервые открылись ему людские страдания, в виде какого-то странного сна, «как-то совсем не к месту и не ко времени». «Вот он будто бы где-то едет в степи <...> и везет его в слякоть на телеге, на паре, мужик <...> В начале ноябрь, и снег валит крупными мокрыми хлопьями,

а падая на землю, тотчас тает <...> И вот недалеко селение, виднеются избы черные-пречерные, а половина изб погорела, торчат только одни обгорелые бревна. А при выезде выстроились на дороге бабы, много баб, целый ряд, всё худые, испитые, какие-то коричневые у них лица. Вот особенно одна с краю, такая костлявая, высокого роста, кажется, ей лет сорок, а может, и всего только двадцать, лицо длинное, худое, а на руках у нее плачет ребеночек, и груди-то, должно быть, у ней такие иссохшие, и ни капли в них молока. И плачет, плачет дитя и ручки протягивает, голенькие, с кулачками, от холоду совсем какие-то сизые.

— Что они плачут? Чего они плачут? — спрашивает <...> Митя.

— Дитё, — отвечает ему ямщик, — дитё плачет <...>

— Да отчего оно плачет? <...> Почему ручки голенькие, почему его не закутают?

— А иззябло дитё, промерзла одежонка, вот и не греет.

— Да почему это так? Почему? <...>

— А бедные, погорелые, хлебушка нетути, на погорелое место просят.

— Нет, нет <...> ты скажи: почему это стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дитё, почему голая степь <...> почему они почернели так от черной беды, почему не кормят дитё?

И чувствует он про себя, что хоть он и безумно спрашивает, и без толку, но <...> именно так и надо спросить <...> Хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё, не плакала бы и черная иссохшая мать дити, чтоб не было вовсе слез от сей минуты ни у кого и чтобы сейчас же, сейчас же это сделать, не отлагая и не смотря ни на что, со всем безудержем Карамазовским» (9, 628—629).

Так обуславливается острота постановки нравственно-философских проблем романа — взаимоотношением «разоряющих и разоряемых» в данный исторический момент, когда все в России «переворотилось».

Ракитин занят как будто теми же вопросами высшего порядка, как и Иван и Алеша: о смысле жизни, о будущем устройстве человечества, об основах нравственности. Старец Зосима и Иван, антиподы во всем, исходят из одной и той же посылки: «Нет бессмертия

души, так нет и добродетели, значит, все позволено». Зосима приемлет бессмертие и утверждает добродетель; Иван, отрицая бессмертие, не верит и в человеческую нравственность. А Ракитин мыслит рациональнее обоих: «Человечество само в себе силу найдет, чтобы жить для добродетели, даже и не веря в бессмертие души! В любви к свободе, к равенству, братству найдет» (9, 106).

Мысль о возможности устройства на земле без бога Достоевский дважды развернул в соблазнительнейшую картину счастливого будущего человечества — в «Исповеди Версилова» (в «Подростке», 8, 510—520) и в «Сне смешного человека» (XII, 106—122). Любовь всех к каждому и каждого ко всем, на основе действительного равенства и братства, подымет добродетель на неслыханную высоту, доведет ее до совершенства. Но в устах Ракитина эта мысль звучит ложью, поэтому она кажется такой пошлой.

Ракитину, в сущности, нет никакого дела ни до человечества, ни до его нравственности.

Не «горячий и не холодный», порочная золотая середина, именно самый ненавистный для Достоевского тип современного западника из либералов, равно далекий как от «раннего человеколюбца» Алеши, так и от молчаливого, носящего в себе «высшую идею» Ивана. Ракитину нужна только карьера. И равно открыты для него оба пути: Ивана и Зосимы — разумеется, в ложном только подобии. Он либо согласится «на карьеру архимандрита в весьма недалеком будущем» (ложный путь бюрократившейся церкви), либо уедет в Петербург и примкнет к толстому журналу, «непременно к отделению критики, будет писать лет десяток и в конце концов переведет журнал на себя», будет его издавать «в либеральном и атеистическом направлении с социалистическим оттенком, с маленьким даже лоском социализма», но держа ухо востро, то есть в сущности держа нашим и вашим и отводя глаза дуракам. Оттенок социализма (нечто от ивановского пути и тоже в ложном подобии) не мешает ему «откладывать на текущий счет подписные денежки и пускать их при случае в оборот» — до тех пор, пока не выстроит «капитальный дом в Петербурге, с тем, чтобы перевести в него и редакцию, а в остальные этажи напустить жильцов» (9, 107). Это говорит о Ра-

китине Иван, который ненавидит его и презирует как своего ближайшего врага, опошляющего его же идею.

В романе Ракитин — фигура второстепенная. В борьбе идей, двух диаметрально противоположных идеологических систем, ради которой роман и создан, Ракитину роль не дана. Он — «эхо, а не голос», он повторяет только чужие мысли, пользуется ими, как и человеком, лишь «при случае», когда это ему нужно и выгодно. Решать основные вопросы истории и социологии, о прошлых и грядущих судьбах человеческих, — вопросы, столь остро поставленные именно текущей действительностью с ее мучительными «надрывами», эпохой, столь трагической для миллионов народных масс, эпохой коренной ломки общественного строя, — призваны только эти два антипода: Иван и старец Зосима.

Из двенадцати книг в романе выделяются Достоевским особенно две, в которых сосредоточен главный идейный его смысл:¹ *книга пятая* — «Pro и Contra»: «Бунт» и примыкающий к нему «Великий инквизитор», *шестая книга* — «Русский инок» вместе с «Поучением старца Зосимы», к которой примыкает четвертая глава седьмой книги — «Кана Галилейская» и «Речь у камня» после похорон Илюшечки — заключительная глава в эпилоге. «Кана Галилейская» и «Речь» тоже, в сущности, примыкают к книге «Русский инок» как два ее новых аспекта: один — в плоскости мистической, как некое видение Алеши, другой — как педагогическая проповедь, обращенная к подрастающему поколению, с изложением для детского возраста некоторых идей того же старца Зосимы. Намерения автора, общественно-идеологические, очевидны, — они явно направлены в сторону утверждения окончательной победы за зосимовской идеологией над бунтом атеиста Ивана. Тем более что зосимовская правда акцентируется усиленно еще в целом ряде мест: в главе о «Луковке», как и «Кана Галилейская», тоже центральной в книге седьмой, в «гимне из подземелья» (10, 105) нравственно переродившегося Мити, в нравственном перерождении Грушеньки, в самоубийстве Смердякова после «третьего свидания» с ним Ивана и т. д. и т. д. Не говоря уже обо всем облике, так старательно обрисованном, с такой огромной тратой художе-

¹ См.: Письма, т. IV, стр. 49, 52, 58, 64, 91, 113, 139.

ственных сил, всюду поспевающего, собою связывающего и объединяющего все сюжетные линии романа «раннего человеколюбца Алеши», который должен в жизни реализовать все религиозные убеждения Зосимы. А Ивану, в наказание за его бунт против бога, отказано даже в последнем нравственном удовлетворении: его откровенное признание на суде, что в отцеубийстве виновен он, а не Митя, виновен *идейно*, своей теорией «все позволено», осталось безрезультатным. И чтобы уж совсем доконать его как бунтаря, автор дает ему, в роли двойника, черта, воплощение всего лакейского, что есть в душе Ивана. Черт — отнюдь не «сатана с опаленными крыльями», а самый обыкновенный мелкий бес «с длинным хвостом, как у датской собаки», — должен опошлить все его революционные протесты. Иван нравственно разлагается; по мысли автора, душевный распад (белая горячка, галлюцинации) символизирует уже окончательный крах его системы.

И все же, несмотря на все старания художника, пятая книга — «Pro и Contra» — стоит как незыблемая вершина над другими одиннадцатью книгами романа, выдерживает все удары, направленные против нее, — удары, казалось бы, самые сокрушительные и с самых разнообразных сторон. Умный реакционер Победоносцев, обладавший исключительным нюхом на все революционное, очевидно, всерьез забеспокоился, когда прочитал эту пятую книгу, и с тревогой ждал ответа на нее. Там, в атеистических положениях Ивана, замечательная «сила и энергия». Победоносцев отметил ее и задал «необходимейший вопрос: «Откуда будет <...> возражение?»¹ И вот ответ Ивану уже готов, уже отослан в редакцию. Сидел над этим ответом Достоевский чрезвычайно долго; ни на одну книгу из «Братьев Карамазовых» не было потрачено столько труда, сколько на книгу «Русский инок», — на пятьдесят страниц печатного текста ушло сплошь три с лишним месяца. И в результате, пишет он Победоносцеву в письме от 24 августа 1879 года, сам недоволен «и трепещу за нее в том смысле, будет ли она *достаточным* ответом. Вот это меня и беспокоит, т. е. буду ли понятен и достигну ли хоть

¹ «Литературное наследство», 1934, № 15, стр. 139. Письмо от 9 августа 1879 г.

капли цели».¹ Достоевский пошел по линий не прямой, а косвенной; как он сам писал в этом же письме к Победоносцеву, положения, прежде выраженные (в «Великом инквизиторе» и прежде), остались неопровергнутыми, а «представляется нечто прямо противоположное вышевыраженному мировоззрению, — но представляется опять-таки не по пунктам, а, так сказать, в художественной картине» — в форме смиренной идиллии и сентиментально-лирических излияний. Еще раз столкнулась, в плане уже художественном, система воззрений религиозно-консервативная, согласная с духом если не Победоносцева, то во всяком случае Ивана Аксакова — с теми новыми разрушительными элементами, которые, как мы знаем уже, стали обнаруживать свою силу еще с «Подростка». Уже в «Дневнике писателя» они воспринимались как раздвоение; права была радикальная журналистика, когда она отмечала внутреннюю противоречивость «Дневника», резко подчеркивая двуликость автора. В романе же эти противоречия, воплощенные в художественные образы и потому особенно яркие, противостали друг другу во всей своей непримиримости, как две идеологии, диаметрально противоположные: либо путь смирения, личного самосовершенствования в пределах, если не по указанию, церкви, либо коренная переделка мира, революционное отрицание.

«Теперь для меня кульминационная точка романа. Надо выдержать хорошо»,—это из письма к Любимову от 30 апреля 1879 года по поводу первой половины пятой книги «Pro и Contra» с центральными ее главами — «Братья знакомятся» и «Бунт». А в письме от 10 мая того же года к Любимову, снова назвав эту пятую книгу кульминационной, автор подробно поясняет, почему он ее считает такой: «Мысль ее <...> есть изображение крайнего богохульства и зерна идеи разрушения нашего времени, в России, в среде оторвавшейся от действительности молодежи».² Крайнее богохульство, зерна разрушения, молодежь, оторвавшаяся от действительности, — все это сказано пока в стиле Каткова и Победоносцева. И сейчас же добавляется: «Рядом с богохуль-

¹ Письма, т. IV, стр. 109. Курсив Достоевского.

² Там же, стр. 53.

ством и с анархизмом — опровержение их, которое и готовится мною теперь в последних словах умирающего Старца Зосимы».

Но дальше уже в ином стиле, дальше говорит уже художник: «В том же тексте, который я теперь выслал, я изображаю лишь характер одного из главнейших лиц романа, выражающего свои основные убеждения <...> то, что я признаю *синтезом* современного русского анархизма. Отрицание не бога, а смысла его создания. Весь социализм вышел и начал с отрицания смысла исторической действительности и дошел до программы разрушения и анархизма. Основные анархисты были, во многих случаях, люди искренно убежденные. Мой герой берет тему, *по-моему*, неотразимую: бессмыслицу страдания детей и выводит из нее абсурд всей исторической действительности». Отрицание не бога, а смысла его создания, постановка социальных вопросов в плоскости по преимуществу этической, — это, конечно, характерно для утопического социализма. «Русский социализм», революционное народничество, в философско-идеологическом своей основе почти всегда сбивался в эту этическую сторону.

Иван — человек «искренно убежденный», тема его *неотразима*... Но тут спохватывается Достоевский, и снова в стиле Каткова: «Богохульство же моего героя будет торжественно опровергнуто в следующей (июньской) книге, для которой и работаю теперь со страхом, трепетом и благоговением, считая задачу мою (разбитие анархизма) гражданским подвигом».¹

Тема Ивана — до того она «неотразима», что стало мерещиться, «вдруг возьмут да и не напечатают», — пишет об этом Достоевский Победоносцеву в письме от 19 мая.² Не потому ли и пишет ему, что может понадобиться его заступничество? Во всяком случае, Победоносцев предупреждается заранее: «богохульство это взял, как сам чувствовал и понимал, *сильней*», — оттого, что «даже в такой отвлеченной теме» не хотел «изменить реализму».

Реализм обязывает прежде всего к конкретности исторической обстановки. Никогда еще не было такого

¹ Письма, т. IV, стр. 53—54. Курсив Достоевского.

² Там же, стр. 56.

резкого расхождения между поколениями отцов и детей, как в эпоху семидесятых годов, причем отцы и дети, в противоположность тому, что было каких-нибудь десять — пятнадцать лет назад, до того как «все в России перевернулось», поменялись ролями. Именно «желторотые», «мальчики» толкуют теперь «о вековых вопросах», а старики «все полезли вдруг практическими вопросами заниматься» (9, 292—293). Но и «мальчики» эти вековые вопросы тоже ставят уже по-иному: не так отдаленно от жизни, как раньше, не в плоскости чистой абстракции. Мировые вопросы: «есть ли бог, есть ли бессмертие» — слились совершенно с вопросами о социализме и об анархизме, «о переделке всего человечества по новому штату».

Дилемма поставлена ясно: есть бог, бог создал землю, тогда — «покорись, гордый человек», сознай смиренно всю неспособность твоего эвклидовского ума решать вопросы, которые «не от мира сего», веруй в порядок, в смысл жизни, веруй в вечную гармонию, несмотря на все страдания, которые претерпевало человечество и будет претерпевать в течение всей земной истории своей. Но если бога нет, если «это идея искусственная в человечестве», тогда человек «шеф земли, мироздания», и тогда он должен, обязан перестроить мир по-иному, по законам уже своей, человеческой правды и справедливости.

Пусть знает человек, по «земному эвклидовскому уму <...> что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравнивается», но жить по этой «эвклидовской дичи» он не может «согласиться» (9, 306). И вот включается в причинную цепь вещей и явлений сама человеческая воля. Его хотение, его деяние, его оценивающая мысль сама становится фактором, направляющим ход истории. Уничтожить надо идею «богочеловека» и поставить вместо нее идею человекобога В православии только «один Христос, единый и безгрешный, отдавший неповинную кровь свою за всех и за все»; здесь нет никакой мистики, сын божий, воплотившийся в человека, перенесший смертные муки ради спасения человечества, божеское человеколюбие. Но это только одни слова, «слов-то много на этот счет понаделано». Христос ведь бог, одна из трех ипостасей единого бога, тот же строитель мироздания,

«главный архитектор судьбы человеческой», которая в корне опровергает его хваленое человеколюбие. Ибо вся человеческая история — это сплошные муки, океаны крови и слез, мартиролог бесчисленных жертв, ни в чем не повинных.

«Христос: не стоит весь мир этой мысли». «Я бы желал совершенно уничтожить идею бога». «Избранные, сильные и могучие, претерпев крест его, не найдут *ничего*, что было обещано, точно так же, как и он сам не нашел *ничего после креста своего*». Это все варианты из черновых записей к пятой книге «Pro и Contra», которые в печатном тексте не использованные. Может быть, причина здесь в цензурных условиях; может быть, автор отбросил их сам, с целью выдержать единство этического плана, в котором разворачивается ивановская диалектика. Но важно то, что основная тенденция ивановского «бунта» обнажена в этих черновиках до конца. Именно полное отрицание бога: никто ничего не найдет «там», как сам Христос «не нашел ничего после креста своего». И нужно совершенно уничтожить «этот вздор», эту «глупую пробу», эту страшную человеческую выдумку.

«Зачем нам там? <...> Мы любим землю»,—следует еще одна черновая запись. «Шиллер поет о радости». «Радость» Шиллера была уже раз приведена в главе о Мите — «Исповедь горячего сердца в стихах», но там она дана в интерпретации религиозной: «целую край той ризы, в которую облачается бог мой <...> и ощущаю радость» (9, 137); здесь же радость противопоставлена небесам, — очевидно, только земная; и поземному, в плоскости социальной, ставится вопрос: «Чем куплена радость? Какими потоками крови, мучений, подлости, зверства, которых нельзя, перенести». «Про это не говорят, — кончается эта запись, — о, распятие, что страшный аргумент». Распятие, религия креста виновата в том, что про это не говорят — про потоки крови, подлости и зверства. Ибо чего только не оправдывает этот «аргумент» и что только не освящается им! В ходе истории обнаружилась внутренняя порочность христианства — безразлично какой церкви: католической ли, протестантской, православной,—все они основаны на этом «страшном аргументе», обнаружилась вся ложь и лицемерие его.

Из целой «коллекции фактиков и анекдотиков», которые могли бы подтвердить, что хорош же бог, «коль его создал человек по образу своему и подобию», Иван особенно подробно останавливается на «приобщении к богу» осужденного на казнь убийцы Ришара. Дается подробная биография преступника. Церковь стерегла его с самого рождения, — это ее установлением назван он был «незаконнорожденным». И дальше он рос, как «дикий зверенок»; «семи лет уже посылали пасти стадо, в мокреть и в холод, почти без одежды и почти не кормя его». Месиву, которым кормили свиней, завидовал он, «но ему не давали даже и этого и били, когда он крал у свиней». И так прошло все его детство и юность, пока не вырос и, укрепившись в силах, пошел сам воровать. Он стал добывать деньги поденной работой, добытое пропивал, жил, как изверг, и кончил тем, что убил какого-то старика и ограбил.

История преступления — самая обыкновенная в обществе, основанном на священности брака и прав собственности. И вот, в тюрьме, его, присужденного уже к смерти, немедленно окружают священнослужители и члены разных христианских братств, толкуют ему Евангелие, усовещивают, убеждают, напирают, пилят, давят. И довели-таки до того, что он «обратился», понял, что он преступник: «и его озарил Господь и послал ему благодать». В городе тогда все взволновалось, — все, что было там «высшего и благовоспитанного», ринулось к нему в тюрьму. Преступника целуют, обнимают: «Ты брат наш, на *тебя сошла благодать, брат наш* <...> *Умри во Господе*». Ирония автора над всем христианским строем, над священной буржуазной собственностью звучит здесь уже издевательски. Эти священнослужители и члены разных Христовых братств говорят преступнику: «Пусть ты невиновен, что не знал совсем Господа, когда завидовал корму свиней и когда тебя били за то, что ты крал у них корм <...> но ты пролил кровь и должен умереть». После слов «ты крал у них <у свиней> корм» следует такая авторская ремарка: «что ты делал очень нехорошо, ибо *красть не позволено*». Христиане этого не забывают даже в самый высший момент умиления.

И дальше еще злее. Наступает последний момент. Плачет преступник от умиления, что на него сошла бла-

годать. «Это лучший из дней моих, я иду к Господу». Священнослужители и благотворители кричат ему: «да это счастливейший день твой, ибо ты идешь к Господу». Вслед за позорной колесницей они двигаются к эшафоту все с теми же слезами умиления и христианскими напутствиями. И вот привезли. Преступник все плачет от радости. Плачут над ним и целуют его «обратители». Так и втащили на эшафот брата, покрытого поцелуями братьев, «положили на гильотину и оттяпали-таки ему по-братски голову за то, что и на него сошла благодать» (9, 299—301).

Действие с этим обращенным преступником происходит, конечно, на Западе, в Женеве; имя ему не Иван и не Федор, а Ришар. Но национальное ли это, «женевское» ли только? Об исповеди преступника перед казнью, о слезах покаяния заботилась не менее рьяно и православная церковь; русские священники тоже ходили в камеры, толковали Евангелие, «усоветничали, убеждали, напирали, пилили, давили». И петрашевцы, в том числе сам автор «Братьев Карамазовых», за пять мину! перед казнью тоже целовал крест, которым благословил их «путь ко Господу» священник русский, православный. Из петрашевцев многие целовали этот крест неистово, короткими, отрывистыми поцелуями. И сами они и священник уж во всяком случае были уверены, что и им сейчас же, всего через несколько минут, «оттяпают-таки головы» «по-братски», по-христиански.

Так, выходит, что «социализм и анархизм», «переделка всего человечества по новому штату» — это действительно все те же вопросы: «есть ли бог, есть ли бессмертие», — «только с другого конца».

Но все это пока прелюдия. Да и в самом факте, что ведь голову «оттяпали» убийце, есть что-то ослабляющее силу опровержения «религии креста». Смерть за смерть, — удовлетворено чувство возмездия; здесь есть еще какая-то возможность «уму-подлецу вилять и прятаться». Упростить нужно мысль и тем самым поднять ее до вершины ясности и неопровержимости. Дальше нужно вести разговор со «схимником» Алешей, «как глупее нельзя вести». Чем глупее, тем ближе к делу. «Чем глупее, тем и яснее <...> Ум подлец, а глупость пряма и честна» (9, 296). И вот упрощается тема Ивана, чтобы скорее довести «дело до своего отчаяния», скорее и пря-

мее аргументировать это отчаяние свое, чтобы было до конца ясно. Зачем аргументировать страданиями всего человечества в течение всей истории? Не лучше ли остановиться на страданиях одних детей? Дети уж во всяком случае ни в чем не повинны. Из хорошей своей коллекции «фактиков и анекдотиков», собранных из газет и рассказов, «откуда попало», Иван преподносит Алеше только некоторые. Кроме жителей благочестивой Женевы, фигурируют еще турки, по части мучения детей особенные мастера; «но это все иностранцы». Есть «и родные штучки и даже получше турецких». Форма только другая. У нас «прибитые гвоздями уши немыслимы, мы все-таки европейцы; но розги, но плеть» — вот что у нас «национально»; это уже «чистый русизм»: «историческое, непосредственное и ближайшее наслаждение истязанием битья» — не только лошади, как в одном стихотворении Некрасова, где мужик сечет лошадь кнутом «по кротким глазам», но и человека, в особенности беззащитных детей. «Интеллигентный, образованный господин и его дама секут собственную дочку, младенца семи лет, розгами <...> Папенька рад, что прутья с сучками, «садче будет», говорит он, и вот начинает «сажать» родную дочь <...> Секут минуту, секут наконец пять минут, секут десять минут, дальше, больше, чаще, садче. Ребенок кричит, ребенок наконец не может кричать, задыхается: «Папа, папа, папочка, папочка!» (9, 299, 300, 302).

Иван говорит Алеше, что «об этом у него *подробно* записано». Отождествляет сам автор себя с Иваном — написано об этом подробно, целую главу занимает в февральском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год. «Дело Кронеберга» перенесено оттуда в роман не только сюжетно, но местами почти дословно, как и второе дело, тоже о детях, — родителей Джунковских, прибежавших к таким мерам исправления, как наказание «розгами, хворостиною, плетью, назначенной для лошадей», и запиранием на продолжительное время в сортир, где ребенок плачет, надрываясь, «бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку».

В «Дневнике писателя» неоднократно утверждалась как одна из основ религии необходимость страдания на земле, — зло должно существовать, как и добро, чтобы

человек мог проявить свободную волю свою в выборе между добром и злом. Всё «Поучение старца Зосимы» пропитано этой мыслью. А Иван, мучаясь, вопрошает: для чего? Для чего познавать это чертовое добро и зло, когда это столько стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезок кротких, кровавых, незлобивых маленького невинного существа, не умеющего еще даже осмыслить, что с ним делают?

Слушает все это — «тоже хочет мучаться» — Алеша, этот «послушник божий и смиренный». Смирение и всепрощение, — найдет ли Алеша и что найдет он в воззрениях своего учителя, старца Зосимы, чтобы смириться и простить?

Иван продолжает: «Одну; только одну еще картинку <...> очень уж характерная». Картинка уже не в тесных пределах, а гораздо шире. Дворовый мальчик, «маленький мальчик, всего восьми лет, пустил как-то, играя, камнем и зашиб ногу любимой генеральской гончей». У генерала поместье в две тысячи душ; перед ним все трепещет, мелких соседей своих он третирует как приживальщиков и шутов. «Почему собака моя любимая охромела?» Докладывают ему, что вот, дескать, этот самый мальчик камнем в нее пустил и ногу ей зашиб. «А, это ты! <...> Взять его!» Взяли его, взяли у матери, всю ночь просидел в кутузке, наутро чем свет выезжает генерал во всем параде на охоту, сел на коня, кругом него приживальщики, собаки, псари, ловчие, все на конях. Вокруг собрана дворня для назидания, а впереди всех мать виновного мальчика. Выводят мальчика из кутузки, раздевают всего донага, он дрожит, обезумел от страха <...> «Гони его!» командует генерал. «Беги, беги!» кричат ему псари, мальчик бежит... «Ату его!» вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки!»

Да, действительно, картинка очень уж характерная — в плоскости конкретно-исторической, для той самой среды, где создавалось идиллическое славянофильство. «Анекдотик», насыщенный все той же ненавистью к средне-высшему дворянскому кругу. По цензурным ли условиям, или по тому же «всезаячьему свойству», которое Глеб Успенский отметил в Пушкинской речи, вносится в эту картину целый ряд «оговорочек»: «это

было, — говорит Иван, — в самое мрачное время крепостного права, еще в начале столетия», и... «да здравствует освободитель народа!»... И генерал... «из таких, правда, и тогда уже, кажется, очень немногих». И «генерала, кажется, в опеку взяли»...

Согрешил автор против реализма. Здесь по меньшей мере анахронизм; «русские мальчики» семидесятых годов, мечтавшие «о переделке всего человечества по новому штату», уже давно перестали восклицать: «да здравствует освободитель народа!» Но дело сейчас не в этом. Иван рассказывает ведь о своем отчаянии Алеше, этому посланнику старца Зосимы, поучение которого должно торжественно опровергнуть все доводы безбожного социализма. И вот он спрашивает Алешу: что делать с этим генералом?

«Ну... что же его? Расстрелять? <...> Говори, Алешка!

— Расстрелять! — тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какой-то улыбкой, подняв взор на брата.

— Браво! — завопил Иван в каком-то восторге. — уж коли ты сказал, значит... Ай да схимник! Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов!

— Я сказал нелепость, но...»

Старец Зосима — мы уже это знаем — будет опровергать Ивана не прямо, а косвенно, не с глазу на глаз, не доводом против довода, а одним фактом своего существования — просто мир воспринимает по-иному, представляет себе иной путь разрешения социальных вопросов и сам идет по этому пути. А с глазу на глаз, в упор: «что делать с генералом?» — то отвечает — пусть не он, Зосима, а Алеша, являющийся идеальным его учеником, — отвечает: «Расстрелять!» Что это? Сдача всех позиций? Призыв к переделке по новому штату насилием?! Ведь это неверно, что генерал был один из немногих, и только в начале прошлого столетия. Да и вообще дело не в генерале, не о данном единичном факте идет речь, а о всем строе общественном, основанном на «христианских началах любви, всепрощения и всемирения».

Бунт оказался непобедимым. Воистину тема, кото-

рую взял Иван, «неотразима, по-моему», т. е. *по Достоевскому*.

А дальше? Уже здесь, в этой же книге «Pro и Contra», в «Легенде о Великом инквизиторе», сочиненной Иваном как оправдание иного, противоположного христианскому, способа устройства человечества на земле, пафос революционный начинает понижаться — точь-в-точь как у импровизирующего Лямшина (в «Бесах»): в могучие аккорды революционной «Марсельезы» врываются постепенно звуки сладенького мотива «Mein lieber Augustin» (7, 399). В письме к Любимову от 11 июня 1879 года Достоевский точно указывает на ту тенденцию, которая понизила этот революционный пафос. Смысл последних глав «Pro и Contra», в которых закончено то, что «говорят уста гордо и богохульно», таков: «Нашему русскому *дурацкому* (но страшному, социализму, потому что в нем молодежь) — *указание*, и, кажется, энергическое: хлебы, Вавилонская башня (т. е. будущее царство социализма) и полное порабощение свободы совести — вот к чему приходит отчаянный отрицатель и атеист!» «Идеал их есть идеал насилия над человеческой совестью и низведения человечества до стадного скота». Они говорят: «Христова вера (будто бы) вознесла человека гораздо выше, чем стоит он на самом деле <...> «Тяжел, дескать, закон Христов и отвлеченен, для слабых людей невыносим». И вот: «вместо закона Свободы и Просвещения несут им закон цепей и порабощения хлебом». «Вопрос ставится у стены: «Презираете вы человечество или уважаете, вы, будущие его спасители?»¹

Тенденция исказила основную мысль «Легенды», доказывающей всю несостоятельность христианства как учения, которое, пренебрегая земными интересами многомиллионного человечества, не способно организовать его в единое целое. «Великий инквизитор», с его идеей переделки общественного строя на началах организованного «добывания хлеба» и организованного его распределения, все время трактует человека как слабовольного бунтовщика, немощного в самостоятельном выборе между добром и злом, ощущающего свободу совести

¹ Письма, т. IV, стр. 58. Курсив Достоевского.

как тягчайшее для себя бремя. И вот Иван Карамазов, автор «Легенды», прямо заявляет о своей солидарности с ним, с Великим инквизитором, с «умным духом», а не со Христом; не любовь к человечеству, а презрение; вместо закона свободы — закон цепей и порабощения хлебом — «Вавилонская башня». Нарушен собственный эстетический канон художника, тенденция сознательно исказила реальную действительность. Чтобы бить одновременно по католицизму как ложному христианству и социализму как «безбожной революции» высказывалась в «Дневнике писателя» уже несколько раз эта бредовая идея о возможности и даже неизбежности союза социалистов с «черной армией», во главе с римским папой. «Русским мальчикам» семидесятых годов эта идея должна была казаться совершенно дикой. Может быть, и здесь некое отражение той далекой эпохи сороковых годов, которая всегда довлеет у Достоевского в его понимании социализма? Среди властителей дум тогдашней русской молодежи католический аббат Ламенэ занимал ведь место одно из первых, рядом с Сен-Симоном, Фурье и Пьером Леру. И если современные социалисты, в воображении Достоевского, в основном остаются еще фурьеристами, то могла возникнуть в его уме и такая фантастическая концепция: почему бы не быть единению между «детьми» в области политического деяния, как было когда-то единение между «отцами» в области идей — появиться какому-нибудь Ламенэ на папском престоле и, «бос и наг», выйти к народу, обещать ему удовлетворение всех его нужд, стать во главе его и тем утвердить свое царство — не на законе любви и свободы, а на законе цепей, на идеале насилия?

Но дело сейчас не столько в происхождении этой идеи, сколько в ее функции: ею, тем, что Иван заодно с «умным духом» и тоже презирает человечество, должна быть опорочена великая жалость, революционная сила его сострадания к «многочисленным, как песок морской», миллионам несчастных и обездоленных. Так подготавливается эмоционально атмосфера для восприятия того, что будут говорить в следующей книге («Русский инок») «уста смиренные и бога славящие», — сладенькие звуки «Mein lieber Augustin» «впервые врываются в мощные аккорды Марсельезы».

И вот начинаются «положительные идеалы» Достоевского, изложение основ «истинного православия» как единственного спасения человечества, единственной творческой и свободной силы, способной разрешить все наболевшие социальные вопросы. Здесь в целом ряде пунктов — сходство с Толстым. Недаром «принципиальный консерватор» К. Леонтьев, последовательнейший реакционер, не допускавший никаких решительно уступок по отношению к «уравнительному прогрессу, торжествующему в новейшей европейской истории», назвал одинаково их обоих «розовыми христианами», противопоставляя им свой взгляд на церковь как на силу охранительную и принудительную, которой нечего заигрывать с уравнительными тенденциями современности.¹ Афонский послушник и в конце своей жизни оптинский монах, Леонтьев знал и понимал сущность исторического христианства лучше и глубже, чем они — Толстой и Достоевский; об этом свидетельствует история православной церкви, из всех христианских церквей наиболее зависимой от государственной власти, наиболее трусливой.

Мечтательно-розовое, антиисторическое — таково христианство старца Зосимы. Поэтому так легко было оторваться от почвы, от реализма и рисовать соблазнительный фантастический образ, который мог бы противоборствовать Ивану, стоя на его же уровне. Зосима отнюдь не отрицает всю важность и остроту социальных проблем, поставленных Иваном. Как Иван, он тоже чает их разрешения как можно скорее; только путь его другой — «истинно-христианский», путь всепроникающей любви и всепрощения. Как было уже раз указано, в самом строении романа проявляется его основной идеологический фактор: в борьбе двух диаметрально противоположных идеологических систем их выразители должны быть наделены одинаковой силой духа и мысли.

По высоте и глубине идей равновелики они, «Pater seraphicus» — старец Зосима и Иван. На последней, высшей точке они сходятся, точно единомышленники; каждый продумывает мысль до конца за себя и за дру-

¹ См.: К. Леонтьев. Наши новые христиане. — Собрание сочинений. М. — СПб., изд. В. М. Саблина, 1912, стр. 151—215.

гого. И как ни различны их убеждения, в каких-то основных пунктах они соприкасаются, между собой. Достоевский все время подчеркивает — в плане сюжетном — их глубокое взаимное уважение как символ именно одинаковой остроты и глубины их мысли. Идет спор еще в самом начале романа, у старца в келье, по поводу напечатанной в какой-то газете статьи Ивана о взаимоотношениях церкви и государства. По мысли Ивана, церковь и государство несовместимы. Если церковь действительно сила живая и она определяет поведение верующего, то государство должно — под обаянием церкви — исчезнуть, должно само стать церковью. Или еще вернее: если бы общество действительно могло стать церковью истинных христиан, то сами собою прекратились бы функции государства как учреждения, основанного на насилии, — прекратились бы *за ненадобностью*. Иван — безбожник, ни на минуту, конечно, не верит в живую силу церкви. Но он стал на ее точку зрения, развил до конца ее же идею. Тем, что церковь, наоборот, целиком подчинена государству, преданно ему служит, он и доказал всю ее непоследовательность, ее внутреннюю несостоятельность. И вот эта-то мысль Ивана целиком разделяется Зосимой. Западник, старый либерал Миусов, даже не понимает ее, видит в ней черты католицизма. Для либерала государство в европейском буржуазном духе является учреждением вековым, незыблемым. Русский же социализм семидесятых годов в русле бакунинского анархизма мог бы без особого труда перевести эту мысль на свой язык: будущее общество без государства, но и без церкви. А Зосима делает из этой идеи свой вывод; он тоже продумал ее до конца, тоже мечтает об уничтожении государства, потому что оно учреждение «сильных мира сего», — именно поглотится государство церковью.

И дальше такой кардинальный пункт, как идея бессмертия и вытекающий из нее характер человеческого поведения. Иван проповедует, там же в келье, что если нет бессмертия, то «все позволено», — и Зосима снова вполне согласен с ним. «Все позволено» — формула высшего дерзновения. Нет бога и пет бессмертия. По выражению Мити, тогда «человек шеф земли» и сам себя устраивает, общество организует «по новому

штату», согласно своей воле и разумению. Иван делает из идеи своей именно этот вывод, Зосима же — противоположный. Его вывод можно бы выразить почти словами Толстого: «Не противься злу насилием». Нет, не все позволено. Бог и бессмертие обуславливают, в плане идеологическом, противоположную линию поведения: «все должны один другому служить <...> Нельзя, чтобы не было господ и слуг; но пусть же и я буду слугой моих слуг, таким же, каким и они мне». Ибо «всякий из нас пред всеми во всем виноват» (5, 361). И виновность каждого перед всеми простирается не только на людей, но и на природу: «Птички божий, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил» (9, 362). Вот какова основа проповеди смирения и самосовершенствования. «Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства».

И в третий раз единомыслие. Старец Зосима понимает не хуже Ивана, что мир гибнет от «уединения». «Всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдаляется». Не постигает ныне ум человеческий, «что истинное обеспечение лица состоит не в личном уединенном его усилии, а в людской общей целостности» (9, 379—380). Перевести на язык обыкновенный — это как будто и значит отрицание основ существующего строя с его главным принципом неприкосновенности частной собственности. И больше всего страшится старец Зосима власти грядущей буржуазии, власти капитала, вторгшегося уже в деревню. «И в народе грех. А пламень растления умножается даже видимо, ежечасно, сверху идет <...> Начинаются кулаки и мироеды <...> Народ загноился от пьянства и не может уже отстать от него». Но самое ужасное — это город, фабрика. Как и Иван, Зосима тоже упрощает свою аргументацию, берет только детей: «Видал я на фабриках десятилетних даже детей: хилых, чахлых, согбенных и уже развратных. Душная палата, стучащая машина, весь божий день работы, развратные слова я вино, вино, а то ли надо душе такого малого еще дитяти? Ему надо солнце, детские игры и всюду светлый пример и хоть бы каплю любви к нему». Зосима

возгорается гневом: «Да не будет же сего, иноки, да не будет истязания детей, восстаньте и проповедуйте сие скорее» (9, 394). Так ведет автор старца Зосиму почти по всем темам Ивана, заставляя его единомыслить с ним — в части критической по отношению к современной действительности. Тем ярче поэтому выступают основные пункты их расхождения и соответственно им — пути социального переустройства.

Два отдельных мира, каждый действует в своей среде, в которую другой не вступает. После встречи в келье в начале романа, когда оба настороже, сдержанно останавливаются у идеологической грани, их разделяющей, Иван и Зосима больше уже нигде непосредственно не сталкиваются. Получаются две системы идей, проводимых как бы в двух параллельных плоскостях, и автор открыто, убежденно становится на одну из них. Книга о «Русском иноке», за исключением разве глав, посвященных новелле о «Таинственном посетителе», — сплошной «катехизиса». Здесь художник превращается в проповедника и терпит величайшие поражения. Была задача убедительно представить величавый образ русского инока, и было опасение — удастся ли разрешить задачу, потому что в жизни его, ради того же принципа реализма, волей-неволей должно быть много комического¹. Но оказалось не столько даже комического, сколько скучного. Образа не удалось создать величавого именно потому, что был нарушен принцип реализма.

Отвергаются, во имя бога и бессмертия, борьба и насилие. И тянется, тянется — опять и опять — нудная проповедь «всезаячьего смирения» и самосовершенствования. Стилизованное — частью под «странствия инока Парфения», частью под проповеди Тихона Задонского — «Поучение» Зосимы повторяет в основе весь ход мыслей второго «темного двойника» из «Дневника писателя»: о народных идеалах, в которых одних спасение, о миссии русского народа как спасителя погибающей Европы, потому что «наш народ один со Христом», а Европа с «умным духом», о разрешении всех социальных бед все тем же самосовершенствованием:

¹ См.: Письма, т. IV, стр. 108—110. (Письме к Победоносцеву от 13 сентября 1879 г.)

«будет так, что даже самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатства своего пред бедным, а бедный, видя смирение сие, поймет и уступит ему с радостью и лаской ответит на благолепный стыд его» (9, 395). Там, в Европе, неминуем безбожный социализм; там «обойденные и обездоленные» уже стучатся в двери истории и требуют: «*все мое*», а буржуа, конечно, не уступает. Но у порога России социализм остановится и дальше не пойдет. У нас, в России, все вопросы будут разрешены без всякой борьбы и даже без всякого усилия. Само все сделается. «Придет срок и сему страшному уединению <...> Таково уже будет веяние времени, и удивятся тому, что так долго сидели во тьме, а света не видели» (9, 380). Но если «срок» такой придет, будет такое «веяние времени», то не к чему, казалось бы, и подвиг самосовершенствования. Подвиг этот, однако, нужен. Надо до тех пор все-таки «знамя беречь и <...> хоть единично <...> пример показать <...> Чтобы не умирала великая мысль» (9, 380).

«Буди, буди», — говорит старец Зосима, пророчествуя. «Мечтаю видеть и как бы уже вижу ясно наше грядущее». И — «верьте, что кончится сим: на то идет» (9, 396). В одном месте «Дневника», высказав чуть ли не в сотый раз эти же чаяния свои, которых он, в сущности, никогда не доказывает и даже почти не развивает, Достоевский вдруг обмолвился странным словом: «надоело уже мне повторяться». И вот он их снова повторяет в книге, которую считал самой ответственной, хотел бы, чтобы она была высшей, кульминационной точкой романа. Про книгу «Pro и Contra» Достоевский смело писал, что она «исполнена движения»,¹ художник ясно сознавал силу и энергию ее. Книгой же «Русский инок» он — очевидно, знал почему — сам оставался неудовлетворенным. Не совершил своего «гражданского подвига» — анархизма и социализма не разбил.

Роман закончен печатанием. Либеральная и радикальная пресса разоблачает консервативную идеологию

¹ Письма, т. IV, стр. 53. (Письмо Любимову от 10 мая 1879 г.)

романа, дразнит автора ретроградом. В записной книжке — не для печати, а в уединенном размышлении как бы отдает себе Достоевский лично отчет в этом, — имеются такие слова:

«Иван Федорович глубок, это не современные атеисты, доказывающие в своем неверии лишь узость своего мировоззрения и тупость тупеньких своих способностей». «Мерзавцы дразнили меня *необразованною* и ретроградною верою в бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе <то есть главе «Бунт»>, которому ответом служит *весь роман*. Не как дурак же (фанатик) я верую в бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я. Им ли меня учить!..» И еще в одном месте: «Инквизитор и глава о детях» <опять же глава «Бунт»>. В виду этих глав вы бы <обращение к Кавелину> могли отнести ко мне хотя и научно, но не столь высокомерно по части философии, хотя философия и не моя специальность. И в Европе такой силы атеистических *выражений* нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое *горнило сомнений* моя *осанна* прошла...»¹

«Сила отрицания», «сила атеистических выражений» — художественный реализм действительно достиг своей кульминационной высоты в этих бунтарских главах. *На них* и ссылается автор в своем возмущенном ответе критикам, ибо «осанна» звучала глухо и скучно, художественно неубедительно, автор знал это лучше других.

¹ Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, т. I. СПб., 1883, стр. 368—369, 375. Курсив Достоевского

ДОСТОЕВСКИЙ И СТРАХОВ

1

1894 году, когда Страхова, одновременно с его ровесником Львом Толстым, избирали в почетные члены популярного в то время Московского психологического общества, ему дана была такая характеристика:

«Человек разносторонне и широко образованный, мыслитель тонкий и глубокий, замечательный психолог и эстетик, Страхов представляет и как личность выдающиеся черты — стойкостью своих убеждений, тем, что он никогда не боялся идти против господствующих в науке и литературе течений, восставать против увлечений минуты и выступать на защиту тех крупных философских и литературных явлений, которые в данную минуту подвергались гонению и осмеянию».¹

Московским психологическим обществом руководил тогда Н. Грот, во многом единомышленник Страхова, тоже идеалист, последователь Шопенгауэра, метафизику

¹ «Вопросы философии и психологии», 1896, кн. 2 (32), стр. 299

его пытавшийся использовать для обновления старой, реакционной, христиански-славянофильской «этики отречения». То, что Страхов шел «против господствующих течений» (разумеется, против материализма и позитивизма), боролся с демократическим крылом в литературе второй половины прошлого века, с Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым, Некрасовым и Салтыковым, — ставилось ему при избрании, очевидно, в особенную заслугу. В его характеристике дальше так и сказано: «Как политический мыслитель Н. Н. Страхов всегда писал в духе и в защиту славянофильства».

Страхов действительно был человек разносторонне и широко образованный: философ, историк, литературовед, физиолог и психолог. Он был естественник по образованию; окончил физико-математический факультет и представил магистерскую диссертацию по зоологии («О костях запястья млекопитающих», 1857). Его философские труды: «О методе естественных наук и их значении в общем образовании» (1865), «Мир как целое» (1872), «Философские очерки» (1895), многочисленные статьи по психологии, в частности книга «Об основных понятиях психологии и физиологии» (1886), три книги по философии культуры («Борьба с Западом в нашей литературе», 1882—1887, первоначально в «Заре» 1870 года), в которых для того времени (семидесятые годы) дается оригинальная по тону, нарочито «спокойная» оценка философским и историческим воззрениям таких, с точки зрения «правых», одиозных мыслителей, как Герцен, Ренан, Тэн. Во всех этих работах видна обширная эрудиция автора.

Эрудитом является Страхов и в своих литературных статьях, отличающихся прозрачностью языка и ясностью изложения. Тон осторожного исследователя, наукообразной убедительности стремился он соблюдать в своих оценках и приговорах. И это давалось ему тем легче, что навыки, им приобретенные в занятиях естественными науками, вполне соответствовали его крайне уравновешенному характеру, вследствие которого он никогда не играл роли застрельщика.

«Один из трезвых между угорелыми» — так, говорил Страхов, можно будет написать на его могиле. «Угорелыми» были для него не одни «нигилисты», последователи идей «Современника» и «Отечественных записок».

Он мог бы так называть и «защитников православия», грубо выступавших против Толстого. «Они стоят за веру, — иронизировал он, — а потому разрешают себе всякое извращение и неуважение чужих мнений, они стоят за нравственность, а потому считают долгом быть резкими и грубыми».¹

Подобие «либерализма» в вопросах морали, позиция как бы несколько со стороны, позволявшая ему в какой-то мере свободно относиться к «своим» же, подвергать их, хотя бы изредка, критике и осуждению, и в особенности широта кругозора, охватывавшего самые разнообразные стороны человеческого творчества, — вот что давало Страхову право на *расположение* таких людей, как Толстой и Достоевский.

2

Говорим о *расположении*, но не о настоящей духовной и душевной близости. Были отношения весьма приятельские. Страхову они порою казались даже «нежными». Страхов принимал активное участие в журналах Достоевского «Время» и «Эпоха», часто встречался с ним на редакционных собраниях, бывал у Достоевского и дома.хлопотал об устройстве его денежных дел, когда тот находился за границей.

А в области идей был у них, безусловно, ряд точек соприкосновения: в вопросах прежде всего философских, одно время — и общественно-политических и литературных. Казалось совершенно законным стремление Страхова использовать для подтверждения своих взглядов силу и авторитет Достоевского. На самом же деле, за исключением разве периода «Бесов», они, в сущности, часто расходились по самым жгучим, волнующим вопросам эпохи: о движении среди молодежи, о круге Чернышевского и Добролюбова, о понимании задач литературы и критики. Страхов пытается всеми доступными ему мерами ослабить впечатление от целого ряда фактов, которые сам же сообщает в своих воспоминаниях, если эти факты не умещаются в его схему; он говорит о них тогда лишь туманными намеками и в таком контексте, что почти исчезает их подлинный смысл. Так ска-

¹ «Вопросы философии и психологии», 1896, кн. 2 (32), стр. 304,

жет он мельком о тех поправках, которые вносил Достоевский в его статьи, резко меняя их тон и характер, в частности — в его статью о «Свистке» Добролюбова.¹

С оттенком явной иронии, в которой звучит и насмешка, рассказывается Страховым о «студентской истории», о сочувствии арестованным со стороны передовой части петербургского общества, в том числе и редакции журнала Достоевского «Время».²

В 1865 году, упоминает вскользь Страхов, происходит у него размолвка с Достоевским, и до самой свадьбы Достоевского (в 1867 году) они не встречаются. В чем была размолвка, из-за чего разошлись — Страхов умалчивает, надо думать — из-за вопросов характера не бытового. Об отношениях с Достоевским в письмах к Толстому имеются такие строки: «Достоевским я очень недоволен: он стареет, видимо с каждым днем».³ «Я <...> не люблю самого себя так, как Достоевский...».⁴ «Я Тургенева и Достоевского — простите меня — не считаю людьми; но Вы — человек»,⁵ — добавляется дальше в адрес Толстого, что звучит несколько льстиво. Достоевский в письмах к Анне Григорьевне несколько раз упоминает об отрицательном отношении к нему Страхова; в последний раз поводом к этому был роман «Подросток».⁶

Само помещение романа в журнале Некрасова и Салтыкова-Щедрина, очевидно, было крайне враждебно принято не только Страховым, но и Майковым. «Не нравятся они мне оба, а пуще не нравится мне и сам Страхов; оба они со складкой»,⁷ — писал Достоевский Анне Григорьевне 11 февраля 1875 года. После «Подростка» в письмах Достоевского Страхов не упоминается ни разу. Очевидно, они не встречаются в последние пять лет жизни Достоевского (исключая, конечно, случайные и официальные встречи).

Разбираясь, уже после смерти Достоевского, в своих

¹ Н. Страхов. Материалы для жизнеописания Достоевского. СПб., 1883, стр. 235.

² Там же, стр. 231—234.

³ Переписка Л. Н. Толстого со Страховым, т. II. СПб., изд. Толстовского музея, 1914, стр. 27. (Письмо от 15 марта 1873 г.)

⁴ Там же, стр. 185. (Письмо от 14 сентября 1878 г.)

⁵ Там же, стр. 214. (Письмо от 11 марта 1879 г.)

⁶ См.: Письма, т. III, стр. 148. (Письмо от 6 февраля 1875 г.)

⁷ Там же, стр. 154.

отношениях с ним, Страхов писал, подводя, по своему обыкновению, частный случай под некое обобщение: «Близость между людьми вообще зависит от их натуры и при самых благоприятных условиях не переходит известной меры. Каждый из нас как будто проводит вокруг себя черту, за которую никого не допускает, или лучше—не *может* никого допустить. Так и наше сближение встречало себе препятствие в наших душевных свойствах».¹

Сразу же после смерти Достоевского Страхов, взволнованный и огорченный, писал Толстому о чувстве «ужасной пустоты», но и здесь он не мог не прибавить: «мы не ладили все последнее время».² Особенно показательно его откровенное признание об отношении к Достоевскому, свидетельствующее не только об их чуждости друг другу, но и о резко отрицательном отношении, почти ненависти к Достоевскому. И это не в минуту гнева или обиды, а результат всей жизни; точно исповедаться хочет он перед Толстым, «носителем правды», о том, что лгал о Достоевском не только в своих воспоминаниях, где была цель создать ему апофеоз, а, в сущности, всю жизнь: рисовал образ его идеальным, с точки зрения своих же нравственных понятий и убеждений, и сам же сознается, что лгал намеренно, что *все выдуманно*. Посылая Льву Толстому биографию Достоевского, которую только что закончил, он пишет ему свою «покаянную»: «Все время писания я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением <...> Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен <...> Лица, наиболее на него похожие, — это герой «Записок из подполья», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах» <...> Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливым, героем и нежно любил одного себя <...> я бы мог записать и рассказать и эту сторону в Достоевском, много случаев рисуются мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее, но пусть эта

¹ Н. Страхов. Материалы для жизнеописания Достоевского, стр. 224.

² Переписка Л. Н. Толстого со Страховым, т. II, стр. 266. (Письмо от 3 февраля 1881 г.)

правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем».¹

В конце своих «Воспоминаний» А. Г. Достоевская должным образом оценивает Страхова как человека, приводит достаточно фактов, изобличающих его во лжи по отношению к нравственному облику Достоевского.²

Возникает поэтому для установления истины крайняя необходимость подойти к фактам, которые Страхов сообщает, как можно осторожнее. Не поддаваться прежде всего *соблазну заостренной логики* Страхова, резко разграничить факты с точки зрения достоверности, когда они касаются социально-политических убеждений Достоевского. И дело даже не столько в самих фактах, сколько в своеобразном их освещении с определенной целью. Это нужно особенно иметь в виду, когда речь идет о первых главах воспоминаний Страхова — об истории журналов Достоевского первой половины шестидесятых годов. Тем более, что здесь Страхов — почти единственный из сверстников Достоевского, который отлично знает и помнит обо всем, что творилось в общественной жизни той эпохи, и о своеобразном ее отражении в журнальной деятельности писателя. Знает как ближайший сотрудник, принимавший деятельнейшее участие в борьбе литературных течений того времени. Было бы его свидетельство весьма ценным, если бы он не задавался целью представить Достоевского во всем своим единомышленником — славянофилом, верноподданным, борцом против «нигилизма», материализма и т. д.

Иным должно быть отношение к тому, что пишет Страхов о материальном положении Достоевского в тот или другой период, о двух его поездках за границу (в 1862 и 1863 годах), об обращении к издателям с предложением своих романов и повестей, только что задуманных, и т.д. и т.п. Касаясь жизни Достоевского преимущественно лично-бытового характера. Страхов становится более точным, соответственно возрастает и значение его сообщений.

Но, повторяем, не в этом, в сущности, основной интерес материалов, освещающих творчество Достоевского,

¹ Переписка Л. Н. Толстого со Страховым, т. II, стр. 307—309. (Письмо от 28 ноября 1883 г.)

² А. Г. Достоевская. Воспоминания. М.—Л. Госиздат, 1925, стр. 285—292.

которые мы находим у Страхова. Ценность их выявляется особенно с того момента, когда перед нами Страхов не столько мемуарист, сколько мыслитель-философ, решающий задачи глубоко принципиальные, в размерах очень широких, в пределах которых творчество отдельного человека, как бы он ни был велик, кажется частностью.

Страхов с Достоевским познакомился в начале 1860 года, вскоре по возвращении Достоевского из Сибири. Они оба бывали у довольно популярного в то время писателя и педагога, «преподававшего литературу по Белинскому», — А. П. Милюкова, с которым братья Достоевские состояли в дружеских отношениях еще с сороковых годов как с петрашевцем, членом кружка Дурова. У Милюкова, фактического редактора только что основанного (в январе 1860 года) журнала «Светоч», собирались по вторникам разные литераторы: поэт Аполлон Майков, Достоевские, фельетонист и поэт Д. Минаев, молодой Вс. Крестовский; приглашен был и Страхов, напечатавший в первой книжке «Светоча» свою первую большую статью, с которой он выступил в петербургской большой прессе, — «Значение гегелевой философии в настоящее время».¹

3

Они встретились вначале как люди резко противоположных интересов и направлений, как представители двух разных эпох и культур. Страхов, по его собственным словам, занимаясь философией и зоологией, «прилежно сидел за немцами и в них видел вождей просвещения».² Понимать Гете было для него верх образования; он поклонялся «науке, поэзии, музыке, Пушкину, Глинке» — словом, совсем идеалист тридцатых годов, подобно Аполлону Григорьеву, который тоже вскоре появится и в окружении Достоевского.

В то же время литераторы из кружка Милюкова, и прежде всего сам Достоевский, среди них «первенствовавший не только по своей известности, но и по обилию мыслей и горячности, с которой их высказывал», — наоборот, немцев совсем не уважали; они «очень усердно

¹ «Светоч», 1860, кн. 1, отд. II, стр. 3—51.

² Н. Страхов. Материалы для жизнеописания Достоевского, стр. 172.

читали французов, политические и социальные вопросы были у них на первом плане и поглощали чисто художественные интересы». Достоевский, по утверждению Страхова, был тогда «вполне проникнут этим публицистическим направлением». Он придерживался «теории среды», ставил своей задачей «наблюдать и рисовать различные типы людей, преимущественно низкие и жалкие, и показывать, как они сложились под влиянием окружающих обстоятельств»; суждения свои о человеческих свойствах и действиях высказывал «не с высоты нравственных требований, не по мерилу разумности, благородства, красоты, а с точки зрения неизбежной власти различных влияний и неизбежной податливости человеческой природы».

Немецкая субъективно-идеалистическая эстетика с ее теорией «свободного искусства», ставившей художника над жизнью, вне «идеалов и забот сегодняшнего дня», столкнулась, в лице Страхова, с «теорией французской», материалистической и просветительской, — с теорией, требовавшей, как ее определяет Страхов, «служения современной минуте», уловления и отражения в образах «последней и новейшей черты в общественной жизни».¹ Так утверждается категорически столь авторитетным свидетелем Страховым, что не в Сибири, не под влиянием пережитого на каторге, началось «перерождение убеждений» Достоевского. Продолжается, по видимому, все та же линия, которая привела его к петрашевцам, к самому левому крылу их, к тем, которые группировались возле Спешнева.²

И все же были, очевидно, в воззрениях Достоевского уже в то время какие-то стороны, которые не укладывались в господствующую «теорию среды»; начались какие-то колебания. Страхов говорит об этом неясно, словами отвлеченными: «Был он мне слишком непонятен»; «поражал неистощимой подвижностью своего ума»; порою казалось, что «в нем как будто *не было ничего сложившегося*, так обильно нарастали мысли и чувства, столько таилось неизвестного и непроявившегося под тем, что успело сказаться». И в другом месте — о раз-

¹ Н. Страхов. Материалы для жизнеописания Достоевского, стр. 174.

² См.: А. С. Долинин. Достоевский среди петрашевцев.— Сб. «Звенья», т. VI. М.—Л., «Academia», 1936, стр. 512—545.

двоении Достоевского, о том, что сам Достоевский называл «рефлексией», — о способности его очень живо предаваться известным мыслям и чувствам и в то же время смотреть на них со стороны, с некоей непоколебимой точки душевного центра. Она сказывалась, эта рефлексия, в необычайной широкости его *сочувствий*, в умении «понимать различные и *противоположные* взгляды».¹

Было не только понимание, но уже и некое сочувствие противоположным взглядам, стал обнаруживаться начавшийся процесс «перерождения убеждений». И пример конкретный — отношение Достоевского к статьям Страхова натурфилософического содержания, на которые он уже тогда обратил особое внимание.

Как ни осторожен был Страхов в первых своих выступлениях, его приверженность к немецкой идеалистической философии, и в связи с этим в области вопросов нравственности, его отрицание *теории среды* были высказаны в этих статьях с достаточной ясностью.

В 1860 году печатается целый ряд статей Страхова под заглавием «Письма о жизни»,² в них речь об основных свойствах органического мира. И вот утверждает им, что в организме происходят два противоположных ряда явлений или процессов: одни, «явления круговорота», «служат только для возобновления организмов в прежнем виде», — это ряд *механический*; другие же связаны с *развитием* организма как с *основным* его признаком, с его «*постепенным совершенствованием*». Развитие, таким образом, есть процесс, как бы из самого себя проистекающий, из некоей таинственной сущности, в организме заключенной, то есть из начала *духовного*, из идеи. Страхов так и говорит: «переход в высшие формы зависит не столько от внешних условий, сколько от *самого* организма».

Дальше будет указано, какое влияние окажет на строящееся мировоззрение Достоевского эта страховская натурфилософическая концепция. Применительно к вопросам нравственности, в смысле влияния окружающей действительности на поведение человека в обществе, она не так уже явно оборачивается против теории

¹ Н. Страхов. Материалы для жизнеописания Достоевского, стр. 175—176.

² «Светоч», кн. 3, стр. 1—40; кн. 5, стр. 1—23, кн. 8, стр. 1—23.

«среды», чего добивается Страхов уже в одной из перовых своих статей,¹ в разборе книги П. Л. Лаврова «Очерки вопросов практической философии».

Страхов, полемизируя с Лавровым, утверждает, что «истинным двигателем истинно человеческой деятельности всегда были и будут *идеи*», что на поведение человека среда не должна оказывать и не оказывает никакого влияния. «Существенным, необходимым образом воля подчинена только одному — именно *идее своей свободы, идее неподчинения*, самобытного и сознательного самоопределения». На этой идее будут вскоре построены «Записки из подполья»,² где герой сплошь и рядом подпадает под влияние среды, как бы он ни сопротивлялся ей.

Страхов рассказывает, что эти-то статьи его в «Светоче» за 1860 год, направленные против «реализма» Чернышевского и Лаврова, и «обратили на себя внимание Достоевского». Решившись начать с будущего года издание толстого ежемесячного журнала «Время» и подбирая для него сотрудников, Достоевские «заранее *усердно* приглашали его», Страхова, гегельянца, идеалиста, работать в журнале.³

4

Лицо журнала Достоевского «Время» определялось в значительной мере Страховым. Родоначальником идеологии «почвенничества», которую журнал разрабатывал, был Аполлон Григорьев; страстно проповедовал ее Достоевский. Но Григорьев крайне сложен; свою мысль он никогда не мог довести до ясности. Те взгляды, которые он пытался высказывать на каком-то особом, своем языке, представляли собою для читателя не столько систему, сколько сплав, состоявший из самых разнородных и противоречивых элементов. Достоевский, «необыкновенно живо *чувствовавший мысль*», обладавший исключительной способностью вдруг зажигаться какой-нибудь идеей, самой простой, иногда давно извест-

¹ «Светоч», 1860, кн. 7, стр. 1—13.

² Впервые напечатаны в 1864 г. в «Эпохе».

³ Н. Страхов. Материалы для жизнеописания Достоевского, стр. 177.

ной, и давать ей резкое, образное выражение,—тоже логически никогда ее не разъяснял, как он сам часто жаловался на этот недостаток, «не умел развертывать *содержания* своих мыслей». Один только Страхов умел быть понятным и в меру убедительным для тех, кто искал в журнале ответа на вопрос: в чем же заключается сущность этого направления — «почвенничества»?

Как «почвенники», Аполлон Григорьев и Достоевский все время твердили, что они *не западники* и *не славянофилы*. Хотя они тоже, как славянофилы, выдвигают главной своей мыслью, что интеллигенция «оторвалась от своей почвы» и что «следует искать *своей* почвы» в народных началах, но их «почва» совсем другая, не славянофильская, и другое они понимают под «народными началами». Были здесь возможны два пути: путь к Герцену, противопоставление России Европе в свете *истории* и *вопросов современности*, — подобно Герцену тоже стать на ту точку зрения, что только русский народ способен осуществить идею, которой «беременна Европа». идею социализма, русский народ к этому подготовило своеобразие его исторических судеб, сохранившийся до сих пор его общинный строй, — или уж прямо скатиться к славянофильству: признать, что русский народ — «народ-богоносец», истинное христианство, православие определяет его душевный строй.

Достоевский решил идти по первому пути.¹ Страхов объясняет это тем, что со славянофилами «он был тогда почти незнаком». А то малое, что знал о них, — надо думать, не из первоисточников — вряд ли разделял. Это, конечно, неверно; как будет дальше показано, статья Достоевского против славянофильского журнала «День» — одна из первых во «Времени».

Про этот начальный период сближения с идеями Герцена Страхов и говорит: «Некоторое время я расходился с направлением «Времени», причем не могу сказать, чтобы я горячо проповедовал или отстаивал свое расхождение», очевидно, Страхову уже тогда хотелось верить, что по первому пути Достоевский далеко не пойдет. Слова Страхова о себе здесь очень показательны: «Мысль о новом направлении, однако же, сперва зани-

¹ См. об этом подробно в работе «Последняя вершина», стр. 289—293 настоящего издания.

мала меня <...> но очень скоро, по своему *нерасположению к неопределенности*, я порешил, что нужно прямо признать себя славянофилом».¹

И дальше Страхов ведет свой рассказ так, что дело, которое хоть «и без того шло своим естественным путем к необходимому выводу», к славянофильству, пришло к нему сравнительно скоро, — роль его была очень большая. Она сказалась прежде всего в той борьбе, которую он повел во «Времени» против «нигилистов» и «теоретиков» — против Чернышевского, Добролюбова и Писарева. И здесь он говорит полную правду, но вряд ли выгодную для себя: именно он, Страхов, а вовсе не Достоевский, положил начало борьбе с «нигилистическим» направлением.²

«Но *мне*, — говорит Страхов, — не терпелось и хотелось скорее стать в прямое и решительное отношение к нигилистическим учениям». В статье «Еще о петербургской литературе» в июньской книжке «Времени» за 1861 год он и стал впервые в это прямое, решительное и враждебное отношение и дальше продолжал в этом роде чуть не в каждой книжке журнала. «Рассказываю обо всем этом потому, — читаем мы тут же у Страхова, — что дело это имело *чрезвычайно важные* последствия: оно повело к *совершенному* разрыву «Времени» с «Современником», а затем к общей вражде против «Времени» всей петербургской журналистики».

Нарочитая скромность была свойственна Страхову. Свою роль он никогда явно не преувеличивал. На этот раз «скромность» изменила ему: разрывом своим с «Современником» «Время» в большой мере действительно ему обязано, но вовсе не потому, что он открыл эту полемику и повел ее в слишком резком тоне, — статьи его справедливо воспринимались как более ясное выражение некоей идеологии, которая *стремится* стать определяющей по отношению к журналу в целом, — идеологии еще не оформившейся, еще в тенденции. В свете статей Страхова воспринимался смысл статей и других авторов, которые почему-либо не хотели или не могли быть столь же понятными.

¹ Н. Страхов. Материалы для жизнеописания Достоевского, стр. 205.

² Там же, стр. 235.

Процесс «перерождения убеждений» у Достоевского, если говорить о явных его признаках, длился очень долго. В «Зимних заметках о летних впечатлениях», напечатанных в первой книжке «Времени» за 1863 год, колебания его между путем Герцена и путем славянофилов отнюдь не склоняются в сторону славянофилов. Стал он ясным, этот процесс, в 1864 году в «Эпохе». Это были годы наибольшей близости со Страховым. Позднее, в 1873 году, во времена редактирования «Гражданина», Достоевский так прямо и сказал Страхову: «половина моих взглядов — ваши взгляды».¹ Страхов объясняет эту «большую похвалу» тем, что «люди с художественным складом ума часто видят большое достоинство в логическом развитии мыслей, к которому сами они мало расположены, и когда в *основах* есть совпадение <...> то художникам бывает очень приятна отвлеченная формулировка их идей и чувств».²

Психологически это, может быть, в известной степени и верно. И то вряд ли. Мы знаем, как Толстого раздражал перевод на язык логический художественных его идей.³ Но дело здесь не в психологии, а в самом факте признания Достоевским, как многим он обязан Страхову в своих взглядах; сказано это в период *именно* «Гражданина», действительно наиболее реакционный в деятельности Достоевского.

Страхов пытается объяснить причины и обстоятельства установившегося единомыслия:

«Когда обмен мыслями происходит в виде личных бесед, это особенно действенно». Страхов так вспоминает об этом периоде, об этих первых шестидесяти годах, когда дружба его с Достоевским, которая «имела преимущественно умственный характер, была очень тесна»: «Разговоры наши были бесконечны, и это были лучшие разговоры, какие мне достались на долю в жизни <...> Самое главное, что меня пленяло и даже пора-

¹ Н. Страхов. Материалы для жизнеописания Достоевского, стр. 238.

² Там же, стр. 238—239.

³ Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62. М., 1953, стр. 269.

жало в нем, был его необыкновенный ум, быстрота, с которою он схватывал всякую мысль, по одному слову и намеку. В этой легкости понимания заключается великая прелесть разговора, когда можно вольно отдаваться течению мыслей, когда нет нужды настаивать и объяснять, когда на вопрос сейчас получается ответ, возражение делается прямо против центральной мысли, согласие дается на то, на что его просишь, и нет никаких недоумений и неясностей. Так мне представляются тогдашние бесконечные разговоры, составлявшие для меня и большую радость и гордость».¹

В одном из писем² Страхов говорит об этих «бесконечных» беседах с тем же чувством радости, что они были, и в то же время и грусти: были и, увы! их давно уже нет. Та полоса в их отношениях, когда «чувство переходило уже в *нежность*», никогда больше не повторялась; с 1865 года начались скитания Достоевского, их разделило расстояние. Здесь же воспроизводится интимная атмосфера, которая так сильно содействовала взаимному проникновению мыслями; разговаривали на «всевозможные темы». Предметом разговоров были «очень часто отвлеченные вопросы»: «о сущности вещей, о пределах знания», и тут уж конечно тон задавал Страхов. «Достоевский, — прибавляет он, — любил эти вопросы»; выработывалась целостная идеологическая система, которая должна была стать основой творчества Достоевского, особенно второго периода. Приурочено все это Страховым к первым шестидесятым годам. Точнее — какие это годы? Процесс не конкретизируется в его деталях, — намеренно, должно быть, — несмотря на всю исключительную его важность. По Страхову, кроме петербургских «бесконечных разговоров», их сблизило еще совместное заграничное путешествие летом 1862 года, когда они, в течение месяца с небольшим, были неразлучны; никого не было знакомых — *ни* из русских, ни из иностранцев; на осмотр исторических памятников, произведений искусства, окрестностей итальянских городов, по словам Страхова, тратили времени очень мало. Так и остались от этого путешествия особенно памят-

¹ Н. Страхов. Материалы для жизнеописания Достоевского, стр. 225.

² «Шестидесятые годы». Л., изд-во Академии наук СССР, 1940. стр. 259. (Письмо середины марта 1868 г.)

ными «вечерние разговоры за стаканом красного местного вина».¹

Здесь невольно напрашивается следующее сопоставление фактов. Страхову запомнилось своеобразие интересов Достоевского за границей: «все его внимание было устремлено на людей, и он схватывал только их природу и характеры»,² как они проявлялись в уличной жизни и в общественных местах. Россия и Европа; западная культура, в чем ее сущность — не в прошлом, а в настоящем, в свете русской действительности, — вот тот вопрос, с которым Достоевский приехал в Европу, чтобы решать его не отвлеченно, не по-книжному, а на основании собственных наблюдений. Отсталая Италия, где он отдыхал вместе со Страховым, — это история, прошлое Европы. Париж и Лондон — вот высочайшие вершины тогдашней буржуазной цивилизации. Достоевский был в этих столицах до Италии, и там он впервые не то что понял, а почувствовал, глубочайшим образом пережил современную проблему Европы: непримиримость классовых противоречий, когда на одном полюсе — неслыханные богатства, звериная жестокость эксплуатации, а на другом — ужасающая нищета, голодная смерть и гибель, физическая и нравственная, ни в чем не повинных детей. В «Зимних заметках о летних впечатлениях» все это передано с такой болью за человека и с такой потрясающей силой, с какой до сих пор еще никто не говорил в русской литературе. В Лондоне были встречи с Герценом. И конечно, не воздействие Герцена в смысле только *литературном* имеет в виду Страхов, когда утверждает, что к Герцену Достоевский «тогда относился очень мягко, и его «Зимние заметки» отзываются несколько влиянием этого писателя».³ В личных беседах — когда «возражение делается прямо против центральной мысли, когда на вопрос сейчас получается ответ и нет никаких недоумений и неясностей» — сопоставляет Достоевский свои взгляды со взглядами Герцена по теме, одинаково их волновавшей, — о России и Европе, и вот, по-видимому, о чем

¹ Н. Страхов. Материалы для жизнеописания Достоевского, стр. 244.

² Там же, стр. 243

³ Там же, стр. 240.

были «вечерние разговоры» со Страховым в Италии, во Флоренции — все о той же теме, и как *Герцен* ее ставит и решает. Россия, ее история, ее роль в грядущих судьбах человечества — по Герцену или по славянофилам? Страхов, который, как он сам говорил о себе, «не любил неопределенности», давно уже твердил, что «надо прямо признать себя славянофилом». И теперь ему, наверное, казалось, что победа уже окончательно осталась за ним. Основная тема в «Зимних заметках» — из восьми глав ей посвящено семь — современное положение Западной Европы. В главах: пятой — «Ваал», шестой — «Опыт о буржуа», седьмой — «Продолжение предыдущего» и восьмой — «Брибри и мабиш», по гневному пафосу отрицания буржуазного строя, мы в сфере мыслей и настроений «Писем из Франции и Италии» и «С того берега» *Герцена*. Но этим семи главам резко противостоит по тону и настроению глава третья, названная «Совершенно излишняя» и посвященная России. Точно легкая болтовня, нарочито комическая, о разных случайных эпизодах из жизни простого народа и в контраст ей — привилегированных классов, преимущественно дворян, которые рабски копируют манеры Парижа. Это, конечно, совсем еще не славянофильство. Характерно в этом отношении заступничество (в этой же, третьей главе) за Тургенева, которого «отхлестали» за то, что он «осмелился не успокоиться», «досталось же ему за Базарова, беспокойного и тоскующего (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм» (4, 79).

Страхов не мог услышать голос славянофила в той же главе — в следующих жестоких словах, в которых Достоевский характеризует современного «прогрессиста» — западника: «Теперь мы с такою капральскою самоуверенностью, такими фельдфебелями цивилизации стоим над народом, что любо-дорого посмотреть: руки в боки, взгляд с задором, смотрим фертом,—смотрим да только поплеываем: «Чему у тебя, сипа-мужик, нам учиться, когда вся национальность-то, вся народность-то в сущности одно ретроградство да раскладка податей и ничего больше» (4, 80).

Но так приблизительно пародировал умеренного «прогрессиста» из категории западников любой народник шестидесятых — семидесятых годов.

«Зимние заметки», где «русские начала» провозгла-

шены уже явно как единственное средство спасения человечества от гибели, были напечатаны в январе 1863 года. Тогда же началось польское восстание, на отношении к которому ясно определились классовые позиции борющихся социальных сил в России. Славянофильский «День» Аксакова и недавно еще «англизировавшие» «Московские ведомости» Каткова сразу и резко повернули на путь свирепейшей реакции, поддерживая все решения самодержавного правительства. Петербургская демократически-левая пресса по цензурным условиям почти сплошь молчала; журнал же Достоевских «Время» решил занять особую позицию — ставить польский вопрос не в плоскости конкретных политических действий, а, как выражается Страхов, «возвести его в общую и отвлеченную формулу». Страхову и поручено было это дело; за подписью «Русский» он написал статью под заглавием «Роковой вопрос», из-за которой журнал был закрыт.

Вышло недоразумение: статья оказалась слишком спокойной в своей отвлеченности; Страхов не призывал в ней к «крови и железу», и «свирепые патриоты» из «Московских ведомостей» обвинили его в полонофильстве. Мысль статьи была та, что борьба поляков с русскими представляет собою, в основе, борьбу двух цивилизаций — европейской и русской, ложной, аристократической — и истинной, *народной*; окончательное решение польского вопроса наступит лишь тогда, когда русские одержат над поляками *духовную* победу; для этого необходимо осознать, в чём наше различие от Европы, уяснить и развить свои самобытные начала. Достоевский, говорит Страхов, был очень доволен статьею и хвалился ею.¹ Это те же мысли, что в «Зимних заметках», та же антитеза — Россия и Европа. Когда же в «Московских ведомостях» неким Петерсоном был напечатан на «Время» донос и пошли тревожные слухи, что журналу грозит смертельная опасность, Достоевский написал ответ, в котором подчеркнул свой сдвиг в сторону славянофильства.²

Прошел почти год, пока правительство разрешило

¹ Н. Страхов. Материалы для жизнеописания Достоевского, стр. 247.

² Там же, стр. 249—254.

вместо закрытого «Времени» издавать журнал «Эпоха».¹ Вот когда произошло действительное поправление Достоевского. В «Эпохе» Страхов продолжал свою «борьбу с нигилизмом» с еще большей решительностью. Достоевский выступил со своими «Записками из подполья»,² этим своеобразным прологом ко всей его литературной деятельности второго периода, когда борьба с революцией стала одной из главных его тем, по крайней мере до второй половины семидесятых годов. Ниже будет показано подробно, как в «Записках из подполья», написанных против романа Чернышевского «Что делать?», «взгляды Достоевского» — действительно «наполовину» взгляды, высказанные раньше Страховым.

По причинам внешним и внутриредакционным «Эпоха» просуществовала только год;³ никто ее не закрывал: она уже была вполне «благонамеренной»; «Эпоха» сама закрылась за отсутствием достаточного количества читателей. Мы знаем, что тогда наступило между Достоевским и Страховым охлаждение, но вряд ли по причинам идеологического характера. Позднее, в период «Подростка», когда в их отношения действительно вмешается — в значительной мере — несогласие в идеологии, Достоевский скажет о Страхове суровые слова: «это скверный семинарист, и больше ничего; он <...> прибежал только после успеха «Преступления и наказания»».⁴ Характеристика, безусловно, неверная, продиктованная минутным раздражением. Письма Страхова за 1867—1871 годы, в сопоставлении с письмами к нему Достоевского, ясно показывают, что идейно они были единомышленниками в охватываемый этой перепиской заграничный период Достоевского. Страхов говорит об основной идее «Идиота», воплощенной в образе князя Мышкина, как о самой дорогой ему и близкой. Страхов редактирует (в годы 1867—1870) славянофильствующую «Зарю» и совершенно искренне пишет Достоевскому, что в «Заре» он, Достоевский, будет чувствовать себя так же свободно, как и в своем собственном журнале. «Бесы» приводят Страхова в восторг. Во время редактирования

¹ «Время» было закрыто в мае 1863 г., первая книжка «Эпохи» вышла в марте 1861 г.

² Напечатано в «Эпохе», кн. 1—2 и 4.

³ Закрылась на мартовской книге 1865 г.

⁴ Письма, т. III, стр. 155

Достоевским «Гражданина» Страхов опять сотрудничает с ним. Книга Данилевского, бывшего фурьериста, петрашевца, ставшего потом одним из самых главных эпигонов славянофильства, реакционную сущность которого он выразил с наибольшей резкостью, его книга, написанная в 1869—1870 годы — «Россия и Европа», — воспринимается обоими как «капитальное событие».

В некоем покаянном состоянии, в одном из писем к Данилевскому же, с которым он был всю жизнь особенно дружен, идейно и лично, но за что-то на него рассердился, Страхов, между прочим, так пишет о своих отношениях с Достоевским во вторую половину семидесятых годов:¹ *«Я становлюсь все больше и больше молчальником. С Достоевским все последние годы я был в разладе, все собирался помириться, да так и проводил его в могилу. На вас я тоже, как вы знаете, сердился. И отчего это все происходит? Мне кажется, что я прав, что другие виноваты; но, наконец, я прихожу к мысли, что есть, должно быть, во мне какой-то недостаток, вызывающий других, так сказать, соблазняющий их на несправедливости. Все это очень, очень грустно, потому что приходит старость, и тоска растет с каждым годом».*

6

Период существования «Времени» и «Эпохи», как указывалось выше, был периодом наибольшей близости между Достоевским и Страховым.. Страховым велась главная «борьба с нигилизмом», его статьи определяли в большей мере общественно-политическое лицо этих журналов. Но воздействие шло гораздо дальше, оно проникало — в той области, в которой он действительно мог быть для Достоевского авторитетом, — в глубь философских воззрений Достоевского, освещая в его сознании самый метод его художественного творчества.

Это была философия, которую сам Страхов определял как «правоверно-гегельянскую». Так писал он Н. Гроту в апреле 1893 года,² почти за три года до

¹ «Русский вестник», 1901, № 1, стр. 458. (Письмо от 12 мая 1882 г.).

² См. «Вопросы философии и психологии», 1896, кн. 2, стр. 308. Умер Страхов 24 января 1896 г.

смерти: «Я гегельянец, и чем дольше живу, тем тверже держусь диалектического метода». И о том же, о преклонении его перед совершенством гегелевской философии. читаем в первой его статье 1860 года — «О значении гегелевой философии в настоящее время»:¹ «Вместе с Гегелем кончен раздор между философами; он возвел философию на степень науки, поставил ее на незыблемом основании...» И дальше: «В самой сущности гегелева взгляда лежит примирение всех взглядов, учений, их взаимное понимание, их слияние воедино». Подтверждает Страхов свою преданность гегелевской философии и в ряде других статей и писем; во имя же Гегеля он ведет свою полемику с Антоновичем.²

Но уже современники отметили с достаточным основанием, что из «всех учений, примиренных в гегельянстве», Страхов ставит превыше всего учение Декарта. Утверждается Страховым, казалось бы совсем по Гегелю, тождество мышления и действительности, «знания и бытия», «субъекта и объекта»: «Мысль и то, что не есть мысль (т. е. бытие), — совпадают, тождественны». А на деле «мир духовный, мир сознательный, непротяженный» слишком уж резко противопоставляется им миру материальному, «протяженному и несознательному». Для Страхова *бытие* всегда является чем-то косным; по отношению к «субъекту», к идее действительность пребывает в положении покорного раба. Человек, его разум — вот «центр и мера вселенной, во всем ее прошлом, настоящем и будущем» — так твердит он постоянно в своих работах.

И здесь особенно для нас важна та область, в которой Страхов чаще и яснее всего применяет свою философию. Занимаясь главным образом вопросами о взаимоотношении физиологии и психологии, он придает разуму безграничную творческую силу больше всего в деле познания *душевных* явлений — того «загадочного», «темного» в *человеке*, что особенно трудно поддается постижению. Иллюстрируется эта безграничная сила разума басней о том, как солнце пошло осматривать землю, когда ему донесли, что на земле, во многих местах, в неко-

¹ «Светоч», 1860, кн. 1, стр. 3—51.

² См. его статью «Об индюшках и о Гегеле». — «Время», 1861, кн. 9, стр. 69—79

торые часы дня и времена года темно. И вот, куда оно наживлялось, все оказывалось ярко освещенным; тогда «солнце не поверило доносу, успокоилось и стало светить по-прежнему». Так и человеческий разум: стоит только указать ему на что-нибудь «темное», как «самый взгляд разума будет уже озарением этого темного».¹ На «темное» в человеческой душе, до того необычное, что многим оно казалось сплошной фантастикой, и направлял Достоевский свой творческий разум. В страховском толковании отвлеченнейшего из положений о тождественности мышления и бытия — всякого мышления и *мышления образами* — было достаточно основания для укрепления веры Достоевского в свой реализм. Говорю: «укрепление»; нет надобности думать, что страховское гегельянство определило в *основе* творческий метод Достоевского; речь идет только об *осознании* им своего метода, о *философском подтверждении* его законности.

В этой именно плоскости особенно важным является для нас вопрос: как смотрел Страхов, идеалист, правый гегельянец, на взаимоотношение тех начал, к которым восходят у него мышление и бытие, — на взаимоотношение *духа* и *материи*? В эстетических воззрениях Достоевского этот вопрос занимает место центральное, сливаясь с вопросом об отношении искусства и действительности, а в строении образа, особенно центрального героя, — с вопросом об идее, которой герой проникнут, — об идее как о силе, формирующей его психический склад, равно и реальную обстановку, им создаваемую. Так, например, идея: «все позволено» определяет полностью Раскольникова и Ивана Карамазова — их душевные переживания, их быт, их отношения к людям. То же и Ставрогин, Шатов, Кириллов, князь Мышкин, Алеша Карамазов, — все они и во всем претворение определенных идей в действительности.

В «Предисловии» ко второму изданию «Об основных понятиях психологии и физиологии» Страхов останавливается на обычном, наивном представлении религии об отношении души и тела: душа «есть некоторое существо, заключенное внутри тела, как бы в оболочке <...> в

¹ И. Страхов. Философские очерки. СПб., 1895, стр. 20—21.

минуту смерти она покидает тело, вылетает из какого-то внутреннего места тела». Это представление, говорит Страхов, «чисто механическое», о душе мыслят как о «каком-то тонком вещественном предмете», окруженном предметом более грубым, телом. На самом же деле «различие между душой и телом <...> не во внешней отдельности, а в *существенной противоположности*», и связь между ними «гораздо глубже, чем простое соприкосновение одного вещественного предмета с другим, в котором он заключен». «Тело — не есть существо, чуждое душе, в которое она как бы насильственно вложена, а составляет некоторое *непрерывное* ее создание, или, как говорится, *воплощение*». Душа и тело, идея и природа, дух и материя — это разные выражения все того же двучлена, в котором первый член является *активным*, творчески *созидающим* по отношению ко второму. В одном из писем к Н. Гроту¹ Страхов выражает эту же мысль следующим сравнением: «*Материя*, по-моему, есть только поприще духовных явлений, их поле, те леса и лестницы, по которым дух движется. Параллельность выходит так же, как ступени лестницы параллельны шагам поднимающегося или спускающегося человека. Ступени не только не производят этого движения, но даже должны быть совершенно неподвижны». Материя и по Страхову, конечно, подвижна, как и дух, ее движущий, — каждый новый момент в становлении духа находит свое воплощение в формируемой им материи; но сравнение это отлично подчеркивает подчиненность материи духу, как и тела — человеческой душе.

Эта родственность страховского дуализма с философскими воззрениями Достоевского, которые мы улавливаем и в художественных его построениях, идет еще дальше и глубже. Мир материальный и мир духовный резко противоположны, с точки зрения Страхова. В мире материальном все «наружное, познаваемое»; к нему могут быть приложены все наши познавательные силы и способности, для которых нет никаких пределов в смысле познания законов внешней природы. В мире же духовном все внутреннее, закрытое для чужого глаза; «душа есть область *темная и таинственная*»;² если она

¹ «Вопросы философии и психологии», 1896, кн. 2, стр. 314.

² Н. Страхов. Об основных понятиях психологии и физиологии. СПб., 1894, стр. 36.

и поддается познаванию, то приемы во всяком случае должны быть совершенно другие. Так как здесь, по Страхову, возможно только *внутреннее наблюдение*, «устремление взора *внутрь* себя», то, очевидно, мы должны сделать усилие, дать нашим *мыслям непривычный* ход, обратный их обыкновенному ходу, уединить себя, для целей *внутреннего* наблюдения, от мира внешнего. «Главное, — продолжает Страхов, — здесь заключается не в старании *закрыть* себя от внешнего мира, а в том особенном *повороте* мысли, который Декарт выражает словами: «Буду считать все образы вещественных предметов пустыми и ложными, буду смотреть на свои ощущения и образы только как на виды своего мышления». Очевидно, я могу и *должен* уметь это сделать и не закрывая глаз и не затыкая ушей». ¹ Это положительно точное описание психологического метода Достоевского, его постоянного «обратного хода» — от внешнего мира к внутреннему, и именно, не затыкая ушей и не закрывая глаз, смотрят у него люди «на свои ощущения и образы как на виды своего мышления» — в основе у него ведь всегда идея.

Когда же перед Страховым стоит вопрос: в чем же сущность души, истинная ее природа, то на это он так отвечает: «Истинная ее природа обнаруживается, конечно, *при полном ее раскрытии*, <...> и в те минуты *полной душевной энергии*, которые иногда испытывает человек. Рассматривая эту полную душевную жизнь, мы видим, что признание *истины, блага и свободы*. <...> составляет то необходимое условие, при котором только и можем мы жить, без которого мы видим перед собою пустоту, ничтожество и бессмыслие <...> Без этих понятий, которых ниоткуда нельзя вывести, <...> нельзя иметь представления о душе и ее жизни». ²

Так замыкается идеалистическая система, в центре которой человек, его душа как высшая ступень духовного. В книге своей «Мир как целое» спокойный, уравновешенный Страхов поднимается почти до поэзии, когда мыслит о месте человека в природе, устанавливает, по выражению Толстого, «иерархию существ и яв-

¹ Н. Страхов. Об основных понятиях психологии и физиологии. СПб., 1894, стр. 39—40.

² Там же, стр. 85.

лений».¹ «Наука, — говорит Страхов в своей книге «О вечных истинах», — не объемлет того, что для нас всего важнее, всего существеннее, — не объемлет *жизни*. Вне науки находится главная сторона нашего бытия, то, что составляет нашу судьбу, то, что мы называем богом, совестью, нашим счастьем и достоинством <...> Поэтому не только созерцание этих предметов в действительности, не только высокие отражения их у великих мыслителей и художников, а даже иной плохой роман, иная грубо придуманная сказка могут заключать в себе более общедоступный и сильный интерес, чем превосходнейший курс физики или химии. *Каждый из нас* — не простое колесо в огромной машине; каждый, главным образом, есть герой той комедии или трагедий, которая называется его жизнью».²

Так проводится резкая грань между философией и искусством, с одной стороны, и естественными науками, изучающими внешний мир, природу, — с другой. Искусство не то что *истиннее* науки, у искусства задачи совершенно другие, более сложные и более высокие и, в сущности, от внешнего мира даже не зависящие, как не зависит от этого внешнего мира человек, его душа. Природа есть непрерывное создание духа, как и тело чело века — создание и выражение его души. Такова основа страховского идеализма. Душа, идея — единственная активная, творящая сила в окружающей действительности. Человек ставит себе задачи и цели. И «пока есть задача, которая *не решена*, пока есть замысел, который *не исполнен*, пока есть цель, которая *не достигнута*, — до тех пор возможна деятельность». В этом смысле «жизнь не только самоудовлетворение, но и *саморазрушение, самонедовольство*».³ Герои Достоевского выражают эту же мысль на своем языке: кто сказал, что человек непременно стремится к счастью? «Может быть, он ровно настолько же любит страдание?» «Муки души,— продолжает Страхов, — побуждают нас вперед, к неразгаданному, несовершенному. Они суть муки рождения».

¹ Н. Страхов. Мир как целое. Изд. 2. СПб., 1892, стр. X—XI.

² Н. Страхов. О вечных истинах. СПб., 1887, стр. 54—55. 9 Н,

³ Страхов. Мир как целое, стр. 186—188.

Страхов, исходя из своей идеалистической философии, так иронизирует по адресу «утилитаристов», в том числе и Чернышевского: «Но бросим и историю, и философию, и поэзию, и все искусства. Одна будет у нас цель, и притом кто не будет для нее работать! — *материальное благосостояние*. И действительно, мы, вероятно, прекрасно устроимся, как скоро бросим заниматься пустяками. У каждого будет работа; все мы будем сыты, одеты, не будем терпеть ни голода, ни нищеты, будем здоровы, а заболеем — найдем всегда докторов и лекарства. И тогда — тогда, конечно, можно будет позволить себе иногда позабавиться музыкою или поэзиею или пофилософствовать на сытый желудок»;¹ эти слова мы читаем у Страхова в первой статье, направленной против «Современника», в майской книжке «Времени» за 1861 год.

В статье Страхова «Пример апатии» с эпиграфом из Пушкина: «Мы сердцем хладные скопцы» — она тоже печаталась у Достоевского во «Времени» в январской книжке за 1862 год — идет разговор все о том же «материальном благосостоянии и вообще об устранении страданий, которым подвержено человечество».² Страхов тоже считает, что это «самый живой современный вопрос». Но поднят он уже давно; о нем «говорится в Евангелии, и сказано там именно следующее: «ищите прежде царствия божия, и вся сила приложится вам». Мне кажется, и ныне нет нужды изменять этого решения». По Страхову, это абсолютное значение души человека, высшее к нему уважение. Ибо: «Люди всегда были, есть и будут идеалистами». И дальше это положение так развивается: «Иногда говорят: хорошо человечество! Сколько времени люди живут на земле и до сих пор не умели устроить так, чтобы никто не умирал с голоду. Какой несправедливый упрек! Разве люди когда-нибудь ставили себе подобное устройство главною и единственною целью? <...> Люди всегда желали *больше*; они вечно увлекались другими целями, иными

¹ Н. Страхов. Из истории литературного нигилизма, 1861-1865, СПб., 1890, стр. 37

² Там же, стр. 122—125

желаниями. Они постоянно хотели сделать из жизни какое-то очень серьезное занятие, превратить ее в дело более важное и приятное, чем простое *отсутствие* страданий». Идеализм этот неискореним: «Отнять у человечества идеализм значит совершенно то же, что отнять у человека голову на том основании, что она у него болит». «Мир управляется идеализмом <...> власть и господство принадлежит той силе, которая всех крепче и одна непобедима — идеализму <...> Как прежде, так и ныне исцелить и спасти мир *нельзя ни хлебом, ни порохом и ничем другим, кроме благой вести*».

Все эти мысли, если взять их изолированно, конечно, в высшей степени неоригинальны; любой «батюшка» произносил подобные речи с церковного амвона не один раз. Но они связаны с целостной философской системой, соответствующей определенному историческому моменту в общественных отношениях. Сходные мысли можно найти и у Достоевского чуть ли не во всех его произведениях второго периода — начиная с «Записок из подполья» и кончая «Карамазовыми». В «Дневнике писателя», в особенности в «Поучении старца Зосимы», он повторяет их почти дословно.

То же в статье Страхова «Тяжелое время», напечатанной в октябрьской книжке «Времени» за 1862 год, — по вопросу о нравственной ответственности человека и об общественном благополучии. Когда Страхов говорит, что «тот оскорбляет человеческую природу, кто воображает, что можно устроить благополучное человеческое общество без содействия его сознания и свободы»,¹ предпочитая развитие «благополучия» в обществе развитию нравственности, то и эта мысль близка Достоевскому; книга пятая — «Pro и Contra» в «Братьях Карамазовых» целиком на ней основана.

И таких примеров единомыслия между ними в области философии и этики можно привести много. Колоссально разнится, конечно, размах мысли, способ ее выражения, эмоциональная окраска. Бесконечно вялым кажется прежде всего стиль Страхова в сравнении со страстной взволнованностью речи Достоевского. Но это уже тема другая.

¹ Н. Страхов. Из истории литературного нигилизма. 1861-1865, стр. 167.

Когда, на склоне своих лет. Страхов писал Н. Гроту, что у него «нет ни одной страницы антилиберальной» и деспотизму он не сочувствовал, то он, конечно, был не совсем прав. Философски спокойный, пребывавший всегда в «мире отвлеченностей», он, в меру своей уравновешенности, умел без особенных усилий соблюдать тон некоего беспристрастия. Достоевский, в воспаленном гневе, нередко позволял себе унижаться даже до грубой брани по адресу своих живых и мертвых противников: ругал Некрасова, когда был с ним в ссоре, оскорблял память Белинского, издевался в шарже над Тургеневым после его «Дыма» и в связи с ним и т. д. и т. д. Превышал нередко меру в своих нападках на идейных врагов и Аполлон Григорьев, — я беру людей из наиболее близких Страхову, минуя писателей и публицистов из крайне правого лагеря, у которых ругань была их природным стилем.

Страхов поступал по-своему последовательно, когда он боролся с «позитивистами» и «материалистами» не только в сфере отвлеченной философской мысли, но и в области тех практических выводов из теоретических положений, которые они делали применительно к окружающей действительности. И именно потому, что в шестидесятых годах (как это всегда бывает, когда классовая борьба принимает острые формы) расстояние между теорией и практикой почти отсутствовало, «философия немедленно переводилась в действие», теория не только оправдывала *действие*, но сама становилась *орудием действия*, — со всякой философии жизнь тогда снимала ее пышные покровы и обнажалась до очевидности ее классовая сущность. Под знаменем идеализма выступали тогда и после разные социально-политические течения: и махровая реакция в лице Каткова с его «Московскими ведомостями», и славянофильский консерватизм. к этому времени уже значительно окостеневший, в лице Ивана Аксакова и его группы, и бледно-розовый либерализм «Вестника Европы» Стасюлевича и компании; несколько позже этим же знаменем идеализма размахивало даже наглое в своей беспринципности, торгашески пошлое «Новое время» Суворина; объединяла же их всех на протяжении полувека борьба с материализмом

как с теорией революционной демократии. Страхову, может быть, было не совсем приятно соседство некоторых; так, например, кн. Мещерского он явно презирал; не любил он и Каткова; больше всех ему был по душе Иван Аксаков. Но это ведь уже частности. Его ясный логический ум отлично понимал, что из философии идеализма обычно вытекает отрицание революции, а на практике — борьба с нею.

Так, очень показательны в этом отношении три книги Страхова, полуфилософские и полупублицистические, — «Борьба с Западом», в частности — его понимание Герцена. Для того лагеря, к которому Страхов принадлежал или с которым соприкасался, его освещение деятельности Герцена, самый подход к нему, очень спокойный, почти сочувственный, должны были казаться чуть ли не отступничеством. В течение всех шестидесятых годов с «лондонской и женеvской эмиграцией» даже не полемизировали в пределах приличия,—ее просто обливали грязью. В статье «Старые люди», напечатанной в первом номере «Гражданина» за 1873 год, стилем, несколько замаскированным, но в основе в высшей степени грубо, нападает на Герцена и Достоевский: сам, дескать, живет в довольствии, в роскоши и в безопасности, а людей, молодежь, подбивает на революцию, посылает на убой, — таков смысл его обвинения. Страхов же подходит к Герцену совсем с другой стороны. Ему важно уяснить весь путь, проделанный Герценом.

Герцен, большой писатель и большой мыслитель, глубоко честный, беспощадно последовательный и смелый «своих исканиях и действиях, — с чего он начал и к чему пришел? Оправдана, по Страхову, вся его деятельность, и революционная, поскольку она вытекала из его сложной и правдивой натуры; оправданы и уход из России, и увлечение социализмом, и отрицание религии; ни одного упрека по *его* адресу нет у Страхова. И все же, по существу, это, может быть, самая коварная его работа, и, в частности, потому, что тон найден в ней внешне чрезвычайно убедительный для его цели.

Берется основной тезис: Герцен — пессимист. Пессимистом Герцен был и в самых первых своих произведениях—и в «По поводу одной драмы», и в «Кто виноват?», и в своих философских статьях; пессимистом он стал, после кратковременного увлечения, и по отноше-

нию к Западу. Он был всю жизнь свою пессимистом потому, что слишком серьезны были его запросы; он проникал в глубь всякой идеи, и когда идея, по узости своей или неправильности, переставала его удовлетворять, он не упорствовал и отходил от нее. Но идеи его были западные; среди русских больших мыслителей и писателей это самый западный человек, стоявший рядом с Прудоном и Фейербахом, на самом высоком уровне европейской культуры. И в этом было его несчастье. Как истинный западник, он не постигал самобытных основ русского народа, следствием чего было «отречение от своего, русского» во имя идеалов Запада. И тогда он оставил Россию, отдал вначале свои силы самой передовой европейской стране, Франции, пытаясь участвовать в приложении на деле этих идеалов. Когда же они якобы оказались несостоятельными, то последовало «отречение и от чужого». И в душе, опустошенной этим процессом двойного отречения, но «вместе и очищенной от всех пристрастий и предрассудков», пробудилась впервые вера в Россию, послышался «живой, незаглушимый голос кровных симпатий, естественного сочувствия к духовной жизни родины». «Письма из Франции и Италии», «С того берега», «Русский народ и социализм» — таковы вехи по пути возвращения Герцена на родину, на которую он до конца все же не вернулся: *«Отчаявшийся западник превратился в нигилистического славянофила, а во многих отношениях оказался истинно русским человеком»*.¹ Русским человеком Герцен оказался, «пробежав с последовательностью и быстротою русского ума все ступени этого процесса»; он наконец почувствовал-таки веру в Россию; но стал он славянофилом *нигилистическим*, не подлинным, — не по-славянофильски воспринял он сущность народных начал.

Цель работы о Герцене ясна, Страхов сам ее точно определяет в последнем абзаце: «Вот пример и поучение для всех наших литературных партий. Наше типовое, народное, наш особый культурно-исторический тип — понемногу растет и зреет, все претворяя в свою пользу».

Так пытался Страхов использовать для своих целей революционного демократа Герцена.

¹ Н. Страхов. Борьба с Западом в нашей литературе, кн. 1, СПб., 1887, стр. 160.

Сборники статей Страхова «Борьба с нигилизмом» и «Борьба с Западом» — хотя они-то в свое время больше всего и способствовали его известности — в сравнении с его научными и философскими работами занимают, конечно, гораздо более скромное место, — это лишь частные выводы из общих положений его философской системы, сделанные, в большинстве своем, по случайным поводам. Такое же место занимают и критико-литературные его статьи — о Пушкине, Тургеневе, Толстом и др. Над принципиальными вопросами искусства, в частности литературы, Страхову вообще пришлось мало работать, — он взял систему взглядов у своего — ему казалось полностью — единомышленника, как известно тоже приверженца немецкой идеалистической философии, Аполлона Григорьева, несколько ее упростил, отшлифовал и пустил в жизнь. Мы, может быть, не ошибемся, если скажем, что и Достоевский воспринял Григорьева главным образом в интерпретации Страхова: целый ряд основных положений из григорьевской «органической критики» отсутствует у них обоих.

Страхов изложил, по Григорьеву, свое понимание искусства в своих известных статьях о «Войне и мире» Толстого.¹ На Григорьева он прямо и ссылается: «Так верно и глубоко указаны Григорьевым существеннейшие черты движения нашей литературы», что если бы даже этого желали, «мы не могли бы быть оригинальными».² Указывается прежде всего, для «общих начал» критики А. Григорьева, тот самый первоисточник, откуда Страхов заимствовал «общие начала» и для своей философии:

«Это те глубокие начала, которые завещаны нам немецким идеализмом, единственной философией, к которой до сих пор должны прибегать все, желающие понимать историю или искусство».³ Следовать этой немецкой философии истории и искусства пытаются и современные выдающиеся критики Запада: Ренан, Карлейль, Тэн, но

¹ Напечатано впервые в журнале «Заря», 1869, № 1—2. Перепечатано в книге «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885)». СПб, 1885, стр. 224—392.

²Н. Страхов. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885), стр. 312.

³ Там же, стр. 304

понимает ее по-настоящему, проникнут ею до конца только А. Григорьев. Тэн, например, чрезвычайно ее упрощает, использует ее *позитивистически*; для него каждое художественное произведение есть только «сумма всех тех явлений, под которыми оно явилось: свойств племени, исторических обстоятельств и пр.». Для Григорьева же эти «свойства племени и исторических обстоятельств» сами являются производными, как и произведения искусства, ими обусловленные: «все они суть частные временные *проявления одного и того же духа*»; сам Страхов сказал бы: «непрерывное *создание* этого духа». «Общее и неизменное», «*вечные* требования» души человеческой, ее жизненные законы и стремления составляют сущность человечества в целом; оно же, это общее и неизменное, обособившись, воплощается в каждом отдельном народе, составляет его *сущность*, которая проявляется ярче всего в искусстве. Так мы и должны смотреть на художественные произведения какого-нибудь народа как на «многообразные попытки выразить все одно и то же — душевную сущность этого народа».¹

Они, эти произведения искусства, только *попытки* в формах *многообразных*, потому что дух, идея; душа, по гегелевской диалектике, находятся всегда в движении, в развитии. А кроме того, здесь сказывается еще это огромное, нередко подавляющее влияние чужих идеалов, «различных вполне сложившихся исторических типов» других народностей. Формы иной жизни, иных народных организмов вызывают иногда к себе такое сочувствие, что там, куда они проникают, совершенно затемняются своя народная сущность, свой народный тип. В таком именно положении и была русская литература до появления Пушкина. В этом и заключается великое значение творчества Пушкина, что он первый по-настоящему вступил в борьбу с этими чуждыми типами. То есть, с одной стороны, он находил в себе «стихии и силы для сознания соответствующих идеалов, для действительного усвоения этих типов, их *переживаний*», в особенности это относится к байроновским типам: было «стремление отозваться на известный тип, дорасти до него *своими* ду-

¹ Н. Страхов. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885), стр. 306

шевыми силами и, таким образом, померяться с ним; с другой стороны — неспособность живой и *самобытной* души вполне отдаться типу, неудержимая потребность отнестись к нему *критически* и даже обнаружить и признать в себе законными сочувствия, вовсе не согласные с типом».¹

Так, «в процессе, совершавшемся в душе поэта», намечаются три момента: 1) «пламенное и широкое сочувствие всему великому, что он встретил готовым и данным» в чуждых типах, в формах и идеалах иных народных организмов; таково творчество Пушкина лицейского периода, первого петербургского периода до ссылки и периода южных поэм; 2) «невозможность вполне уйти в эти сочувствия, окаменеть в этих чуждых формах», отсюда критическое отношение к ним. начинающийся «протест против их преобладания» уже в «Цыганах», в развенчании в лице Алеко байроновского героя и 3) любовь к своему, к родному, к «своей почве». «Когда поэт, — приводит цитата из Аполлона Григорьева, — в эпоху зрелости самосознания привел для самого себя в очевидность все эти, по-видимому, совершенно противоположные явления, совершавшиеся в его собственной натуре, то, *прежде всего правдивый и искренний*, он *умалил себя*, когда-то Пленника, Гирея, Алеко, до образа Ивана Петровича Белкина».

Тип Белкина, утверждает А. Григорьев, стал почти любимым типом поэта в последний период его творчества. «В тоне и взгляде этого типа он рассказывает нам многие добродушные истории» — и «Летопись села Горюхина», и семейную хронику Гриневых, «Капитанскую дочку», — «эту родоначальницу всех теперешних семейных хроник», к которым Страхов относит и «Войну и мир» Толстого. И здесь полное единомыслие с ним Достоевского. Достоевский неоднократно говорит, в письмах и публично, в статьях своих, что как ни велика и совершенна в наших глазах и в глазах Европы эта поэма Толстого, она все же не «новое слово». Явиться с «Повестями Белкина», с «Капитанской дочкой» — это действительно значит явиться с новым словом; «Война и мир» есть только продолжение и дальнейшее развитие

¹ Н. Страхов. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885), стр. 287.

этого слова. И вместе со Страховым Достоевский тоже вполне согласен с основной мыслью Аполлона Григорьева, что «Белкин есть простой здравый толк и здоровое чувство, кроткое и смиренное, — вопиющее законно против злоупотребления нами нашей широкой способностью понимать и чувствовать»; что именно в этом типе и обнаружилась гениальная широта взгляда и вполне самобытная сила творчества Пушкина: «одной поэзии он противопоставил другую, Байрону — Белкина»; бедная, смиренная русская действительность открылась ему со всей своей поэзией, какая только в ней была; вместо «высокопарных мечтаний», вместо «увлечения мрачными и блестящими типами» европейскими появилась любовь к простому русскому типу, «способному к умеренному пониманию и чувствованию».

Но этот «простоватый лик» Белкина — окончательный ли тип русского народа, полное ли выражение его «сущности»? Славянофилы ответили бы: да! Белкин противостоит Алеко, Онегину и другим «хищным» типам, как противостоит народ западной интеллигенции, Россия допетровская — России послепетровской, и еще шире: как Восток — Западу. Григорьев, а вслед за ним Страхов и Достоевский говорят вначале: Пушкин и в эпоху умаления себя до Ивана Петровича Белкина от гордых типов не отказывается. Чисто русский страстный и сильный тип мы имеем в Пугачеве, в Дубровском, в Петре Великом (в «Медном всаднике»). Да и сам Белкин потому и не «превращается в свинство», что по сознанию своему все же несколько выше простоватых героев своих повестей. В типе Белкина «узаконивалась, и притом *только на время*, только *отрицательно, критически*, чисто типовая сторона».

Именно узаконивалась лишь *одна сторона* из русского типа, и то лишь *на время* для того, чтобы к Западу, к его «сильному типу», отнестись *критически*, но не отвергнуть. Вот где грань, которая отделяла их от славянофилов. Они все трое одинаково возмущены отрицательным отношением Белинского к «Повестям Белкина» и к смиренной, покорной Татьяне. Белинский не понял или не признал законности этой «чисто типовой», белкинской стороны *сущности* русского народа. Но в то же время прав, тысячу раз прав Белинский, когда он говорит о Пушкине как о величайшем нашем *европейце*,

о том, что «Евгений Онегин» — самое задушевное произведение Пушкина, что это «энциклопедия русского общества», что Пушкин, именно как *европеец* и потому что *европеец*, сумел перевоплощать в своем творчестве гении всех народов.

«Пушкин — наше все <...> Пушкин — пока единственный полный очерк нашей народной личности.. Полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образ народной сущности... Самородок, принимавший в себя, при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами, все то, что принять следует, отбрасывавший все, что отбросить следует...» — так неустанно твердил Аполлон Григорьев. «Почвенничество» — не Восток и не Запад, не западничество и не славянофильство, не противопоставление интеллигенции народу, а слияние в некоем единстве, в синтезе; вот что представляет собою творчество Пушкина по А. Григорьеву и по Достоевскому.

Образ русской народной сущности, пусть пока «только контурами набросанный», но все же «полный и цельный», — не Белкин и не Онегин, а *сам Пушкин*, пока только он *один* — «единственный полный очерк нашей народной личности». И вся русская литература от него идет и к нему стремится. Так объясняет Страхов вслед за Григорьевым весь ход дальнейшего развития всей русской литературы после Пушкина. Он тоже видит в ней, с одной стороны, «тщетные усилия насильственно создать в себе и утвердить в душе обаятельные призраки и идеалы чужой земли», с другой — «столь же тщетную борьбу с этими идеалами и столь же тщетные усилия вовсе от них оторваться и заменить их чисто отрицательными и смиренными идеалами». В Пушкине борьба эта имела свой правильный характер, так как его гений ясно и спокойно чувствовал себя равным всему великому, что было и есть на земле. У других же — у его последователей — односторонность, неполнота; лишь *некоторые* контуры пушкинские заполняются красками. Так, Григорьев говорит о Гоголе, что «Гоголь явился только меркой *наших антипатий*» по отношению к чужим типам и идеалам — «поэтом чисто отрицательным». И Страхов вполне с ним согласен. Сила Гоголя была направлена на то, чтобы развенчать эти «идеалы чужой земли», эти байроновские страстные и сильные

типы на русской земле: «героического нет уже в душе и жизни; что кажется героическим, то в сущности — хлестаковское или поприщинское». «*Симпатий* же наших кровных, племенных, жизненных он олицетворить не мог»; даже образа хотя бы *с одной*, но положительной, русской, «чисто *типовой* стороной», типа хотя бы Белкина, он не создал.¹

И так же о Тургеневе, Толстом, Писемском, Островском. В противоположность Гоголю, они все преимущественно разрабатывают смиренный белкинский образ, одни из них слишком поэтизируют Белкина, другие же чувствуют его крайнюю ограниченность, но создать полный очерк «нашей народной личности» не могут. «Пушкинский Белкин, — приводит Страхов слова Григорьева, — это тот Белкин, который плачется в повестях Тургенева о том, что он — вечный Белкин, что он принадлежит к числу «лишних людей» или «куцых», которому в Писемском смерть хотелось бы (но совершенно тщетно) посмеяться над блестящим и страстным типом; которого хочет не в меру и насильственно поэтизировать Толстой и перед которым даже Петр Ильич драмы Островского «Не так живи, как хочется» — смиряется... по крайней мере, до новой масленицы и до новой Груши».²

Эстетические принципы А. Григорьева, его отношение к Пушкину и взгляд на общий ход русской литературы после Пушкина были приняты и Достоевским. Страхову нетрудно было подвести под них общие основы своей идеалистической философии; Достоевский, как было уже сказано, осмыслил свой творческий метод и свою художественную идеологию страховской же философией. Некоторые нюансы они все-таки оба вносят во взгляды Григорьева, отчасти, пожалуй, по его же вине. Григорьев сам, при всем своем сознании неполноты типа смиренного Белкина, значение этого типа в творчестве Пушкина и для всей последующей русской литературы слишком преувеличивает. Страхов, в особенности Достоевский идут здесь еще дальше: по мере приближения их к чистому славянофильству значение сми-

¹ См.: А. Григорьев. Собрание сочинений, т. I. СПб., 1876, стр. 240.

² Н. Страхов. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862-1886), стр. 295, 311—312

ренного типа в их глазах вырастает все больше и больше. Страхов делает это с оговорками, осторожно; Достоевский — со всею страстью своей натуры, без всяких оговорок. Страхов в своих восторженных статьях о «Войне и мире» хотя и пишет, что «с неотразимою силою и прелестью у него раздался голос за доброе, поднявшийся в душах наших против ложного и хищного», и в этом величайшее значение романа, но все же считает нужным добавить, что «не весь русский идеал воплотился у гр. Л. Н. Толстого», ибо «невозможно отрицать, чтобы люди решительные, смелые — не имели никакой важности в ходе дел, чтобы русский народ не порождал людей, дающих простор своим личным взглядам и силам».¹ Впрочем, добавляется тут же, «вообще нельзя отрицать, что *простота, добро и правда* составляют высший идеал русского народа, которому должен подчиняться идеал сильных страстей и исключительно сильных личностей». Упрек, таким образом, относительно неполноты русского идеала почти снимается.

А Достоевский, когда говорит о Пушкине, — говорит же он о нем больше, чем кто-либо из его современников, — то почти всегда величие его гения связывает с этими «исконными чертами русского народа» — с белкинской «простотой и правдой». Так, еще до всякой «философии», в первом же произведении 1845 года — в «Бедных людях» — Пушкин воспринимается чистым сердцем Макара Дежукина как идеал, как высшее выражение любви и сострадания, чистоты и скромности, и Пушкину в контраст — Гоголь. Так строит Достоевский и свои художественные произведения шестидесятых—семидесятых годов: «люди решительные, смелые, дающие простор своим личным взглядам и силам», хотя и играют в них исключительную роль — «хищному типу» он уделяет главное внимание, — но в борьбе с ним победа, по крайней мере по авторскому замыслу, отдается «высшему идеалу русского народа» — евангельской Соне Мармеладовой, Макару Долгорукому (в «Подростке»), Алеше Карамазову и старцу Зосиме.

Исследователи говорят о влиянии на Достоевского Владимира Соловьева, кое-кто выдвигает имя Федорова,

¹ Н. Страхов. Критические статьи об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885), стр. 356-358

уделялось до сих пор внимание и старшим славянофилам Хомякову и Ивану Киреевскому. Но это все крайне субъективно; не подлежит сомнению, в первую очередь должен был быть поставлен вопрос о Страхове, хотя бы уж потому, что в самом начале шестидесятых годов, когда «процесс перерождения убеждений» Достоевского только что стал намечаться, около него, как мы знаем, находился только Страхов. В небольшом кругу разрабатывавших идею «почвенничества» он без сомнения был личностью весьма значительной, обладая той последовательностью, которой не доставало ни Достоевскому, ни Аполлону Григорьеву. Было у Достоевского немало поводов и причин, толкавших его, как он сам выразился, на «ретроградство». Но нужно знать ближайшую идейную сферу, в которой это «отступничество» совершалось: кто именно оказывал ему поддержку, при чьей помощи он уяснял себе свой новый путь, на который он вступал, наверно, колеблясь и спотыкаясь, — нелегко же было ему расставаться со своим прошлым, где сияли такие личности, как Белинский, идеям которого, в период дружбы с ним он клялся: «Пребуду верен», и был верен, и в годы юности не нарушил клятвы, когда стоял на эшафоте, то за пять минут до казни только ведь тем и утешался, что не изменил своим убеждениям.